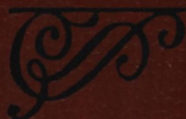


ЯРОСЛАВ
ИПОВ

ШЕЛ
ТРЕТИЙ
ДЕНЬ...



**ЯРОСЛАВ
ШИЦОВ**



**ШЕЛ
ТРЕТИЙ
ДЕНЬ...**

Рассказы и повесть

«Современник»
Москва
1984

P2
Ш163

Рецензент С. Залыгин

Ш $\frac{4702010200-218}{\text{М106(03)-84}}$ —84



Третий год уже Ромка Шмаков яростно переиначивал мир. Дело двигалось до обидного медленно, и потому, услышав привычное: «Не украдешь — не проживешь», — Шмаков даже подпрыгнул:

— Врешь, старик! — заорал он. — Врешь, падла! Врешь!

— Спаси мя, господи, — пролепетал Нефедов. — Спаси и сохрани! — И боком, боком, — надо же так!.. — через репьи к воде.

И застрекотал «Ветерок», унося домой испуганного Ромкиного тестя.

Обессилев в мгновение от пролетевшей ярости, Шмаков побрел к крыльцу. Пахло зноем, степью и рыбой. В тени соломенного навеса дремал конь Султан. Старый шмаковский кобель Жмурик, такой же черный, как и Султан, и почти таких же размеров, спал посреди двора, вытянув искривленные ревматизмом лапы. Клубя горячую пыль, носились по двору шальные котята.

Инспектор сбросил саног, проковылял немного, сбросил второй, вошел в дом и остановился, щупая босыми ногами приятную прохладу дощатого пола. Антонина накрывала к обеду.

— Чего отец-то? — поинтересовался Роман.

— Насчет рыбы. Хотел, что ли, сетенку поставить.

— Ну эт я знаю, а еще чего?

— Да вроде и ничего, — Антонина пожала плечами.

— Интересно! Окромья, как спереть что-нибудь сообща, между родственниками уже и делов не осталось...

— Прогнал, что ли?

— А ты как думала?!

— Ну и ладно, — согласилась супруга, — давай обедать.

Ей, конечно, хотелось бы поругаться, ведь это ж почти позор: зять инспектор, а тесть без рыбы, но за три года Антонина достаточно изучила своего мужа и понимала, что момент неподходящий: Ромка отпатрулировал ночь, устал,

чуть задень его и... — не приведи господи! Вообще-то супруг был человеком добродушным, терпеливым, по пустякам не сердился и много чего мог снести. Однако мгновения, когда терпение его иссякает, ждать не следовало: любой тяжести подручные предметы могли пойти в оборот. Зная за собой подобное свойство, Шамаков даже казенный ТТ на работу не брал, обходился двухстволкой: пистолет уж больно ловок в руках.

— Как ночь-то? — поинтересовалась жена.

— А! — и махнул рукой. — В яру одну лодочку пуганул, а что сеть бросили, не заметил, на винт и намотал. Ждал, пока к насосной станции отнесет. Там лебедка у Михаила: корму приподняли, сеть срезали — ночь и прошла...

— Так ты теперь Михаилу-то послабление, что ли, дать должен?

— Хрен ему, а не послабление. Бутылку поставлю — и все.

— Ишь! — не сдержалась супруга. — Бутылку! Другие мужики сами пьют, а мой — на тебе, пожалуйста, угощает!

Роман замер.

— Бутылку так бутылку — добра-то! — как ни в чем не бывало согласилась она. — Доедай щи, поди, остыли?

После обеда Роман лег спать. Спал он четыре часа и к вечеру снова выехал на патрулирование.

Очень скоро попался ему монтер Гусятов. На «Прогрессе» с двумя «Вихрями», и, конечно, ушел бы, но инспектор накрыл его в редкостно благоприятный момент: Гусятов бультыхался в воде, должно быть, забрасывая накидку — кошельковую донную сеть, потерял равновесие или зацепил ногой шнур.

— Здорово! — подъехал Шамаков. — Как эт тебя угораздило? — И зачалил «Прогресс» к своему катеру.

— А, будь она проклята! — выбравшись из воды, Гусятов стаскивал с себя одежду. — Дай закурить. Свои, вишь, намокли.

Шамаков раскурил папиросу и передал в лодку.

— Чего отымать будешь? — поинтересовался Гусятов.

— А что заловил?

— Да ничего, раз только и бросил. — И передал инспектору тяжелый мешок.

Сазаны — один килограммов на шесть, другой поменьше — были еще живы, и Шамаков их выпустил.

— Сазанов, так и быть, прощаю, а за стерлядку — двадцатник.

Гусятов молчал. Ему было холодно в мокрых трусах и без всей остальной одежды.

— При себе есть?

— Откуда?

— Это уж поискать придется.

— Накидку возьмешь?

— Ты это что? — подивился инспектор столь грубой наивности.

— Ну и бери! — Гусятов передал конец шнура. — Тащи сам. Только, ежели чего вытащишь, не приплюсовывай, годится?

— Ишь ты, жох! Торговаться надумал?

— При чем здесь торговаться? Я мог и выбросить шнур, мне просто сетенку жалко — сам плел, времени, понимаешь, угробил кучу...

— Ладно, — согласился Роман, — поглядим, чего ты там сплел.

— Такая же, как прошлогодняя.

— Прошлогодняя у тебя ничего накидка была, — оценил инспектор, — качественная.

— Эта такая же, только чуток поболее.

— Вот и зря: неудобно забрасывать — должно, потому и свалился. А прошлогодняя, та... — Шмаков замолчал и вдруг: — Едреня феня! Что-то того — упирается!

— Ну да? — монтер вмиг оказался на катере. — Мать честная! Взаправду!

— Да не суетись, не суетись ты! — одернул его инспектор. — Закрепи, а то нас вместе с веревкой.

— Слышь, Роман, — зашептал Гусятов, привязывая шнур к кнехту. — А ведь так нам, пожалуй, ее и не вытащить! Буксировать надо!

— Придется, — выдохнул Шмаков, с трудом удерживая шнур, который уходил то под катер, то куда-нибудь в сторону.

— Вишь, как мотается, словно лесочка — туда-сюда, а там ведь одних грузов пуд... Ну и хреновину заловили!

— Держи! — Шмаков передал шнур Гусятову и прыгнул в кабину. — Если зацепит корягу, поотпусти — там у тебя метра четыре в запасе, и крикни — я сразу назад сдам.

— Ясно, — кивнул Гусятов. — Нажимай потихонечку.

Инспектор осторожно повел катер с пришвартованной лодкой против течения, так легче было в случае зацепа дать задний ход. Но коряжистые места миновали благополучно и, ткнувшись в песок ближайшего пляжика, где горел костер заезжих рыболовов-любителей, оба — и браконьер и инспек-

тор — прыгнули в воду и поволокли добычу на отмель.

— Белуга! — ахнул монтер.

— Килограммов на шестьдесят, — определил Шмаков.

— Эй! — крикнул Гусятов парню, выскочившему из палатки. — Тащи чего-нибудь твердое!

— А чего? — растерялся тот.

— Все равно! Топор, камень, полено — по носу ее вдавить! Это ж белуга, — объяснил монтер, задыхаясь, — она сразу того...

— Хороша! — вытер лоб Шмаков, полюбовавшись минутой, и достал нож.

— Погоди, сейчас топор принесут. — Монтер лег на песок и раскинул руки. — Фу, черт, совсем умотала.

Инспектор оседлал рыбу, которая теперь, на отмели, не сопротивлялась почти, распорол сеть вдоль шишкастого белужьего хребта так, что длинный нос попал на свободу, быстро пересел, не давая рыбе запутаться снова, и взрезал сеть в другую сторону до хвоста. Потом встал, спрятал ножик и ногой толкнул рыбу в бок. Она перевернулась, как бревно, и, изогнувшись, ударила хвостом, окатив водой и инспектора, и стоявших за ним туристов — их было трое: один с топориком, другой с поленом, третий держал подсачек. Окатило водой и Гусятова, который, разинув рот, приподнялся и недоуменно следил за освобождением белуги. Гусятов вздрогнул, вернулся к горькой реальности и вздохнул: хорошая была рыба. А когда Шмаков, обняв белугу под брюхо, отволол ее на достаточную глубину, монтер поинтересовался:

— Слушай, инспектор, а если бы ты меня с этой тушей накрыл, что тогда?

— Соответственно, — пожал плечами инспектор. — Лодка, моторы и четыре сотни.

— Ну уж это ты брось! Это слишком!

— Не, — прикинул инспектор, — думаю, в самый раз. А теперь поезжай домой — и с двадцатником к Тоньке. Она тебе бланку выдаст — распишешься.

— И Тоньку, вишь, к враждебной деятельности привлеки! — обратился монтер к туристам. — Навроде секлетарши она теперь, — скорчил рожу и повилял бедрами. — Тьфу! Таку девку споганил!

— Че-го?! — подступил Шмаков. — Как это так «споганил»?

— Идеологически! — решительно пояснил монтер.

— А-а, — смягчился инспектор.

— Где ж я сейчас двадцатник достану? — без всякого перехода спросил Гусятов.

— Не достанешь?

— Где же?

— Снимай моторы.

— Ну...

— Снимай, говорю, «Вихри»!

— Эх, мать честная!

— Давай, давай, а то зубами стукочешь — аж страшно.

— Холодно ведь...

— Во! И я говорю. И это, чтоб мне без шуток!

— Да ладно! В первый раз, что ли?

Отвязывая лодку, монтер вдруг поинтересовался:

— Слушай, Шмак, а вот когда мы тянули, тебя, часом, азарт не прошиб?

— Было, — признал инспектор.

— Вот черт! — рассмеялся Гусятов. — Молодец!

— Чего это вдруг?

— А черт его знает, сам не пойму... Но чего-то, — он хитро прищурился, — чего-то есть.

— Балабол, — отмахнулся инспектор. — Ну а вы, орелики, чего стоите? Или не знаете, что осетровые под запретом?

— Ну, мужики, держись! — крикнул Гусятов и, потеряв чувство солидарности, захихикал.

— Знаем, — виновато сказал один, — да как-то... от неожиданности.

— Рыбина больно здоровая, не видали таких, — помогал оправдываться второй.

— Это да. Я и сам таких... — инспектор закурил, — не часто вижу... Откуда будете?

— Из Москвы.

Шмаков помолчал, потом, скрывая зависть, тихо спросил:

— Студенты?

— Отучились уже.

— А сюда, стало быть, в отпуск?

— Ага.

— Ну и что ловится?

Они подвели Ромку к палатке, у которой на проволоке вялилась рыба: красноперки, лещи.

— Удочкой?

— Конечно!

— А если б то же самое сеткой... — Шмаков прикинул, — рублей эдак в двести пятьдесят обошлось. Понятно? — спросил инспектор того, что стоял ближе.

— Понятно.

— Да ты брось сачок-то? Чего ты с ним ходишь, чудила?.. Был тут раньше рыбацкий колхоз, сейчас-то его упразднили — ловить нечего... Так вот, в лучшие свои времена колхоз вылавливал за сезон, думаю, раз в пять меньше, чем ваш брат любитель нынче вылавливает...

Ребята виновато молчали.

— Да не тушуйтесь, — вздохнул инспектор. — Что ж с вами делать? Закона качественного на вас пока нет. Ловите.

— А спиннингом разрешается?

— Разрешается, — продолжал горевать Шмаков.

— Что-то неважно...

— Это уж я не виноват. Попробуйте вон у того обрыва. Там суводь — быстрина, должен брать жерех. И судак крупный, килограммов до десяти. — И пошел к своему катеру.

Уже включив двигатель и снявшись с мели, Шмаков высунулся из рубки и подозвал ребят:

— Стерлядь пробовали когда-нибудь?

— Нет...

— Возьмите. Ущипу сварите. А если икряная, опустите икру в тузлук минут на пятнадцать-двадцать, и готова, понятно?

— Куда опустить?

— В тузлук! В рассол, значит.

— Понятно, спасибо большое.

«И что за народ? И откуда их столько? На одном только моем острове штук двадцать палаток, а взять от Волгограда до Каспия — все двадцать тысяч!..»

А освобожденная Шмаковым белуга плыла себе и плыла, не предполагая даже, в какой яме, за каким поворотом настигнет ее следующий удар судьбы.

Отпатрулировав почь, инспектор, кроме накидки, конфисковал бредень, штрафами собрал сорок рублей. «Все не то, — вздыхал Шмаков, — мелочь». Начался ход осетровых, а эти донные рыбы почти не попадают в сетки-верхоплавки и бредни. Да и накидкой поймать их случается крайне редко.

Шмаков охотился на тех, кто промыслял перетягами — длинными тросами с часто посаженными большими крючьями. Перетяга укладывается на дно поперек реки, и бескостные осетры напарываются на крючья. Добычливая снасть! На участке Шмакова перетягами баловали пастухи с мелких островных ферм. Выслеживать пастухов было трудно: они располагали снасть рядом с фермами — когда удобно, тогда

и проверяли, — и никаких хлопот. Прежде Роману удавалось собирать эти перетяги «кошкой», но пастухи придумали пускать вдоль снасти защитный трос, используя вместо грузов старые тракторные моторы и прочие достижения технического прогресса, благо в степи и по островам их было разбросано множество. Зацепив такой трос, Шмаков потерял однажды «кошку», а заодно и лебедку, которая выпрыгнула из стальной обшивки, оставив на память четыре дыры от болтов. Пришлось плюнуть на стационарное браконьерство. Плевал инспектор без особого раздражения: пастухи жили в таких местах, куда осетровые захаживали нечасто.

Прочие браконьеры, по слухам, не решились устанавливать перетяги на шмаковском участке, памятуя прошлое лето, когда Федька Рузаев, подкарауленный Романом у снасти, взялся стрелять из ружья и перебил стекла. Шмаков протаранил Федькину лодку, выудил разбойника из воды и отдал под суд. Федьку Рузаева упекли, а инспектор, получив с врага двадцать рублей за ущерб, нанесенный казенному катеру, вставил новые стекла.

— Да как же так в него попадешь? — рассуждали мужики, когда Шмаков отчаливал, сверкая новыми стеклами. — Сидит, вишь, пизко, одна башка и торчит. Пригнется — и не видать. А сквозь обшивку с охотничьего разве пробьешь? Так что — глупость это. Чистая глупость...

Не обнаружив теперь ни одной перетяги, Шмаков занервничал. Он знал: где-то ловят, где-то нарушают закон, где-то «хапают, и по-страшному».

И тут приехал Ефрем — соседний инспектор с Волги. Там шалили всюду. Ефрем Ромке в отцы годится, инспектором уже лет пятнадцать, но мужик мягкий, трудно ему со «своими»: родственниками, приятелями. Всякому инспектору тяжело от «своих», и Шмакову первый год приходилось туго. Вот и оставил он поселок, жил на острове, огромном — четыре на шесть километров — куске земли, отделенном узкими протоками от других, маленьких и больших островков, теснившихся в междуречье Волги и Ахтубы. И здесь поначалу покоя не было, но постепенно отстали. А Шмаков набрался такой строгости, что одного областного хозяйственника, прибывшего «в командировку» за рыбкой, послал к чертям. Сам угодил в опалу: то премия меньше, чем у других, то запчастей для катера не дают, то еще что. «Хрен с вами, — не унывал Роман. — Службу я выполняю, и выполняю соот-

ветственно. Куда вы денетесь?» И оказался на доске Почета, в примерных, в передовых. «Упрямый ты,— завидовал Ефрём.— Легко тебе». — «Это уж точно,— соглашался Роман.— Легче искуда».

Договорились на двое суток «махнуться» участками. Такое практиковалось. Поставив на прикол казенный катер, Шмаков пересел в собственную легонькую моторку и засветло выехал. Катер был удобен в извилистых, узких протоках, где малошумный двигатель позволял подкрадываться почти вплотную, а на больших открытых пространствах Волги успех дела решала скорость. Дождавшись темноты, инспектор вывел лодочку в Волгу и, пройдя немного вдоль берега, зачалился к низким кустам.

Проплывали огромные самоходки, караваны лихтеров-сухогрузов, старый колесный буксир протащил плот. Река вершила вечную свою работу. Река могущественная и гордая. И неестественным, неправдоподобным показалось Шмакову, что кто-то может ковырять этот величественный покой ржавой «кошкой», корябить дно, чтобы оттуда, из живой глубины реки, выцарапать гноящуюся ржавчиной снасть и сорвать добычу. Но — Шмаков знал точно — чьи-то глаза уже горят страхом и нетерпением, чьи-то дрожащие от жадности руки уже тянутся к волжской воде.

Донесся слабый шум подвесного мотора. И скоро затих. Включив малые обороты, инспектор осторожно повел лодку вдоль берега. «Если перетяга длинная — должен уснуть», — прикидывал Шмаков. Из-за поворота показался сильно освещенный трехпалубник. «Это хорошо: за ним, пожалуй, и меня не услышат». Чем ближе подходил трехпалубник к месту, где находилась моторка, тем больше оборотов добавлял Шмаков «Вихрю». Вдруг теплоход заметно поубавил скорость, моторка возникла у его освещенного борта, задержалась минуту и вновь исчезла. «Вона какие дела!» — сообразил инспектор. Выехал на фарватер, включил фонарь и световым сигналом потребовал остановить судно. Теплоход медленно приближался.

— Чего там? — спросили в мегафон с мостика.

— Рыбнадзор! — крикнул Шмаков.

— Ну и чего? — вновь поинтересовались сверху.

— А ничего, — спокойно сказал Роман, набросив веревку на кнехт пассажирского судна.

После некоторого молчания другой голос скомандовал:

— На нижней палубе! Помогите пришвартоваться!

«Капитан,— сообразил Шмаков.— По времени — его

вахта». Здоровый белобрысый парень лет двадцати в клешах и тельняшке, выполняя приказ, неохотно подошел к борту, посмотрел и махнул рукой:

— Пусть сам карабкается.

Потом, высунувшись за перила и подняв голову, спросил капитана:

— Чего останавливались? Давить его надо было!

— Нельзя, — развел руками инспектор, взобравшись на палубу. — Я выплыву — это уж обязательно, а капитана будет судить за неоказание помощи. — И пошел наверх.

Поднявшись в рубку, назвал себя, поздоровался.

— Дак что случилось-то? — полюбопытствовал капитан, добродушного вида крепыш лет сорока. Волгарь, судя по оканью.

— Только что вы взяли икру у браконьеров, — сообщил Шмаков.

Капитан притворно вытаращил глаза. «Вот занудство, — вздохнул Роман. — Будет теперь спектаклю разыгрывать».

— Не понимаю вас, товарищ инспектор. Недоразумение здесь какое-то?!

— Да перестаньте! — инспектор сморщился, будто от вони. Но, собравшись для противного, тигостного разговора, медленно продолжал, кивая с каждым выдавленным из себя словом:

— Сейчас... ваша... вахта. Вы... не могли... не заметить... что судно... останавливалось. А раз так... вы... не могли... не знать... зачем... оно... останавливалось.

— Можете осмотреть судно, — разрешил капитан, выразив на лице крайнюю степень недоумения.

— Я пришел не в дурачков с вами играть. Я понимаю, что икорки мне не найти. Я просто хотел предупредить вас, что, — Шмаков опять скис, — вы... являетесь... пособником... преступления... приобретая имущество... добытое... заведомо преступным путем. — Инспектор был не силен в юриспруденции, но краем уха кое-что слыхивал и в нужный момент мог употребить.

— Ну ладно, ладно, — обиделся капитан, — скажешь тоже: «пособником»! Дают по дешевке — беру.

— А если бьют — стало быть, бегу, так, что ли? — Шмаков вздохнул. — Эх, ты! Тютя!

Капитан, услышав оскорбительное слово, смутился. «Вроде бы еще не окончательное дерьмо, — оценил Шмаков. — Вроде еще можно надеяться».

— Прощевайте!

Тот молча кивнул. Слушившись, Ромка застал хамоватого матроса на прежнем месте.

— Икорки не надо? — мимоходом поинтересовался инспектор.

— Заправились, — не вынимая изо рта папиросы, лениво ответил парень.

— Ты, что ли, принимал?

— А хоть бы и я.

Перебравшись в лодку и сняв с кнехта веревочную петлю, инспектор тихо заметил:

— В следующий раз пойдешь рыбок кормить.

— Чи-во-о? Да я...

— Спокойно, — Роман откинул телогрейку со стланей. Под телогрейкой лежало ружье. — Будь здоров, больше не балуйся, — врубил мотор и скрылся.

Пассажирский дал ход. Капитан был раздосадован, матрос зол, а инспектор, бросив мотор, от отчаянья плакал — разве что слезы не текли: «Едрена феня! Да что же это я такой беспомощный, бессильный? Что ж это я ничего с ними поделывать не могу? Да что ж это они все грабят и грабят? Хапают да хапают?!» И обернулся вслед сияющему теплоходу, который был сейчас единственным светлым островом в сплошной ночи. Все удалялся остров, становился меньше и меньше.

И Шмаков теперь уже с жалостью смотрел на этот комочек из трехсот пассажирских и экипажных человеческих душ. «Да что же это я, погоди... Да как же?! — И, пнув сапогом двухстволку: — Тыфу, проклятая! Лучше б тебя совсем не было!» — он даже передернулся от внезапного холода и отвращения.

Поплавав с «кошкой», Роман забагрил две перетяги метров по сто пятьдесят. Обе пустые. «С капитаном провозился — лучшее время ушло. Опоздал». Ткнув лодочку в берег, он закурил перед сном. Проплыл выпотрошенный осетр. Посветив фонариком, Шмаков определил: «Вчерашний. Издалека плывет».

На Волге браконьер капитальный, солидный — с рыбой не связывается, берет только икру. И за утро, пока Роман спал на дне лодки, мимо него вверх вспоротыми животами проплыли несколько осетров, севрюг и одна двухметровая белуга с никому не нужной молокой. Шмаков много раз видел подобное бедствие, и не утешало, что с каждым годом картина плывущих вверх брюхом рыб становилась все менее впечатляющей — конечно, охрана усилилась, но ведь и рыбы

поубавилось. А браконьер, он не переменялся, разве что стал хитрее и изворотливее. Подопечных своих Ромка делил на несколько категорий: один браконьерит из озорства — молодежь чаще, другой — по привычке брать, что плохо лежит, третий — профессионал, четвертый — потому, что есть первый, второй и третий. И ведь все уже понимают, что так дальше нельзя. Все — с первого до четвертого...

Днем Ромка съездил к пастухам за десять километров на чистый луговой остров. Договорился купить сенца, поужинал и к ночи вновь караулил Ефремов участок. Несколько раз бросался в погоню, однако безрезультатно. Браконьер на Волге наивысшей квалификации: икру держит в резиновом мешке, привязанном к лодке. Увидел инспектора — чирк веревочку ножичком, мешочек на дно, и: «Здрасьте пожалуйста! Мы с другом решили проветриться — ночь-то какая! Одно удовольствие погулять! Компанию не составите? Жаль! Рады были познакомиться! Всего наилучшего!» Не пойман — известно — не вор.

У одной лодки в пылу отступления заглох мотор, но браконьеры — их было трое — успели подойти к берегу на веслах и бежали, прихватив добычу.

— Тыфу, мать честная, — выругался, осмотрев лодку, Роман. — Чисто сработано. Ни икринки, ни хрена... Ладно, мужики, ваша взяла! — признал инспектор. — Выходи, что ль, покурим.

— Шмак?

— Ну.

Вышли двое. Молодой показался Ромке знакомым.

— Никак, встречались?

— Ну!

— Шибаев?

— Он самый.

— Здорово живешь. — Роман вспомнил, что этот парень имел некогда виды, и значительные, на Антонину.

— Здорово.

— А это батя твой, что ли?

— Ну.

— Вместе, стало быть, промышляете?

— Ну! — мужики гоготнули.

— Есть, что ль, вам нечего? Да вы и есть-то ее не станете... Иль денег нет? Мотоцикл-то, поди, с коляской?

Молодой усмехнулся и назидательно, с издевкою сообщил:

— Машина у нас!

— Ну вот! И сколько еще можно ханать?

— Ладно тебе! — сердито бросил папаша. — Все воруют! Кто больше, кто меньше, а тащат. И повсюду так. Сами-то вы больно чистые! Ты-то, бог с тобой, ни себе, ни людям, а другие?

— Кто, что другие?

— Инспекторы твои, вот кто! «Рыбнадзор — первый вор». слыхивал?

— Да, — согласился Шмаков, — бывает.

— «Бывает»!.. Да все вы!..

— Ну эт зря, эт ты перегибаешь. Тимофеева Юрку знал?

— Хороший был человек, — искренне согласился Шибает-старший. — Хороший, царство ему небесное. — Развел руками.

— Семка Орлов?..

— Тоже ничего, — признал папаша, — да больно шустер. Скоро, видать, за Юркой отправится.

— Ну, эт мы посмотрим, — между прочим сказал инспектор. — Он вперед или, например, ты.

— Посмотрим, — не обижаясь, снисходительно согласился папаша.

— А Яшка Кузьмин?

— Это еще откуда?

— Ниже нас километров на пятьдесят.

— Не знаю.

— Что ты! Извел всех стервецов начисто! Я имею в виду, конечно, вашего брата...

— Догадываюсь.

— Ага. Приезжаем отчитываться, а он на бобах! Начальство скажет: мышей не ловишь! Ну мы Яшке и подсobili: кто сетенку, кто бредшок, кто старую лодку — мало-мало набрали.

— Не знаю.

— А Ефрема вашего взять?

— Ну! — презрительно отмахнулся Шибает-старший.

— А что — хороший мужик!

— Мужик — ничего, а инспектор...

— Значит, не убедил я тебя?

— Куда там...

— Ну ладно. Был я тут на совещании по рыбной охране, мы там промежду собой откровенно беседовали. Скажу честно: попадаютя всякие. Один, например, из-под Москвы, с Можайского водохранилища, рассказывал, будто там все инспектора только и занимаются, что ловят для себя и своего начальства. Врет ведь, сволочь! Подлость свою оправдывает! Помню,

хвастался еще, что сеть приобрел морскую: десять на триста пятьдесят метров! А того, дурак, не понимает, что сеть эту без сейнера ему из воды не вытащить! Во до чего жадность человека доводит!

— А какая там рыба?

— Судак, лещ... В основном судак, кажется, а что?

— Крупный?

— Вроде не очень.

— Ну и хрен с ним.

— Как хрен? Не хрен! Потом этому мужику морду набили.

— Ты?

— Не, один там, с Печоры, опередил.

— А у него что за рыба?

— У него семга.

— Крупная?

— Эта — крупная. С красной икрой, может, слышал? У нашей черная, а у той красная.

— Знаю, — кивнул старший Шибасев. — Тоже хорошая вещь. Как ее там добывают-то — перетягами?

— Не, в основном лучат и острой бьют.

— У нас лученье не очень подходит.

— А на мелких-то местах... — возразил молодой.

— Эта да, — признал старший. — Есть любители. Только что там лучить, вона где рыбка. — И указал на фарватер, помеченный бакенами.

— Третий-то ваш икорку понес?

— А ты как думал? — победно усмехнулся напаша.

— Молодцы. — Шмаков зевнул.

— Не получается ничего, инспектор?

— Получается. Да очень туго, — признался Шмаков.

— Бесплезная твоя работа: воюешь, воюешь, а толку — шиш.

— Не скажи.

— Вот те и не скажи! Друга-то своего видел?

— Какого?

— А которого на «курсы повышения квалификации» отправлял.

— Федьку, что ли? Рузаева?

— Ага. Выпустили его. Говорят, хорошо себя вел, исправился, вот и выпустили. Сейчас здесь околачивается. Заезжал вчера, тебя ласковым словом вспоминал, очень встретиться хочет.

— Значит, выпустили...

- Ага.
- Ну и бог с ним, раз выпустили,— Роман снова зевнул.— Стало быть, вы что — гуляли? К знакомым ездили?
- Угадал!
- От меня не удирали, плыли себе и плыли — так?
- Так.
- И сигналов моих не видели...
- Эт само собой.
- Все правильно,— согласился Роман.
- Как же — грамотные! — подтвердил папаша довольно, хотя и с некоторым смущением.
- Ну, а если бы я за вами на берег пошел?
- Чего-нибудь сообразили бы,— словно извиняясь, ответил папаша.

Молодой ухмыльнулся: очевидно, именно ему доверялась главная роль в «соображении».

— Молодцы. Ну, бывайте,— попрощался инспектор,— поеду. Сил нет, как спать охота, а еще столько делов!

— Будь здоров. Лови их, браконьеров, злодеев-то окаянных!

— Придется.

— Антонине мой личный поклон,— Шибаев-младший поклонился в пояс.

— Да,— беззлобно присоединился папаша,— жалко бабенку, красивая.— И, обращаясь к инспектору:— Чего она в тебе нашла?! Кроме упрямства, ни черта за душой нет. Сейчас бы на «Москвиче» каталась — как хорошо!

— За поклон благодарствую, обязательно передам.

— А ты не горюй! — Шибаев-старший хлопнул по плечу сына и кивнул в сторону Шмакова:— У них работа какая? Ездят, ездят, а однажды и... Так что не расстраивайся, еще покатаешь Тоньку-то, вдовы — народ покладистый!

Роман усмехнулся, но промолчал.

В условленном месте встретились с Ефремом. Подбили бабки — негусто. Потом Ромка съездил к пастухам и на обратном пути винтом зацепил сеть.

Сначала инспектора бросило вперед, потом лодку потянуло назад и под воду. Шмаков опрокинулся навзничь, ударился спиной о румпель и вывалился. От удара что-то со Шмаковым произошло. Он выгнулся в спине и не мог согнуться обратно: «Заклинило...»

Тонул Ромка медленно, и ласковое синее небо качалось над ним.

Зацепив песчаное дно, оттолкнулся и, казалось, вот уже достанет небо руками, но вдруг оно почернело, боль мгновенно прошла, и сладкая дрема вновь повалила Шмакова в пучину, как в перину. «Все!» — сообщил ему проблеск сознания.

Хрупок человек, но выносив необыкновенно: ноги толкнулись еще раз, потом еще, потом судорожно дернулись. И все в том же заклиненном состоянии выбрался инспектор на берег. «Метров сто пропутешествовал», — определил он, увидев лодчонку, которая, задрав нос, сидела в сетке. «Как же это я с утра не зацепил? И вчера тоже? Плыл ведь этой дорогой... А-а! Вода упала! Сеточка была притоплена, а тут... Всю протоку перегородили, сволочи! А если б не я, какая-нибудь баба с детишками?.. А хоть бы и я, да в другую сторону — по течению... Вывалился бы выше сетки, в ней бы и заочевал».

Проплывали клочки отборного сена. «Качественный товар: ни колючек тебе, ни репьев — исключительное питание!..» — успел подумать Шмаков и внезапно заснул.

Проснулся расклиненным, лодки не было. «Вытаскивать теперь... Тьфу, черт!.. А сеточку я покараулю», — пригрозил он неизвестно кому и пошел домой. «Степь да степь кругом!» — пел инспектор. Так оно и было. Путь, правда, предстоял недалекий — четыре версты, да и замерзнуть Шмаков не мог: сияло солнце. Летали в небе галки, чайки и самолет. «Качественная жизнь: утонуть не случилось, хребет цел, вредителя заловлю, с Федькой встречусь — все соответственно!» Стало легко, хорошо и сильно захотелось домой к дорогой жене Антонине. «Эх, жаль, ребяташек нет... И чего ж это я, дурак, воспрещал?! И чего ж это она меня слушалась?! Вроде из-за работы все, а ведь неправильно!.. Заводить надобно... Срочно! Сей минут велю Антонине! Это ничего, что на острове — вырастим! А то скоро двадцать шесть лет, а ребяташки отсутствуют — недоразумение! — Инспектор даже остановился, чтоб лучше соображать. — Так вот в сетку влетишь — и фамилия кончилась... Несправедливо!.. Эх! Степь да степь кругом!» Взлетали испуганные куропатки. И, преодолев вплавь две протоки и пройдя четыре версты, любовь свою он принес жене:

— Антонина! Я по тебе соскучился...

— А где лодка?..

...Утро было дождливым, туманным, шли по Ахтубе две моторные лодки. Инспектор не видел их, но по натужному гулу моторов определил, что лодки гружены тяжело, и вые-

хал на фарватер встретить и посмотреть. Ближняя лодка, большая деревянная, с мощным подвесным мотором, послушно приблизилась к катеру. В ней было четверо мужиков, один из которых как будто спал, укрывшись тулупом. Под брезентом угадывались бочки и ящики. «Купцы! — определил Шмаков. — Волгой идти стесняются, крадутся здесь... Вот это подарочек! А я-то не верил, что они существуют, думал: так, болтовня, аи — пожалуйста! От такого подарочка ни одна милиция не откажется — с руками и ногами оторвут!»

Вторая лодка, казанка, развернувшись, зашла с другого борта. В ней было двое и тоже кое-какой груз.

— Здорово, мужики, — сказал Шмаков и вырубил двигатель, чтобы не драть глотку.

— Здорово, здорово, — ответил один с большой лодки, глядя мимо инспектора. Роман обернулся: казанка держалась у кормы.

— Чего везем?

— Рыбы яйца, — ответил тот же, и мужики засмеялись.

Шмаков почувствовал, что с казанки кто-то ступил на катер.

— Что за движок у тебя? — спросили оттуда, из-за спины.

— Хороший движок, — обернулся инспектор и увидел городской наружности парня. Приподняв капот, парень склонился над двигателем.

— Ну что, инспектор, — поинтересовался первый, — так разойдемся или... — и наконец перевел взгляд на Шмакова.

Катер качнулся. «Стало быть, тот с кормы ушел».

— Разойдемся, — ответил инспектор, поняв невыгодность ситуации. «Самое время попасть в газету: «Вступил в неравную схватку с бандитами и геройски погиб. Знаюки ведут следствие».

— Ну и правильно, — похвалил мужик и огляделся: — Туман-то какой, — в лодке понимающе хохотнули. Завел мотор. Казанка тоже отчалила.

«Выкрутился, — ткнувшись лбом в штурвальное колесо, Роман бессильно опустил руки. — Чудом выкрутился, крепко прижали, сволочи... Только что ж эт они меня выпустили? — И посмотрел вслед удаляющемуся гулу моторов. — Еще повоюем!»

Дал газ. Сзади что-то ударило, заскрежетало. Остановив двигатель, Шмаков выбрался из кабины, поднял капот и тут же зло бросил его обратно: «Обвели! Обвели, гады!» В шарнире карданного вала торчала погнувшаяся монтировка, при вращении она пробила дно катера. «Обвели! — и чуть

не зарыдал от досады. — Как же, нашел дураков: «Разойдемся». Эти так просто не разойдутся! Движком, вишь, поинтересовался, паскуда, а монтировочка уже приготовлена...»

Располозовав фуфайку, инспектор взялся заделывать пробоину. «Ну доколе еще в нашей хорошей жизни сволота всякая побеждать будет? Не жизнь это — одно отчаянье!» Долетел откуда-то шум моторов. «Придут люди сейчас и посмеются: «Шмаков, Шмаков, напрасный ты человек!» Шум удалялся. «Дак ведь это в Мелком ручье?! Кого ж туда занесло? За каким, интересно, чертом?.. Дак ведь это ж они... Точно, они! Днем-то им плыть нельзя — днем-то им надо прятаться!..»

Схватив ружье, патронташ, инспектор спустился в воду и, подгребая одной рукой, заспешил к берегу. Когда выбрался, катера уже не было. «Мать честная! За одни сутки два утопления — каково?!»

Бродил, бродил Шмаков по островам, вброд и вплавь переправлялся через протоки и, наконец, нашел. Лодки стояли в заливишке, со всех сторон укрытом зарослями ивняка. Браконьеры сидели на своих местах, трапезничали. Увидев в полусотне шагов инспектора, бросились заводить моторы. «Нет, ребята, — постановил Шмаков, — так у вас ничего не получится». И, аккуратно прицелившись, выстрелил в колпак мотора. Деревянная лодка осталась у берега, экипаж пустился бежать. В одном из мужиков инспектор узнал Федьку Рузаева. «Вона кто изображал спящего! Ну, держись теперь!» — и погнался за ними. Казанка выскользнула в протоку. «Хрен с ней, за всеми не утонишься».

— Стой, Федька, стрелять буду! — кричал Шмаков, перезаряжая ружье. Вдруг тот мужик, который вел с инспектором переговоры, обернулся и выстрелил четыре раза подряд. «Пистолет! — сообразил Шмаков, падая. — Кажется, куда-то вlepили... Мать честная — война! Настоящие боевые действия! И это в мирное время...»

И все замерли — инспектор и браконьеры, и все гадали, куда пуля попала. «В ногу», — определил, наконец, Шмаков и приподнялся на колени. Снова грохнул пистолетный выстрел. Мимо. И еще один. Тоже мимо. Мужики сорвались с места. Стрелявший на ходу шарил в кармане плаща, наверное, доставал следующую обойму. «Нет уж, теперь мой черед!» — Шмаков с колена прицелился, выстрелил, но промазал. «Черт! Голова кружится... Так я, пожалуй, не много навоюю». Отполз в кусты и, перетянув ногу ремнем, стал ждать, чего дальше будет.

Браконьеры расположились в стогу метров за сто. Сначала их было четверо, но потом и двое с казанки присоединились. «Валайте, валайте, — вздыхал инспектор, — посмотрим еще — кто кого. До темноты больше выстрелить не решитесь — и так нашумели... А тут, глядишь, какая-никакая подмога придет».

К вечеру дождь перестал. Пришла тихая темень.

Издадала, из степей, донес ветер обрывок песни вагонных колес. Короткий, словно нечаянный гудок самоходки шевельнул на мгновение влажную ночь. Потом в бесконечной глубине черного неба занял самолет. Но ни машинист, летевший по рельсам с полусотней вагонов, ни капитан самоходки водоизмещением пять тысяч тонн, направлявшийся в Швецию, ни пилот, который, выйдя из виража, первой ракетой шлепнул мишень, болтавшуюся черт знает где над соседней областью, — никто из них, вооруженных тысячами лошадиных сил, не видел и даже не предполагал, что на берегу островка между Волгой и Ахтубой, забившись в кусты, валяется инспектор рыбной охраны Шмаков, слегка пьяный уже от потери крови, и стережет полтонны икры — дерьма-то! Никто не знал, никто не мог помочь...

Дважды за ночь Шмаков вступал в перестрелку, трижды — в переговоры. Беседовать на расстоянии ружейного выстрела Шмакову было тяжело — мало крови оставалось. Он выкрикнул свои условия: «Можете идти в милицию, можете — к едрене фене!» — условия в общем-то равнозначные. На все предложения про деньги и гарантии — отвечал матерными словами, не слишком заботясь о разнообразии.

Между тем приближался рассвет — пора было приводить битву к исходу. Браконьеры рассыпались и поползли, чтобы взять инспектора в клещи. Он слышал уже перед собой и по сторонам тяжелое дыхание. Выбрав ближайшее, выстрелил. Раздался вопль. «Все, — понял Шмаков, — можно и отдохнуть». Бандиты бросились бежать. Вопль раненого тоже удалялся. «Должно, в руку попал. Если б в ногу или еще куда, бег бы помедленнее».

Когда Нефедов приехал к дочери и сообщил, Антонина только головой покачала: «Нет, батя». Но побледнела. Подошла к окну:

— Глянь-ко — друг евоный молчит, не воет, а вы говорите, что... Нет, батя!

— Да я ничего такого и не сказал. Ну, катер утопленный обнаружали, вот и все.

— Будь она проклята, эта рыба,— запричитала дочь,— будь неладна...

— Конечно, работа такая,— вздохнул Нефедов, готовясь к тому, что Антонина или упадет, или зарыдает, или все вместе. — Работа такая... Надо бы, конечно, сменить, если, конечно,— он откашлялся,— ничего... особенного не случилось.

Антонина обернулась к отцу и неожиданно зло сказала:

— Вы бы помолились, батя, чтобы ничего не случилось, а то, если, не дай бог, чего случится... я сама займу Романово место, и тогда...

Взяв отцовскую моторку, уехала со шмаковским кобелем. Жмурик стоял на носу лодки и, напрягая остатки старческого чутья, искал хозяина, с которым, судя по поведению гостя, что-то произошло, хотя пес спокойно продремал ночь, и ничего особенного ему не показалось. Через два часа гонки по старицам и протокам дрожащий от напряжения и усталости Жмурик вдруг захрипел, закашлял. Антонина причалила к зарослям ивняка.



БАКЕНЩИК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ

Никушин лениво вытаскивал из щели между бревнами не перестававших клевать ершей, снимал их с крючка и бросал в ведро.

День начинался облачно и хмуро, но скоро просветлел, последние перья облаков унесло куда-то за лес, и теперь солнечные лучи, не встречая препятствий, падали на землю и жгли ее.

С мертвых сосновых бревен испарялась смола, отчего над плотом стоял тяжелый хвойный дух. Вода в ведерке грелась, и ерши переворачивались вверх белыми животами, засыпая в теплой воде.

Изредка Никушин поднимался, потягивался, потом, стараясь удержать равновесие, перепрыгивал со связки на

связку, направляясь к краю плота, где у него стояла донка «на леща», снимал с крючков размокшие хлебные шарики, насаживал новые и забрасывал тяжелый груз подальше, на глубину. А когда, увлекаемые грузом, скрывались под водой крючки с насадкой, Никушин вздыхал, все-таки желая если не леща, то подлещика, хотя понимал, что по такой жаре клева не будет. И возвращался дергать ершей для развлечения.

Плоты были причалены к низкому травянистому берегу, на котором сонно паслись утомленные жарой, стрепоженные лошади. Дальше, вдоль пыльной дороги к пристани, стояли хромые избенки небольшой старой деревни.

— Здравствуй, дядя Мить! — донеслось с берега.

— Здоровы, здоровы, — Никушин крикнул, вытер скользкие после ершей пальцы о рубашку и достал из нагрудного кармана пачку папирос. Он не заметил, как пришли Санька и Серенька, хотя знал, что они придут, и ждал их появления. Каждое погожее утро они приходили к берегу, ложились на траву, и все повторялось и не удивляло уже Никушина.

— Мы закурим, дядя Мить?

— Курите, курите, не скажу. — И закурил сам.

— Ставлю семь на Тарзана, — объявил Санька.

— Ха! Ложка придет первой! Семь на Ложку, — сказал Серенька.

Никушин продолжал воевать с ершами, а ребята вытащили из полотняного мешочка большой ломоть свежего черного хлеба и положили его рядом с собой на траву.

Лошадь, первой почувывая запах хлеба, глухо ударяя копытами связанных передних ног, приближалась к ребятам, но хлеб сразу же прятался в мешочек, и животное, обиженно заржав, уходило.

— Моя взяла! — ликовал Санька. — Обратю на Тарзана! А Ложка дура.

— Дура, — соглашался Серенька, — поставлю на Ларчика.

— Семь на Тарзана!

— Семь на Ларчика!

— Играешь в долг.

— Знаю.

И снова из мешочка извлекался хлеб, и снова, пофыркивая, приходила лошадь, и, наверное, это был Ларчик, потому что семь копеек отыгрывались.

У них было только по семь копеек.

И все сначала...

Солнце забралось на самый верх, и Никушин решил наконец смотать допку. Он подошел к краю плота, собрал леску на мотовильце, смыл с ладоней засохшую рыбью слизь и мокрыми руками отер лицо.

— Семь на Ларчика!

— Семь на Аракса!

Потом, когда солнце покатилося вниз, Никушин взял ведро и направился по липким от смолы бревнам к берегу и домой, чтобы сварить уху, пообедать и выспаться до вечерней проверки бакенов.

— Это Аракс, я выиграл.

«И впрямь Аракс, шельмы, — отметил Никушин, взглянув на берег. — Это ж надо — по голосам узнают!» И тут, еще с плотов, увидел он Дашу. Она шла сюда, к своим Сереньке и Саньке. Никушин ускорил шаг, спрыгнул на берег, бросил мотовильце и коротенькую удочку в ведро и, сорвав на ходу несколько стебельков мяты, подошел к ребятишкам: «Жуйте по-быстрому — мать идет!»

— Санька, Серенька — обедать! — звонко и протяжно позвала Даша. Они вскочили с травы, выплевывая горьковатую жвачку.

...Ребятишки шли рядом с матерью, а Никушин поотстал и молча тащился сзади, посматривая то на выгоревшие ребячьи затылки, то на Дашу. Иногда догонял и мог видеть красивое Дашино лицо, и без единой морщинки, как будто не было Даше тридцати лет, не было работы в поле, не было того дня одиннадцать лет назад, когда она родила близнецов, и дня, когда муж бросил ее, Саньку, Сереньку и уехал в неизвестном направлении. Как будто ничего этого не было.

«Вот, — говорил себе бакенщик, — вот красавица ведь? Красавица. А ты чего? Чего ты? — Он вспомнил свое отражение в полоске воды между бревнами. — Ты мужичонка задрипаный, чтоб не сказать: дерьмовый. Поганка ты поганая рядом с ней».

— Ну, мне пора, сворачивать мне, бывайте.

— Ага, Митя, бывай. Ты бы это... ты бы зашел как-нибудь... вечерком, — Даша взглянула на ребят, — чайку бы попил, что ли.

Никушин вздрогнул, посмотрел на ребят, которые стояли рядом, подняв лица, и вытер пот со лба.

— Не стесняйся, Мить, соседи мы с тобой как-никак, свои люди, можно сказать... Приходи хоть сегодня. Бакены проверишь и приходи.

В ее голосе, кроме волнения, было и еще что-то — ре-

шительность, что ли, — отчего Никушин согласно кивнул.

— Мам, а дядя Митя красивый?

— Красивый, ребятки, красивый, — слегка смутившись, скороговоркой ответила мать.

Никушин опустил голову, увидел мятую, заляпанную рыбьей слизью рубаху, грязные сапоги, вспомнил опять свое отражение рядом с пробочным поплавком и подумал, что он, пожалуй, все-таки не дерьмовый мужичонка. Ну, плохонький по крайности, но уж не дерьмовый, не задрипанный даже.

— Дядя Мить, приходи! Ну, дяденька Митя...

Руки у него ослабли, и он едва удержал ведро. А в груди, цепляясь за ребра, к сердцу, к горлу поднималась радость. От боли он сожмурил глаза. А когда открыл, то увидел, как радость, которой уже тесно стало в никушинской груди, охватывает луг, потом лес и по железной дороге приближается к городу с церквами, монастырем, милицией, исполкомом и рыночной площадью, на которой продают пиво. Радость готова была захватить весь белый свет!

— Приходи, Мить, они никому не скажут...

Никушин испуганно посмотрел на Дашу, на ее молодое и нравящееся ему лицо, на блестящие голубые глаза, потом посмотрел на поднятые лица ребят, на их одинаковые, бесцветные, никогда не видевшие света глазенки, глубоко вздохнул и, крепко сжав в руке дужку ведерка, так, что грязные ногти врезались в мокрую от пота кожу ладони, зашагал прочь, едва сдерживая незнакомый кашель, прорывавшийся из пустого нутра.



СТАРЫЕ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ



Жизнь наша протекала легко: мы охраняли и обслуживали небольшой склад горюче-смазочных материалов. Располагался он в стороне от войсковой части, и начальство наведывалось к нам редко.

Мазутная команда — как мы сами себя называли — состояла в основном из «военкоматовских отходов», то есть

из призывников старшего возраста, у которых кончились существовавшие по тем или иным причинам отсрочки. Были среди нас выпускники и недоучившиеся студенты, добропорядочные папаши и разведенные холостяки.

Служилось нам спокойно и тихо: ни ссор, ни поломок, да и вообще никаких ЧП. Все б ничего, да только, как дойдет дело до стрельб, смотров, соревнований, мы, как ни стараемся, выше последнего места подняться не можем. И ладно бы: раз — последнее, другой — еще какос-нибудь, нет — решительная определенность.

Наш командир — капитан Белочкин, столкнувшись с этим удивительнейшим явлением, испробовал все традиционные средства, но ни одно из них так и не помогло. И оттого, вероятно, что средства эти рассчитаны на подростков, а мы... Ну, отправят на кухню. И что? У меня, скажем, мать никогда не умела готовить, да и жена, падо отдать ей должное... И я к тому времени уже столько картошки начистил, столько щей наварил, столько котлет понавертел, что всей мазутной команде за год не съесть, даже если всяк будет в три горла лопать.

Мыть пол в сортире? Мусор вывозить? Ну так за людей эту работу никто никогда еще и не делал. Я вот с тех пор как переехал в дом-новостройку, чуть ли не ежедневно собираю на лестнице мусор, вываливаемый жильцами мимо мусоропровода: картофельные очистки, пивные пробки и папиросные окурки определяю в совочек веником, а что покрупнее или погрязнее — рукой, и ничего — привык. И соседям понравилось: валят и валят на пол, знают — кто-то все равно приберет. Полагают, наверное, что уборщица. А я, между прочим, ее ни разу так и не видел. Скорее всего, ее вообще нет, потому как лестницу не только подметать, но и мыть приходится.

Неумение преодолевать брезгливость — свойство людей несамостоятельных. В нашей команде таковых не было. Мы хладнокровно выполняли все, что приказывал капитан: чистили, драили, мыли, скоблили, красили и, в отличие от восемнадцатилетних, никогда не высказывали недовольства: какая, собственно, разница — все равно что-то делать надо, не одну работу, так другую какую-нибудь, лишь бы была хоть капля смысла.

После того как мы в очередной раз заняли последнее место, к нам прислали проверяющего. Им оказался майор Тропов.

В каждой части есть офицер, о котором рассказывают легенды или, на худой конец, байки. У нас таким офицером

был Торопов. Ходили слухи, что он отлично стреляет из любого оружия, вплоть до минометов и пушек, что в совершенстве владеет приемами самбо, дзюдо, каратэ, бурятской, таджикской, грузинской и других национальных видов борьбы, что умеет водить машину, бронетранспортер, танк, трактор, косилку, комбайн, катер и самолет.

Рассказывали, как на учениях он помешал превосходящим силам «противника» форсировать реку. «Противник» все вроде предусмотрел: навел переправу ночью, навел быстро, бесшумно. Когда разведчики доложили об этом Торопову и когда Торопов узнал, что командование поддержки не обещает, он решил воспользоваться единственным выигрышным в его ситуации моментом: переправа была на километр ниже по течению. Скотив в воду десяток бочек из-под горючего, Торопов отправил вместе с бочками пару солдат. Пока «противник» вылавливал скребущиеся о металл переправы бочки, солдаты ручными дрелями просверлили дырки в понтонах. А потом уплыли дальше и выбрались в расположении «своих» войск. Едва начало светать, еще в тумане, «противник» двинул вперед технику. Два танка перекатились, и мост стал тонуть. Пришлось срочно разбирать его, наводить новый. Туман рассеялся, поналетели самолеты, форсирование сорвалось. А переправившиеся танки Торопов будто бы еще и в плен взял.

Конечно, не все в этих байках точно соответствовало действительности, к тому же и вариантов ходило множество, однако нетрудно было заметить, что во всех вариантах майор неизменно представлял высокопрофессиональным военным. А тот уважительный, подчас даже восхищенный тон, с которым рассказывали о нем солдаты, навел на мысль, что Торопов, как принято говорить, «родился в офицерских погонах».

И вот он приехал. Ничем не примечательный майор лет тридцати пяти. Обошел территорию, осмотрел помещения, сделал мимоходом несколько деловых замечаний. Потом мы провели показательные физзанятия, загасили учебный пожар, ручной аварийной помпой перекачали горючее из одной цистерны в другую. Майор пообедал с нами в нашей столовой, переговорил с Белочкиным, и мы построились для того, надо полагать, чтобы ознакомиться с выводами и рекомендациями.

— Вы все делаете правильно, — сказал Торопов, глядя нам под ноги, — нормально делаете. Но вы — работаете. — Поднял глаза. — Да, работаете. — Всматриваясь в лица, он

медленно переводил спокойный взгляд. — Конечно, — согласно кивнул головой, — воинская служба — это прежде всего работа. Но не только она. — Майор задумался, не то подбирая слова, не то вспоминая что-то. — В вас крепко засела гражданская жизнь. Ну да это вполне естественно, — он вздохнул, помолчал и с внезапной строгостью в голосе громко спросил: — Значит, так: кто с Украины?

— Я! — вышел из строя рядовой Пересадаенко.

— Спойте нам во весь голос: «Запрягайте, хлопцы, коней».

Пересадаенко недоуменно смотрел на Торопова.

— Пойте, пойте, пожалуйста, — повторил майор.

Солдат воздел лицо к небу и начал...

— Стоп! — приказал Торопов. — Станьте в строй.

Мы растерянно ждали, что последует далее.

— У кого есть наколки?

Вопрос был совершенно неожиданным, да и мало кто понял смысл его, но рядовой Круглов, понутив голову, молча шагнул вперед.

— Голубей гонять приходилось?

Круглов невесело усмехнулся:

— Приходилось, а что? — Но, посмотрев на Торопова, в мгновение посерьезнел. — Так точно!

— Просвистите: «Здравия желаю, товарищ майор».

Окинув нас виноватым, прощающим взглядом, Круглов сверкнул фиксой и чего-то там свистнул.

— Громче!

Выпятив нижнюю челюсть и растянув губы, солдат отчетливо просвистал заказанное приветствие.

— Хорошо, — заключил Торопов и попросил нас назвать несколько строевых песен. Кто-то сказал: «Не плачь, дочка», Круглов — «Через две зимы».

— А из старых ничего не знаете? — поинтересовался майор.

Мы стали припоминать. Припоминали, припоминали, и майор выбрал две, одну из которых от начала до конца знал Пересадаенко, другую я.

— Кто обучался в музыкальной школе? — спросил вдруг майор.

Двухметровый Лаппо медленно склонил голову набок. Я прикинул: музыкалку он окончил лет десять назад, после этого стал ватерполистом, и, конечно же, не до музыки было.

— Учили, — вспомнил Лаппо. — Окончил.

— А на чем вы играли?

— Я?.. На этом... На фортепиано...

«Рояли таскал», — пробормотал кто-то во втором ряду. Мы дружно хмыкнули, не сдержались.

— Ладно вам, — обиделся ватерполист. — Я ж тогда не такой был. — Растопырил перед собой пятерни, в каждой из которых, без сомнения, уместилось бы как раз по мячу. — Я ж маленький был, худой.

Оставив без внимания наши реплики и смешки, майор сказал:

— Вас, рядовой Лаппо, я назначаю хормейстером — займетесь аранжировкой, понятно?

— Не-эт... — Лаппо помотал головой.

— Пересаденко — запевала, Круглов — свист, остальные — по голосам, понятно? Сегодня у нас что — четверг? Так вот: двое суток на репетицию, а в воскресенье утром вас будет прослушивать комиссия. Форма чтоб, сапоги... — Обернулся к Белочкину: — По банке гуталина на брата! — С тем и уехал.

Белочкин поморщился, укоризненно проворчал:

— Проверяют, проверяют тут, — и вдруг взвился: — А вы что стоите? Двое суток у вас, понятно? Орите, свистите, черт с вами, только от моего дома подальше! Дуйте куда-нибудь: за сарай, за столовку... Стрелять не умеете, придется теперь через худсамодеятельность выбиваться в люди — капеллу организовывать. Начнем, значит, с пения, а там, глядишь, и до балета дойдем. Лебеди...

Самодеятельность так самодеятельность — чем не занятие? Опять же, названия своих голосов впервые в жизни узнали. У меня, например, Лаппо выявил баритон и сказал, что такой голос в каждой опере нужен. Круглов ему: «Чего ж мелочиться?! Давай тогда «Даму виной» замастрячим». Лаппо подумал, подумал и возразил: «Сопран нету».

На другой день с утра обосновались мы в лопухах за казармой. Белочкин тоже пришел. «Негоже, — говорит, — в трудный час от своих солдат отрываться». Он любил нас, капитан Белочкин, мы это знали. Было ему с нами интересно и в общем-то, несмотря ни на что, спокойно, только вот несколько непривычно, пожалуй.

Его определили в альты.

Выучили мы за два дня эти песни, вычистили пуговицы, пряжки и сапоги — готовимся к приезду комиссии. Но в воскресенье выясняется, что вместо выступления будут стрельбы. Стрельбы так стрельбы — тоже дело: взяли автоматы, сели в грузовики и поехали. На полпути, перед самым

поселком, догоняет нас майорский «уазик». Остановились. Поспрыгивали на шоссе. Майор отогнал машины вперед, мы выстроились в шеренгу по четыре и потопали, сверкая надраенными сапогами. Пешком так пешком — занятие для солдат, известно, нужное и полезное. Шагаем себе и шагаем, вдруг:

— За-певай!

Пересаденко, шедший со мною рядом, судорожно хватанул ртом воздухом, вытаращил глаза и:

— Нас по-бить, по-бить хо-те-ли...

Тут Круглов спохватился и как засвищет!

Белочкин шел впереди, майор слева, против середины колонны.

— Веселей! — успевал он выкрикивать в паузах. — Шире шаг!

— Ес-ли ра-нят те-бя боль-но...

Песня длинная — пока допели, в поселок вошли. Круглов говорит: «Интересно, он и через поселок нас с песняком погонит?»

— Братцы, — прошептал Пересаденко, — а у меня стихотворение получилось!

— Как это? — не понял Лаппо, шагавший впереди справа.

— Ну просто из души выскочило.

— Спрячь обратно, — порекомендовал Круглов. Но Пересаденко не услышал, он уже начал читать:

— Идет солдат в строю веселый, выше ногу подыма, руками машет до отказа и соседу он морга! А? Как?

— Сам сочинил? — не поверил Лаппо.

— Ей-богу!

— Отправь в «Крокодил», — посоветовал Круглов, — это ж — нарочно не придумаешь».

— За-певай!

— Вдоль квар-та-ла, вдоль квар-та-ла взвод ша-гал...

У калиток кое-где появились люди.

— Позорище с нас хочет сделать, — сказал Круглов.

— Левой... левой... рраз, два, три-и! Рраз... рраз... рраз, два, три-и! — яростно командовал майор Торопов.

— За-певай!

— Вдоль квар-та-ла, вдоль квар-та-ла взвод ша-гал...

Мы прошли через весь поселок. Увидели старика, спешно прищипливавшего медали, крестящуюся в поклонах старуху, женщин, смотревших на нас тревожно и зорко, смеющихся девушек, серьезно и понимающе глядящих мужчин, маль-

чишек, то там, то здесь пристраивающихся к колонне. Лица были повсюду: за стеклами встречных машин, у калиток, за оградами, окнами.

— ...Ну, значит, так то-му и быть!

— Рраз... рраз... рраз, два, три-и! Рраз, два, три, запевай!

— Вдоль квар-та-ла, — то ли Пересаденко очень полюбил эту песню, то ли внутри у него что-то заело, но мы еще два раза подряд пели про Васю Крючкина.

Поселок остался далеко позади, однако, оборачиваясь, мы видели людей, все стоявших возле дороги. Наконец майор приказал остановиться. Подождал, пока мы отдышимся, потом без каких-либо эмоций в голосе полюбопытствовал:

— Так кто вы?

— Мазутная команда, — робко ответил кто-то из нас.

— Не-эт! — Торопов покачал головой и, выставив перед козырьком своей фуражки кулак с оттопыренным вверх указательным пальцем, призывавшим к особо пристальному вниманию, объяснил: — Вы — армия.

Тут подкатил «уазик». Белочкин спросил, будет ли майор наблюдать за стрельбами. «Зачем? — пожал он плечами. — Отстреляетесь», — и уехал. Подошли наши грузовики. Белочкин хотел было скомандовать: «По машинам», но передумал: «Чего тут идти-то? Километр до поворота, а там — всего ничего... Ш-шагом аррш! За-певай!» И через полчаса, когда мы приблизились к проходной полигона, те самые караульные, которые обычно встречали нас чем-нибудь вроде «привет снайперам», торопливо распахнули ворота и, отдавая честь, окаменели в явной растерянности.

— Эй, ком-роты, даешь пуле-меты!..

Мы входили на полигон так, как, наверное, некогда входили армии победителей в ворота сдавшихся крепостей.

Сам черт был нам не брат!

Не могу сказать, что стрельбы завершились полным успехом, но авторитет мазутной команды с этого дня стал расти, и последних мест мы, как ни странно, впрямь не занимали.

Пересаденко вскоре стал солистом ансамбля песни и пляски округа. Но мы пашли нового запевалу — Куценко.

Майора с тех пор я так и не видел. Говорили, что он направлен на учебу в военную академию.

Пытаясь впоследствии объяснить себе, почему Торопов предпочел современным строевым песням старье, я неизменно вспоминал его слова, сказанные пусть не о песне, а о

военной службе: «Конечно, это прежде всего работа, но не только она».



ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Отчего вдруг он сказал мне, что Козырев застрелил Добродеева, я не помню; сказано это было совершенно неожиданно и без всякой видимой связи с предыдущими моими словами.

В тот день мы гоняли зайца. Попался дошлый, иначе — «профессор»: не дав ни единого круга, набил прямых троп, умотал, запутал собак, да и нас с Симигиным, а между тем чувствовалось, что он где-то близко, рядом совсем. Когда наконец собаки, досадливо взвизгивая, в третий раз пронеслись через просеку по своему следу, я сдался: «Не послушалась Козырева...» Симигин согласно кивнул.

Козырев не хотел набрасывать собак на этот малик и уговаривал отойти от поселка подальше. «Братцы, — предупреждал он, — это «профессор», его еще мой дед ганявал. Вы что, братцы? Да он тут не то что каждый куст — каждого охотника, каждую собаку в лицо и по имени знает!»

Мы действительно немного прошли — оранжевые окна просыпающегося поселка светились еще совсем неподалеку, а лес только начинал угадываться впереди. Но не утерпели: Симигин спустил Лоботряса, а Козырев, осуждающе покачав головой, отвязал бечевку от ошейника Найды, но сказал, что дело пустое и что он, пока мы тут будем маяться, пойдет тихонечко по дороге.

И вот уже совсем рассвело, начался дождь, вчерашний снег стал быстро таять. Мы стояли у опоры высоковольтки на просеке, спускавшейся к полю. Окна погасли, но явственной чернотой сияли теперь сами намокшие избы. Возле крайней, среди пятен снега бродили в грязи рыжие куры.

— Да, — вздохнул Симигин. — Надо снимать собак.

Направились по просеке вверх, туда, где она пересекалась

с дорогой и где, вероятно, ждал нас Козырев, и тут же заметили самого «профессора», заметили его мягкий, спокойный прыжок с просеки в чащу. Похоже было, что заяц долго сидел здесь и, возможно, не без интереса наблюдал за ходом мероприятия.

— Однако здоров! — заметил Симигин. — Как кабан.

И я почему-то легко с ним согласился, хотя до той минуты полагал, что зайцев с кабана не бывает.

Мы было испугались, что собаки снова погонят его, но, к счастью, донесся сигнал охотничьего рога — терпение Козырева лопнуло, и он позвал всех к себе.

Тут, кажется, я сказал что-то уважительное о семидесятилетнем Козыреве, который, судя по звукам сигнала, упилил черт знает куда, пока мы колобродили на опушке, и Симигин со странным, судорожным смешком произнес:

— Он во время войны собственноручно Добродеева завалил. — Потом, словно вспомнив что-то, без чего никак нельзя было, добавил: — Дезертира. — Улыбка исчезла. — Дезертира, — торопливо повторил он стихающим голосом.

Не понимая, с чего вдруг понадобилось поминать Добродеева, я ждал продолжения разговора, но Симигин, кажется, расценивал мое молчание как растерянность перед неизвестным мне и обескураживающим фактом и в свою очередь ждал расспросов.

А историю с Добродеевым я знал. Козырев сам мне рассказывал, как однажды во время войны попал домой: ездили на Урал не то за каким-то оборудованием, не то за вооружением, — точно не помню, знаю только, что служил Козырев в артиллерии, — по дороге туда командир отпустил его, а через четыре дня эшелон проходил обратно.

Добрался домой. Все в порядке: дети живы, здоровы, жена ждет. Ночью вызвали в НКВД. Козырев думал, что выяснять, на каком основании он домой заявился, но нет.

Начальник — капитан-фронтовик — лежит на диване и не встает. Извиняется: что-то у него после ранения не то с ногами, не то с позвоночником. «Я, — говорит, — все понимаю: жена, дети. Но, — говорит, — выручай: на мне дезертир висит. Знаем, что скрывается в своей деревне, а взять не можем — некому брать». Их там всего двое было — офицер этот да еще пацан, который за Козыревым прибежал, а у того пацана рука сухая и скрюченная, он ни на какое дело не годился — так: «сходи, позови...»

Ну, значит, и поручает капитан Козыреву — а Козырев лейтенантом был — взять дезертира. Как не выполнить при-

казание? Ведь, не дай бог, самому дезертирство пришлют — домой-то попал не официально. Повозражал было лейтенант, повозмущался беспорядком, а капитан объяснил, что все на фронте, что в других местах хоть раненых офицеров дают сколь надо, а тут и госпиталя нет, так что жди-дожидайся.

Деваться некуда. Пошел Козырев. А капитан ему в дорогу винтовку навялил. «Пистолет, — сказал, — одно баловство, а трехлинейка: увидел — прицелился, прицелился — попал, попал — убил». Весна была. Снег еще глубокий лежал, под снегом вода. Взмок лейтенант и промок. Вышел на поле — деревня, дворов десять — двенадцать, аккуратненькая, вся огорожена, в четыре стороны света ворота, два «журавля», дров навалом, трубы дымят. Подошел к крайней баньке — банька топилась — и сел на лавочку отдышаться. Бываливался голый мужик толстый, борода совковой лопатой. Ухнул, ахнул — и в снег. Снег под ним тает, тонет мужик, «только пар над ним, как из полыньи», — вспоминал Козырев.

Встал, покряхтел и спрашивает: «За дезертирами, что ль?» — и снова в баньку. Козырев прислушался и определил, что мужик парится в одиночестве и что ему либо так хорошо, что на все остальное плевать, либо попросту Добродеев до фени.

Он уж было собрался зайти расспросить о дезертире, как вдруг из-за домов выбежал человек и, проваливаясь в сугробах, стал уходить к лесу. Козырев закричал, призывая остановиться, но тот в ответ саданул из ружья, и ход событий сделался необратимым. «Ну шел бы себе и шел, дубарь, — сердился Козырев, вспоминая. — Я знаю, кто это? Я устал, да и времени гоняться за ним у меня не было. Так нет, стрелять начал, дурак!» Козырев по натуре своей человек терпеливый, но одновременно и вспыльчивый до чрезвычайности, и вместо того чтобы лупить по ногам... Да, еще такая деталь: сначала он перешел к углу соседнего дома — стрелять оттуда, вероятно, было удобнее, прицелился и — это запомнилось ему навсегда — почувствовал чей-то взгляд. Поднял голову, а в окошечке девчонка белобрысенькая. Он пригрозил, отогнал от окна, снова вложил приклад в плечо — парень успел уже отбежать далеко и вот-вот должен был исчезнуть в ельнике. Однако насчет винтовки пехотный капитан оказался прав...

Тут выскочила из какой-то избы женщина, закричала: «Па-ша-а!» Козырев понял, что убит действительно Добродеев Павел Иванович девятнадцати лет и что эта женщина —

мать убитого. Парившийся мужик сходил к трупу за документами. Подробности я не выяснял, но надо думать, что мужик предварительно оделся, иначе весь рассказ приобрел бы совсем иную окраску.

В тот же вечер Козырев сдал виштовку и документы каштану.

Я, конечно, понимал, что у Симигина, как у жителя здешнего, могло быть сложное отношение к поступку Козырева — мало ли что связывало Симигина с Добродесвым? Может, они вместе работали или на рыбалку ходили? Вот об этом я и размышлял, шагая рядом с ним под толстыми проводами высоковольтки.

И тут где-то впереди погнался Лоботряс. По его радостному лаю мы сразу определили, что заяц — не опостылевший зануда «профессор», а свежий, другой. Гон удалялся вправо, и Симигин тотчас свернул, должно зная лаз, к которому мог выйти кружной путь зайца. А я побежал туда, где Лоботряс поднял косога, и нашел лежку на просеке.

Вскоре к мощному, монотонному буханью гончака присоединился заполосный, пронзительный голос Найды, и дело пошло веселее. Лоботряс зачастил, раздались выстрел, потом второй, прокричал что-то Симигин, наверное, «готов» или «дошел», и голоса собак смолкли. Закинув ружье за плечо, я отправился дальше.

Возле самой дороги, в лесочке, Козырев развел костер и кипятил воду для чая. Устраиваясь на вывороченной лесине позавтракать, мы гадали, взял ли Симигин косога и почему не идет. Потрубили еще. Кажется, кто-то вдалеке отозвался.

— А куда ж собак-то черт занес? — дивился Козырев. — Обычно время от времени показываются, а тут... Не дай бог за лосями уперлись — жди тогда.

Отогревшись чаем, мы подразомлели и предались любимейшему занятию всех охотников — травле баек. В этом виде любительского творчества меня всегда поражало полное соответствие свойств изложения тому или иному виду охоты.

Скажем, охота облавная, в которой преобладает сухое организационное начало и которая заканчивается чаще всего двумя-тремя выстрелами. Про такую охоту рассказывают ровным голосом, скупое. А если рассказчик и оживляется, то лишь в том месте, где нормальное течение событий нарушилось: раненый зверь пошел на загонщиков, или попытался проскочить между загонщиками и стрелками, или последовало подряд несколько промахов, или произошло что-нибудь еще более невероятное.

О тетеревиных и глухаринных токах рассказывают негромко, словно боятся вспугнуть дичь. Причем, если об охоте на глухаря, где хоть помалу, а передвигаться приходится, повествуют с жестикуляцией, то о тетеревах практически без нее — охотник сидит в шалаше.

При воспоминании об охоте с гончими глаза у охотников дружно вспыхивают шальным огнем. И если о том, как гончак поднял зайца, как бежали, на ходу распределяя, кому где встать, рассказывается громко, то о последующих событиях, об ожиданиях, о вслушивании в музыку гона говорится шепотом — так вел себя рассказчик и на охоте.

Зато уж тяга вальдшнепов! Тут будут сплошные «ах», «бах»! Даже когда ни одного патрона не расстрелял — все равно «ах»! А уж если весь патронташ высадил, будет ахать, покуда не захлебнется. Такая охота.

Наговорившись до жаркого сердцебиения, мы разом умолкли и вмиг вернулись к действительности момента: не было ни Симигина, ни собак, а между тем уже половина короткого дня перетекла в прошлое.

Козырев снова потрубил в рог, потом я пару раз выстрелил — никто не отозвался. Старик начал ругать Лоботряса, который «если не захочет гонять, всю охоту споганит», я кивал, соглашаясь, что Лоботряс — себе на уме. С другой стороны — мы знали: каким же ему быть, когда первый хозяин помер, второй на стройку завербовался? За Симигиным пес только числился, а жил вольно, как его волки не съели: то он на сплаве в тридцати километрах, то на станции в пятидесяти. Любил Лоботряс самостоятельно погонять зверя, но как только начинался охотничий сезон, примыкал к людям, и если был в ударе, «музыка» весь день гремела в лесу, прерываясь лишь выстрелами. Если охотиться не желал, мог спрятаться, незамеченным прошататься за охотниками или вовсе уйти, да при этом, случалось, и других собак с панталыку сбивал. А уж Найда, верная подруга, подчинялась Лоботрясу беспрекословно. Была у него некогда своя профессиональная кличка: Догоняй, Заливай или еще что-нибудь гончаковое, но забылась, сменившись на оскорбительное, хотя и шутовское прозвище.

— Симигин, черт, и сам темнила, что твой Лоботряс! — не унимался старик.

И я вспомнил:

— А что, Симигин, он Добродееву, ну, тому... родственник, что ли? Или приятель?

Тут мой напарник — осанистый, гренадерской ком-

плекции старикан, с неизменной всепонимающей полуулыбкой на пышущем здоровьем лице, вздернул седые брови, и взгляд его сделался растеряннo-глуловатым:

— А что?

Я объяснил, что ничего особенного: Симигин сказал то-то и то-то, все остальное — лишь домысливание мое. Брови попустились.

— Это хорошо. Мандражирует, значит.

— А в чем дело? — не понял я.

Козырев не ответил. Опустив глаза, он с загадочной снисходительностью смотрел на едва дымящиеся мокрые головешки. Я пожал плечами: дело хозяйское, и, перезарядив ружье, пошел к дороге, чтоб стрельнуть еще раз. Настроение испортилось: на охоте всякого рода непонятности во взаимоотношениях и недомолвки вызывают особенную неприязнь. Дома, в городе, привыкаешь к недоговоренностям, служебным и семейным играм, а притерпевшись, перестаешь замечать их тягостность. Но на охоте — чистом празднике — любая фальшь коробит душу, режет глаз и слух.

Козырев тоже почувствовал. Когда я выстрелил, он подошел:

— Ты извини. Такое дело, понимаешь... Ты только Симигину не говори...

Я снова пожал плечами.

— Да не обижайся! — он тяжело вздохнул, огляделся. Для того, кажется, чтобы я не видел глаз. И тоскливо сказал:

— Понимаешь, дело какое... — опять засомневался, — раз уж ты вроде как влез...

Я поспешил отказаться.

— Ну вроде как, — повторил Козырев. — Да все равно, если я раньше его помру, надо ведь... — Он явно убеждал себя в необходимости открыться. Я молчал: теперь уже мне самому становилось неловко. И тут Козырев почти выкрикнул: «Это ж Симигин ранил меня!»

— Когда ранил? — В моем сознании сообщение Козырева ни к чему не привязывалось.

— Да когда я после Добродеева возвращался. Добродеев не попал, а он на выходе из леса шмальнул — в плечо-то и ранил, — взволнованно объяснил старик. — Из пистолета стрелял, попал в плечо. Но мне никак нельзя было говорить об этом капитану — он знал только о Добродееве, а в таком разе запросто мог отправить меня за вторым. А у меня до эшелона всего полтора суток оставалось! Я бы не то что к

семье, и в часть, наверное, не попал — капитану-то на меня начхать, ему свои дела делать надо, ну! Умолчал, словом. Да и в части потом скрывать приходилось. Конечно, я тогда ни о каком Симигине и не подозревал, думал, что кто-то из деревенских.

— Но откуда Симигин там оказался? Да погодите!.. Ему ж тогда было... Он ведь не то двадцать девятого, не то тридцатого года, правильно? Ему ж тогда было лет двенадцать — четырнадцать!

Задерживаясь с ответом, старик терпеливо позволил мне совершенно оторопеть, потом ухватил пуговицу моей фуфайки и величественно произнес: «А дело в том», — и что-то еще, но я вдруг перестал его слышать.

— Найда! — прошептал я, и Козырев замер с открытым ртом.

Где-то далеко, почти сходя со слуха, гоняла Найда. Сдерживая дыхание, мы пытались определить направление гона. Козырев отпустил пуговицу и, упреждая события, показал движением руки, что заяц выскочит на дорогу и пойдет к нам. Я погрозил пальцем: мол, не сглазить бы. Ударил бас гончак, и стало ясно, что старик прав.

— Скорей туда! — указал он. — Там болотце, наверняка по краю пойдет! — И уже вслед мне: — Я останусь здесь, у дороги!

Какая музыка! У Лоботряса — набат, у Найды — малиновый колокольчик. Конечно, если бы Лоботрясу добавить чуть бархатистости, а Найде — певучести, тогда б... Но в наше время выбирать не приходится — лишь бы твякали да в нужную сторону по следу бежали. А тут — натурально дуэт. И дело не только в эмоциях, но и в своеобразности: у Лоботряса, если употреблять техническую терминологию, низкочастотный голос, у Найды, напротив, — высокочастотный. И оттого сквозь любые помехи: скрип снега, шелест ветра в деревьях, сквозь собственное дыхание, стук сердца, шум крови в висках — какой-то из голосов непременно да прорывается.

Я отыскал болотце, определил наиболее удобный с заячьей точки зрения лаз и, став за ствол старой ели, изготовился к выстрелу.

Заяц не очень спешил. Сначала я услышал его прыжки — легкие прикосновения к тонкому слою снега — здесь, в спелом лесу, снега на землю просыпалось совсем мало, но он и не растаял почти. Потом в прогале среди лесного подроста появился и сам белячок. Замер. Ворочая ушами, прикинул

расстояние до собак, чтобы угадать момент для новой петли или какого-то иного фокуса, на разгадывание которого преследователи будут тратить силы и время; запрыгнув на поваленную березу, смял корочку влажного снега, оттолкнулся...

Когда через минуту, клубя паром, к моим ногам подлетели гонцы, я дал им по пазанку — по задней лапке. Найда дробила кость быстро, жадно и при этом не спускала с притороченного зайца мстительных глаз. Лоботряс же взял пазанок нехотя, словно лишь для того, чтобы соблюсти порядок, традицию. Выронил, ткнул носом в грязноватую, истоптанную зачыю подошву, и в сей же миг гостинец без видимых манипуляций исчез.

Повернули к дороге. Найда радостно побежала вперед, а Лоботряс не то устало, не то в задумчивости поплелся рядом со мной. Я заметил, что левая передняя лапа у него кровоточила, и поинтересовался: «Чего с ногой?» Не взглядывая на меня, он подал лапу, коготь был вывернут. «Ну ты хоть зализал бы, что ли!» Он лизнул раз и пошел дальше.

Лоботряс — один из тех замечательных псов, которые «все понимают, только что не говорят по-нашему». В этой расхожей фразе нет преувеличения: всякий человек, общавшийся с животными на протяжении длительного времени, теряет твердость в представлении о том, кто есть «царь природы».

Взять того же Лоботряса. Бывало, мужики шутки ради бросят ему газетину, мол, почитай. Он лапами порасправит, пригнетса и начинает мордой туда-сюда мотать, да еще и подвывает при этом. Мужикам смех, а Лоботряс обижается: он старался, как люди. А потом, кто ж его разберет, может, он и понимает, что там написано?

Вышли из леса. Козырев с Симигиным стояли посредине дороги, беседовали. Я вспомнил о прерванном рассказе Козырева и решил: ерунда. Если Симигин и впрямь стрелял, его б наказали. Не тогда, так потом. А коли уж не наказали, то, значит, все это — не более чем стариковские бредни: старость тщеславна и, перетолковывая прошлое, частенько готова слукавить и прихвастнуть.

— Ну что? — спросил я, подойдя к охотникам. — Дальше двинем или — домой? — С ходу на такой вопрос отвечать трудно.

— Жировали? — полюбопытствовал Симигин. Он часто употреблял в обиходе охотничьи словечки: молодежь у него «токовала», самолеты «тянули», люди подразделялись, в

частности, на «матерых» и «пестунов». Как будто в шутку, но... Нет, не могу, да и прежде не мог хоть что-нибудь говорить о Симигине с определенностью.

— Жировали, — вздохнул Козырев, отводя взгляд от наших зайцев.

— Я тоже. Теперь бы на лежку. — Симигин зажмурился и погладил живот. Найда, заискивающе повизгивая, призывала нас возвращаться — дома ее ждали щенки.

— А может, успеем дотемна еще одного поднять? — словно бы между прочим поинтересовался Козырев.

— Какой разговор! — Мы понимали, что старику тоже надобно взять зайчишку. Вообще-то, если уж выдерживать этикет, я должен был отдать зайца хозяину Найды, а взамен получить патрон, но, во-первых, я был гость, а, во-вторых, Козыреву важно было добыть самостоятельно — в своих счетах со старостью он был щепетилен.

Вдруг Лоботряс, отлеживавшийся в дорожной грязи, резко вскочил и начал тревожно рычать. Шерсть на загривке вздыбилась, пасть ощерилась так, что видны стали все до единого зубы.

— Волки, — определил Симигин.

Стоя на месте, пес резкими, конвульсивными движениями отшвыривал назад комья глины. Из-под вывороченного когтя снова шла кровь. Найда спряталась у нас в ногах и с настороженным любопытством поглядывала то на Лоботряса, то в ту сторону, куда смотрел он. Мы поняли, что следует возвращаться — волки легко снимают собак с гона.

— Не крикай, — успокаивал Козырева Симигин, хотя тот и не крикал. — Ближе к поселку подыдем тебе какого-нибудь.

— «Профессора», — согласился Козырев. — И тогда уже на всю ночь.

— Подыдем! — пообещал Симигин и, кликнув собак, пошел впереди. Козырев, конечно же, был расстроен.

— Ладно, — объяснял он с самим собой. — В первый раз, что ли? Бог с ним, с моим зайцем-то, пускай поживет, подрастет поболее... — И вдруг шепотом: — Ну вот, значит, дело такое, — заметил мое недоумение. — Эт я насчет того... Ну, насчет выстрела...

История с Добродеевым оказалась куда более запутанной и сложной, чем можно было предположить.

Итак, на обратном пути в Козырева стреляли из пистолета. Тогда только он допер, что голый говорил не о дезертире, а о дезертирах. Капитану сказал, что ранец картечью после

выстрела Добродеева. И в самом деле, вдруг да капитан и вставил бы Козырева снова идти в ту деревню разыскивать стрелявшего. Сейчас это предположение выглядит не совсем убедительно, а тогда... У Козырева оставалось чуть более суток до выхода из дома, и он не хотел рисковать ни этими сутками, ни возвращением в эшелон.

После войны узнал, что капитан умер от своих тяжелых ранений, а перед смертью даже успел получить медальку за Добродеева. Старик нисколько — по крайней мере сейчас — не упрекал капитана в искажении фактов — тот ведь не мог в рапорте указать его фамилию.

Суть дальнейшего путаного и сбивчивого рассказа сводилась к тому, что в первые послевоенные годы ничего нового разведать не удалось. «И невозможно было, — признал Козырев. — Он ведь, стрелок-то мой неизвестный, единственным трудоспособным мужиком был на всю деревню: тот, голый, помер, а с войны к ним никто и не вернулся — так разве ж выдали б? Это уж потом, когда полегче жить стало, кое-какие слухи и проползли. Да и то не шибко серьезные: дескать, пригрела одна солдатка из той деревеньки паренька тридцатого года рождения, пригрела еще во время войны, и выходило: не то баба опаскудившаяся совсем, не то паренёк сильно ранний. Ну да я во все это не особо вникал»

Наконец деревеньку эту злосчастную, наравне с некоторыми другими, не имеющими отношения к дезертирству, разорили, а жителей перевели в посёлок, в сборные двухквартирные домики. Вот тогда-то Козырев и познакомился с соседом Смигиных — пьяницей, не помню фамилии. Нельзя сказать, чтобы познакомился он специально, но тоже и не случайно: просто Козырев в то время и сам «керосинил». Отчего-то у нас едва ли не всякому человеку бывает в жизни необходимость испытать себя на этом поприще, и многих, как известно, искушение совершенно одолевает.

К чести Козырева надо сказать, что он устоял. Этому немало поспособствовал большой зимний праздник, в ночь после которого Козырев выпил залпом трехлитровую банку воды. Наутро он обнаружил, что вместе с водой неведомо как проглотились два десятка, приготовленных для рыбалки, живцов. Этот эпизод отчего-то произвел на Козырева значительное впечатление и упрочил его пошатнувшийся было дух.

Так вот, симигинский сосед являлся на тот момент одним из козыревских приятелей. Он рассказал, что к Смигину иногда приезжает брат, младший вроде. И они надираются, и младший кричит на старшего, что тот, дескать, всю жизнь

ему изломал, грозитя довести дело до суда, а несчастный Симигин бегаёт и бегаёт в сельпо за водкой. Копчатся деньги — занимает и снова бежит. А однажды даже гармонь на бутылку сменял.

— Соображаешь? — прошептал Козырев.

Симигин шел шагах в пятидесяти, и Козырев говорил вполголоса, а то и вовсе переходил на шепот. Заметно было, что он сильно взволнован. Зная Козырева, я готов был утверждать, что им в распутывании этой странной истории руководила страсть преследователя, может — исследователя, но никак не жажда мести.

Неужели не соображаешь? А я тогда уже все угадал! Вся хитрость в том... Погоди-ка! — насторожил он меня.

Подошли к полю. Собаки занервничали. Лоботряс, свернув с дороги, петлял между светлеющими на блеклой стерне кочками снега, а Найда, недавно еще скулившая от тоски по щенятам, суетливо и отрешенно вертелась в дорожной грязи.

Я сказал, что мы не в кино и нечего обрывать на самом интересном месте.

— Короче, — продолжил Козырев, пристально наблюдая за Найдой, — их было два брата: один — двадцать четвертого, другой тридцатого года, — теперь он говорил машинально, бегло. — Старший вместе с Добродеевым дезертировал, а потом, до самого конца войны, скрывался в той же деревне у солдатки. После войны съездил на родину — он из К-й области, — взял часть документов брата и тоже стал Николаем Симигиным тысяча девятьсот тридцатого года рождения. Тогда к бумагам относились попроще, а уж на внешность и вообще внимания не обращали: иные ребятишки выглядели старей мужиков...

Лоботряс замер.

— По этим-то документам его и призвали. Отслужил, вернулся к своей бабенке, вот и все. А у младшего, видать, жизнь не сложилась — подпортил ему биографию наш приятель. Ну тот, значит, и приезжает иногда отыграться... Да и жена, стерва, измываетя над ним как пожелает.

Найда сбежала в кювет, взлетела в поле. Судя по нашему местонахождению, это был не «профессор». Скорее всего — шумовой, то есть согнанный с лежки шумом охоты. Мы видели, куда бежит Найда, но зайца заметили лишь после того, как он сорвался: сначала он пошел было к лесу — оттуда встречу бросился Лоботряс; развернувшись, косою помчался напрямик на стволы.

— Не стреляй! — закричал Симигин. Стрелять пока было нельзя — на хвосте у зайца висели собаки. Но когда косой, одним прыжком преодолев широкий кювет, ушел от собак и покатил по дороге, мы с Козыревым почти одновременно выстрелили, и я, к счастью, чуть припоздал. Рассудили, что заяц козыревский, а я стрелял зря — просто шпиговал дробью.

Дальше мы уже шли втроем. К вечеру стало подмораживать, захрупал под ногами тонкий ледок, грязь начала отвердевать, каменеть. Лоботряс сносил все невзгоды молча, а Найда жалобилась и то и дело оборачивалась посмотреть, не идет ли сзади какая машина. Обычно по этой дороге двести машины за день туда-сюда проезжали, но на сей раз нам не повезло — добирались пешком.

Простились с Симигиным, и я пошел проводить Козырева. Семья у него большая, дома не поговоришь, оттого историю свою досказывал он в сарае, где мы кормили Найду, а она — щенков.

Старик рассказывал мне подробности своей тайной поездки в К-ю область, а меня занимало другое:

— Почему ж вы скрываете все это? Или вы стали как-то иначе относиться к своему поступку... ну, к убийству Добродеева?

— Нет, — с твердой уверенностью отвечал старик. — Добродеев — враг. Он не занял своего места в окопе, не защитил кого-то, не выручил, не помог. Погубил, словом. И то, что не Добродеев ранил меня, дела не изменяет. Конечно, я психанул: по ногам надо было. Но как только он начал лупить из дробовика, я...

— Ну, Добродеев — враг, а Симигин?

— Тоже, конечно, — старик задумался, — однако раскрыть его сейчас... А вдруг он сразу дуба и даст?

Я пожал плечами.

— То-то и оно. А может, наоборот, — продолжал рассуждения Козырев. — Восстановит прежние документы и: давайте мне пенсию в срок, а не на шесть лет позже. Отправим, значит, дезертира на заслуженный отдых? Его ж не посадят, я узнавал: одни статьи сняты, по другим давно амнистия вышла, так что... А кроме того, он отслужил, отдал, так сказать, долг Родине. Правда, в мирное время, но...

Щенки все еще ползали вдоль брюха матери, а Найда уже спала. Дыхание ее было глубоким, ровным, но лапы иногда вздрагивали — должно быть, снилась охота.

— Как вы думаете, — спросил я, — Симигину трудно далась такая вот его жизнь?

— Да! — убежденно отвечал Козырев. — Это для него тяжелая ноша. Он ведь все время боится, все время чего-то ждет. Не случайно и вокруг меня вертится — чует... мы ж с ним, — улыбнулся старик, — не разлей вода, сам знаешь. Но я не могу решить, что предпринять, и... ничего не предпринимаю. Это тоже тяжелый груз, устал я. Устал носить все в себе...

Вот какую историю рассказал мне старый охотник Козырев на обыкновенной охоте. Обыкновенной — не в смысле заурядности: всякая охота необыкновенна, потому что неповторима. Просто в эту прекрасную пору щемящего душу межвременья охотники имеют обыкновение охотиться на зайцев. Вот и я. Чаще — с Козыревым, Симигиным. С Лоботрясом, Найдой или другими козыревскими собаками. У него все были суки, все пегие, все — некрупные и заливистые. Почему так, затрудняюсь сказать. Должно, вкус у человека такой: и жена его была махонькой, рыжеватой, тонкоголосой.

Он просил не разглашать эту историю до его смерти, а там — будь что будет.

Я обещал и сдержал слово.



СЧЕТ

Брату было шесть, сестре — двенадцать. В конце лета их вывезли из Москвы.

Вокзал, ночь, затемнение. Крики, плач. Холодные, неотапливаемые — чтобы не было искр над крышей — вагоны. Ни матрацев, ни одеял. На нижних полках самая мелкота валетом по двое, на верхних — старшие по одному. Наглухо зашторены окна, но свет все равно не зажигают — фонари только у проводников.

Полустанки, разъезды, станции. На станциях — кипятики. Воспитатели заваривают в бидонах чай — морковный, фруктовый, выдают сухие пайки. Семафоры, водокачки, стрелки, тупики, мосты, у мостов охрана, зенитки.

Далекая заволжская станция, колонна крытых брезентом грузовиков, разбитый проселок, лужи, грязь. Лес, убранные поля, среди полей — деревеньки. Снова лес, лес, лес. Наконец двухэтажное здание бывшего дома отдыха.

Среди ночи подъем — «тревога». Директор интерната — лихой, веселый мужчина в морской фуражке, летчицкой куртке, с кобурой на боку — устраивает в коридоре старших, сообщает, что в районе кладбища высадился вражеский парашютист, которого надо обезвредить, и приказывает: «Вперед! Стране нужны только сильные люди!»

Гонит их на погост, заставляет ползать между крестами, потом дает «отбой». Одних благодарит «за смелость и мужество», другим выносит взыскания «за малодушие». «Тревоги» отныне следуют через ночь, по почам же устраиваются пионерские сборы и заседания совета дружины.

Однажды на легковой машине прибывает начальство — гражданское и военное. Осматривают противопожарный инвентарь, заглядывают в продовольственную кладовку, дровяной сарай, проверяют документы у взрослых, и, к всеобщей неожиданности, интернат оказывается без директора.

— Это недоразумение, — успокаивает он растерявшихся подчиненных, — кое-каких записей не хватает.

— На фронте добавят, — мрачно шутит военный и протягивает руку: — Оружие...

Директор расстегивает кобуру, передает револьвер и стыдливо опускает глаза: «Ненастоящий».

За неимением выбора новым руководителем назначается доставленный из ближайшей деревни бывший конюх.

— Титов? Иван Валерианович? — спрашивает военный, разглядывая конюхову справку.

— В точности так, Аверьяныч я.

— Действуйте.

С тем и уехали.

Первым делом воспитательницы робко поинтересовались, как часто будут теперь устраиваться «тревоги». Аверьяныч, не успевший еще, кажется, осознать, что случилось, обвел всех рассеянным взглядом и тихо сказал: «Пошто зря ребятешек мучать? Да и покойников гневить грешно...»

Собрали во дворе детей, представили им нового директора.

— Вот что,— проговорил он, когда толпа, обсудив случившееся событие, попритихла. Откашлялся и повторил:— Вот что... Война, по всему виду, к зиме не кончится, стало быть, про дрова думать надо, про харчи. Запасов ваших... наших то есть... надолго не хватит. Так что, хорошие вы мои, жизнь у нас с вами пойдет такая: которые еще совсем малые — не ученики,— тех за ворота не выпускать, не дай бог, потеряются. Остальные — и вы, гражданки учительки, тож, извиняйте, конечно,— разделимся на бригады, работать будем: дрова заготавливать, грибы, ягоды...

— Урра-ааа! — закричали дети.

— Поголовье сохранить надобно,— сказал еще он, но этих слов никто уже не услышал.

«Здорово-то как! — подумала сестра.— Жаль, что война скоро кончится». Предыдущим вечером она по просьбе старухи нянечки читала вслух письмо из Ленинграда. Письмо было июльское, читанное не единожды, старуха знала его наизусть и, одобрительно кивая, повторяла шепотом: «Дедушка ваш задерживается... по причине военных действий... дороги закрыты... временно... до октября... от Коли весточки нет... Алеша уехал... учиться на танкиста... Маруся». «Маруся — это невестка моя,— объясняла старуха,— Алеша — внучек, Коля — сынок, он моряк у меня, в плавании, а дедушко, вишь, попроведать внучекá поехал, всего на неделю-то и собрался, да вот — по причине, до октября».

Шел сентябрь.

Аверьяныч спешил. Грибов запасли быстро: насолили, засушили, должны были вот-вот управиться и с ягодой: клюквой, брусникой. С дровами дело обстояло куда хуже: работники годились лишь чтоб собирать хворост. Конечно, начальство обещало прислать на несколько дней пару-тройку леспромхозовских вальщиков, но Аверьяныч, как всякий бывалый человек, следовал принципу: «На бога надейся, а сам не плошай». Когда они смогут выбраться, лесорубы-то, да и достанет ли им времени заготовить дров на всю зиму — как-никак плита и четыре печки... Каждое утро, затемно еще, уходил Аверьяныч в лес, валил тонкомерные сухостоины, обрубал сучья, а хлысты выволакивал на просеку, с тем чтобы вывезти их потом на санях. Пока топили остатками прежних запасов.

Дни становились короткими, темными, снег шел, дождь моросил. Детей теперь не выпускали из дома. Болезни начались. Карантин отделил первый этаж от второго, и сестра, жившая со старшими на втором этаже, скопив косточек от компота, заворачивала их в бумажный фунтик и опускала на нитке к форточке первого этажа — брату, гостинец.

Нянечка получила новое письмо: «Зачем вы только старика своего прислали? И так есть нечего, а тут еще он. Работать, видите ли, не может, только лежит да за сердце держится, а чем я его кормить буду? Знали, что больной, так и не присылали бы на мою шею нахлебника. Будьте вы прокляты!»

— Фашистка! — возмущенно воскликнула читавшая письмо сестра.

— Не знала я ничего, — качала головою старуха, — здоров ведь был, не хворал ведь... Да и войны тогда не было... Дедушко ты мой, дедушко, прости... — Она стянула с головы платок и долго сидела так, в неподвижности, не утирая слез.

Карантин вскоре пришлось отменить — чихали и кашляли все. Докторша не успевала ставить банки. Запасы лекарств, и без того ограниченные, иссякли.

— Что у тебя осталось? — спросил Аверьяныч.

— Канистра спирта, литр йода, бинты, — отвечала докторша.

За полканистры спирта он выменял где-то мешок горчичного порошка, за пузырек йода — корзину сушеной малины. Можно было лечить.

Весь вечер жарко топилась плита, пар из кухни валил, точно из бани; с ведрами, полотенцами бегали нянечки, воспитательницы, учителя, директор: понаставили всем самодельных горчичников, понапарили ноги, а потом еще напоили всех чаем с малиной и до утра простыни меняли у малышей. Утром интернат начал выздоравливать.

Но Аверьяныч попросил еще один пузырек йода: «Ослабли ребятишки, мясом бы их подкормить». Однако мяса, против ожидания докторши, он не принес, зато принес дробь, пороху, и со следующего дня самым хилым да хворым стало перепадать по кусочку зайчатины или другой дичины. Потом навалило снегу, и старик охотиться перестал. Однажды еще он сменил двести пятьдесят граммов спирта на раздав-

ленную лошадью курицу, но потом уже и менять нечего стало.

Поехал Аверьяныч в райцентр. Дали ему мешок овсяной муки, подводу картофеля, подводу моркови, бочку керосина, соль, спички, мыло.

Под Новый год Аверьяныч взял на берлоге медведя. Как это было — никто не видел, никто не знал. Когда директор вернулся, руки у него тряслись — не то от усталости, не то от пережитого. Но отдыхать было некогда, следовало поскорей вывезти тушу, чтоб волкам не досталась. И тут же, потемну, взяв с собой самых крепких теток из интернатского персонала, отправился он на санях в лес. Дорогой заставлял напарниц петь погромче, и они усердно блажили, а на обратном пути Аверьяныч, шедший за санями, то и дело поджигал в руках пучки сухих словых веточек и, дав разгореться, бросал в снег. И уж неподалеку от дома, услышав вой, он разочек бабахнул для острастки из двух стволов, так и добрался.

Медвежатины хватило надолго, но вот дрова скоро кончились: и прежние запасы, и заготовленные хлысты сушняка. Аверьяныч перевез в интернат собственные — все до полешка. «Январь протянем, — прикидывал он, — там штакетник начнем палить, а потом?» Снова собрался в город, но тут наконец нагрязнули лесорубы. Не вальщики, правда, а вальщицы — мужиков и в леспромхозе не оставалось, но зато целая бригада: со своими харчами, своими лошадьми и даже с сеном для лошадей, а главное — с бензиновой циркуляркой, которой можно было кряжевать бревна.

Женщины разместились было в интернате, но уже вечером стало ясно, что это ошибка, дети плакали, кричали наперебой: «Это моя мама», «Нет, моя», — просились на руки... Измученные вальщицы провели полночи в слезах и рыданиях. Пришлось переселить их в деревню, в пустующую Аверьянычеву избу. Отработали они неделю без продыху и уехали. Глядя на заваленный чурками двор, директор объявил: «Теперь не замерзнем».

Вскоре после Нового года нянечка получила очередное письмо: «Дедушка умер. Похоронила я его хорошо. В Колину рубашку одела. Помните, ту, с украинской вышивкой, почти непошеную. На кладбище свезла и даже колышек с дощечкой в землю заколотила, чтобы знать место, а то хоронят там всех вперемешку. Пишу я из Вологды. Меня эвакуировали

сюда как тяжелораненую. Во время бомбежки завалило меня и перебило обе ноги. Хоть бынче я и без ног, но все плачу от счастья, что живая. Мама, страшнее того, что я видела и перенесла в Ленинграде, быть ничего не может. После блокады и ад раем покажется. От Коли так весточки и не было, и про их корабль ничего узнать мне не удалось. Да теперя Коле такая и не нужна. Лешенька писал шесть раз из Москвы, потом там наступление началось и что-то нет писем. Простите меня, мама, за все и прощайте. Адрес свой я вам сообщать не буду».

В конце января докторша ездила на станцию, получила медикаменты, и у Аверьяныча вновь появился обменный фонд, с помощью которого он сумел полностью укомплектовать интернат теплой одеждой и валенками. Не все, конечно, было новым, не все — нужных размеров, и взрослые теперя по ночам шили, кроили, штопали. «Покрепче, главное, наставлял директор. — Пусть не так баско, но покрепче — нам долго еще тут куковать». Сам он подшивал валенки.

Брат писать еще не умел, он нарисовал отцу поздравительную открытку: танк со звездой. На обороте сестра написала: «Дорогой папочка! Поздравляем тебя с Днем Красной Армии! Желаем перебить всех фашистов! Я сочинила стихотворение: «Жду тебя, и ты вернись, только очень жду...» Закончивалось стихотворение словами: «Просто я умела ждать, как никто другой». Спустя время пришел ответ: «Хорошие вы мои, дорогие! За поздравление спасибо. За «стих», если вернусь, выпорю», — вот и все, что было в конверте со штемпелем «просмотрено военной цензурой».

Немного совсем оставалось уже до весны: «Скорее бы таять начало, — вздыхал Аверьяныч. — Тетеревов, глухарей добудем, соку березового поьем, а там, глядишь, утки прилетят, гуси — все перепадет хоть что-нибудь. Чахнут ребяташки-то... Дотянуть бы до егорьева дня, дальше легче: хвоци-пестыши повылазят, другая травка — подлечимся. Бывало, на егория скотину выгонишь, побродит она по отмерзшей земле под солнышком, подышит ветерком, чего-ничего пощиплет и — где хворь, где худоба?»

Не дотянули: корь, коклюш, скарлатина. Три палаты пришлось превратить в изоляторы, власть взяла докторша: «Полная дезинфекция, марлевые повязки, проветривание

помещений...» «Усиленное питание», — чуть было не скоман-довала она машинально, но спохватилась и промолчала.

Брат заболел скарлатиной. В палате рядом с ним лежала дочь докторши. Остальные скарлатинники выкарабкались кое-как, а этим становилось все хуже и хуже — не повезло, тяжелая форма.

Наступила ночь, которая должна была стать последней. «Сорок и восемь, сорок один и две», — записав показания градусников, докторша вдруг спросила нянечку:

— От вашего сына... ничего нового нет?

— Нет, — отвечала старуха. — Ни от сына, ни от внука. — И вдруг заплакала. — Невестка писала, что...

Но докторша перебила ее:

А кто родители этого мальчика... не знаете?

Этого? Как не знать — знаю, сестра своячая мне рассказывала. Отец воюет у них — командир, а мать... запомню, кем она... Одним словом, в Москве, в столице самой... Там рядом и Алешенька в наступлении...

— А мне муж писал, что должен вот-вот отпуск получить... Навестить меня собирается.

— Дак говорили вы мне... Да... Это, конечно, дело хорошее.

— Идите, отдохните немного, скоро светать начнет.

— А вы управитесь?

— Чего ж теперь не управиться? — докторша холодно усмехнулась.

А старуха пошла будить Аверьяныча:

— Желанный, ты уж подымайся: надобно два домика сострогать, кончаются ребятишки-то...

— Дура! — он свесил с кровати босые ноги, протер глаза. — Городишь незнамо что! Кто ж живым людям гробы робит? Кикимора! Для себя самого еще — куда ни шло, а для других... Да не реви ты, буде, наголосимся еще.

К рассвету девочка умерла. Мальчик же стал поправляться и вскорости совершенно выздоровел.

А муж к докторше так и не приехал — отпуск он получить не успел.

После войны сестра окончила педагогический институт, получила распределение в Ленинград и до пенсии преподавала литературу в детских домах.

Брат стал крупным физиком. Он то ездит по заграницам, выступая на симпозиумах и конгрессах, то катается с гор

где-нибудь в Бакуриани. В редкие дни, когда он дома, собираются у него гости, — такие же, как он, ученые люди. Они любят петь под гитару о дождях, комарах, кострах и разлуке, поют отрешенно, самозабвенно. Любят беседовать о «безграничных возможностях человеческого мозга», о «величии силы познания», о том, что «умение считать только и может спасти человечество от катаклизмов». «Нас спасет счет», — любимая их поговорка.

Давным-давно нет Аверьяныча, старухи нянечки, нет и докторши. Страшный, немилосердный ей выпал жребий: в ту далекую зимнюю ночь у нее было двое смертельно больных, а доза пенициллина — чудо-лекарства, присланного из Москвы, могла спасти только одного...



ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА

Весной почная смена кончается, когда уже светает. Пока руки в керосине отмоешь да пока переоденешься, солнце успевает подняться над Ваганьковской рощей. Теплый свет его падает сначала на некрашенный дощатый забор, потом на стоящие у забора автомобили и, наконец, на утоптаный до каменной твердости пятачок земли посреди ремдвора.

Горько пахнет тополиной листвой, пылью железнодорожных откосов, желтыми цветочками мать-и-мачехи.

Серге спешить некуда, да если б и было куда — сил нет. Забравшись на крышу «эмки», он засыпает. На широкой крыше соседнего «хорьха» спать, конечно, удобнее — можно вытянуться, с боку на бок перевернуться, но «хорьх» — розовый, а «эмка» — черная: быстрее нагревается.

За забором, рядом совсем, громяхают составы, паровозы режут и свистят, но Серега не слышит — не может слышать: устал.

Просыпается он в полуденный час от негромкого, но неожиданного здесь, в мастерских, пиликания гармошки: привалясь к бамперу «студебеккера», сторож Ландин рас-

сеяно наигрывает вальс «Амурские волны». Серега по багажнику сползает на землю:

— А где народ-то?

Ландин перестает играть.

— На митинг ушли, к железнодорожникам, — отвечает он, глядя вдаль.

— А что такое?

— Война кончилась, — объясняет Ландин, удивленно посмотрев на Серегу.

— Совсем, что ли?

— Совсем.

— Везде?

— Вроде, — пожимает плечами сторож.

Серега трет спросонок глаза, зевает и задумывается.

— Знаешь чего, — просит Ландин, — не в службу, а в дружбу: сколоти мне какой-никакой костылик, а то, вишь, с места сдвинуться не могу.

— У тебя ж был?

— Психанул тут, понимаешь, на радостях, об железину обломал...

В углу двора, возле «тигра» без башни, валяются обломки ландинского костыля. «Тигр» этот попал сюда с нашей техникой еще в те времена, когда мастерские занимались ремонтом танков. Теперь на плоскостях его корпуса рихтовали жель, а в катках гнули прутки и трубы.

Померились ростом, получилось, что костыль надобно делать чуть выше Сереги. Сходя в столярку, он скоро принес не очень красивую, но достаточно прочную опору для Ландина.

— Углы ножичком подстрогаешь.

— Какой разговор! — Ландин обрадованно подхватил костыль. — Самое то, что надо!

Остался б Серега — все равно опять в ночь, — да голодно, вот и приходится идти домой.

На Хорошевке военнопленные разворачивают строительство: роют под фундаменты котлованы, пилят доски, выгружают из машин кирпичи.

— Эй! — окликает знакомый немец, который как-то попадал на работу в Серегини мастерские.

Несколько человек подходят, сдержанно здороваются, выясняют, слышал ли Серега об окончании войны, после чего с явной радостью сообщают, что нашли наконец одного, который воевал под Москвой, и указывают на пожилого офицера.

— Наро-Фоминск, — говорит Серега, вопросительно глядя в глаза пожилого военнопленного.

— Я, я! — немец кивает.

— Каменка, — уточняет Сергей и повторяет: — Деревня Каменка, река Нара.

— Я, я! — Присев на корточки, он начинает щепкою чертить на земле схему. Показывает, где стояла их часть, где была артиллерия, где танки.

Серега со всем соглашается и, сев напротив, показывает каким путем водил он разведчиков в немецкий тыл. Офицер, тыча пальцем то в схему, то в Серегину грудь, сбивчиво и — странно — с очевидною радостью, словно однополчанина встретил, все рассказывает и рассказывает что-то своим по-немецки.

Подошел молодой, не видавший войны конвоир. Немцы извинились за приостановку работы, и те, кто знал по-русски, принялись разобъяснять ситуацию.

— Правда, пацан? — спросил конвоир. — Сколько же тебе годов-то было?

— Червонец.

— Ну ты даешь! Покаж медальку-то хоть! Или не заслужил?

— Дома, — устало отвечает Сергей, — в другой раз какнибудь.

Немцы интересуются, отчего Серега в такой день не веселится, не празднует, дескать, неужели ему в день, когда окончилась война, «не карашо».

— Хорошо-то хорошо, — вздыхает Серега. — Да только... — обводит их тусклым взглядом. — Лучше б ее вообще не было.

Тут, усиленный рупором, с противоположной стороны улицы доносится резкий гортанный окрик. Немцы тотчас расходятся и вновь берутся за кирки и лопаты.

— Ихний начальник, — виновато пожимает плечами раздосадованный конвоир. — Вишь, вредный какой — людям и поговорить не даст! — И неодобрительно покачивает головой.

На прощание он пожимает Сереге руку...

Возле барачков, среди развешанного белья веселится народ: патефон на табуретке, бабы, бабы, бабы да пяток мужиков. Один летун — при наградах, руках и ногах, и где ж его только отыскивали такого? Остальные — калеки: у которого рукав в кармане, у которого деревяшка из галифе торчит, а есть и вовсе безногий, на тележке. Отталкиваясь чурками,

он подпрыгивает — танцует, и с дробным лязгом ударяются оземь колеса-подшипники, а лицо уже побелело от боли.

Приближается идущий на посадку зеленый «дуглас». Бабы, стараясь перекрыть шум моторов, начинают орать, машут руками.

Качнувшись с крыла на крыло, машина проносится над самыми головами, отчего сохнувшее белье перехлестывается через веревки. Бабы шлют вслед самолету чертей, но он уже исчезает за забором Центрального аэродрома.

Мать в комнате. Сидит за столом. На столе бутылка вина и завоеванная Серегой медаль.

— Кого ждешь? — спрашивает Серега, решив, что мать совсем сбрендила и вновь стала ждать отца, хотя в сорок четвертом они даже могилку нашли.

— Тебя, — отвечает мать. Встает, подходит к нему. — Если б не ты, если б не ты, — начинает плакать. — Я не знаю... — Вдруг в голос кричит: — Сережа! — И судорожно прижимает его к груди.

Он терпеливо дожидается, пока схлынут рыдания, пока обессиленно опустятся руки.

— Ну ладно, мать, чего ты? Нормальный ход!

— Да-да, — кивает она, — конечно. Ты садись, садись. Сейчас я примус разожгу, кашу согрею, и пообедаем, и отпразднуем, садись... — и уходит на кухню.

Серега садится к столу, давясь слюною, глядит на закуску: ломоть хлеба, вареную морковину, соевые батончики и горсть сухофруктов. В животе начинает скрипеть, бурчать, булькать, но все равно хорошо и клонит ко сну.

Друг Сашка стучит в окно. Приходится встать и открыть форточку:

— Чего тебе?

— Слышал?

— Да слышал, слышал!

— Плотва пошла!

— Чего? — ошарашенно шепчет Серега.

— На Таракановке плотва пошла — смөнщик мой тридцать штук с утра заловил, так что давай скорей. Два крючка у меня есть, нитки есть, пробки найдем где-нибудь, червей у кавалерийской школы нароем, а удочки на берегу вырежем. Половим до темноты, а там, может, и на ночь останемся, костер разведем...

— На ночь я не могу, мне в ночь работать.

— Чегой-то? — удивляется Сашка. — У нас на авиационном так всем выходной дали.

— Ладно воображать-то: «на авиационном, на авиационном». Мы всю войну танки ремонтировали — тоже не хухры-мухры. А потом... может, и у нас дали — не знаю. Я ж когда уходил, никого, кроме сторожа, не было... Да дело не в этом. Боюсь, мать не отпустит — она на кухне, мимо не проскочить...

— Через окно!

— Ну дак в форточку не пролезть, а рамы заклеены.

— Открой, черт с ними! Все равно теперь уже тепло будет!

— А и вправду что черт с ними!

Прислушиваясь, не идет ли мать, Серега быстро надревает пожарные полоски бумаги, отворяет окно и выпрыгивает.

— Крупная плотва-то?

— Ну! Хорошая, говорят!

И они бегом бросаются к Таракановке.



ВЕНЕЦ ТВОРЕНЬЯ

К концу войны приход за нерентабельностью закрыли, и Лукерья, служившая в церкви старостой, подалась в отставку. Переехала поближе к Москве — купила полдома в деревне Карамышево — и зажила себе, ничего не делая, благо сбережений хватало.

Хозяином другой половины был Иван Тимофеевич Корюков — человек рукодельный, мастеровой: пчел держал, ботишки чинил, столярничал. Лукерья по долгу бывшей своей службы относилась к умельцам разных полезных ремесел с особенною заинтересованностью, и, вероятно, Иван Тимофеевич смог бы вскорости добиться ее расположения, когда бы не одно обстоятельство: сосед имел крайне нескладную конфигурацию. Туловище его было как бы вытянуто вверх в ущерб шее и даже отчасти голове. То есть, это был нормального роста человек с очень высокими прямыми плечами, из которых чуть выпирала маленькая, словно обтаявшая, голова. Для придания голове хоть какой-либо стройности, Иван Тимофеевич постоянно напяливал на нее шляпу. Держаться

шляпе, кроме как на ушах, было, понятно, не на чем, и уши от многолетнего на них воздействия оттопырились, наклонились и заняли совершенно горизонтальное положение, иначе — сделались параллельны плечам.

На лице Ивана Тимофеевича вполне хватало места для носа и глаз, но лба почти не было, а под носом в невероятной тесноте лепились рот с подбородком.

— Небогоугодно это!.. — подозрительно приглядывалась к соседу Лукерья, обладавшая, напротив, внешностью настолько ладной, что даже бывший начальник — истинный праведник — и то дня не удерживался, чтобы не сказать: «Вы бабочка путная и весьма не ровная, так и хочется за что-нибудь вас зацепить, но...» — тут он указывал глазами вверх и подневольно разводил руками. Лукерья с тяжким вздохом заканчивала разговор: «Это, конечно».

Иван Тимофеевич всерьез занимался огородничеством и садоводством. Участок его был так аккуратен, как бывает разве только у немцев или у англичан. Половина же, отошедшая к Лукерье, быстро позахламилась, позарастала бурьяном, а на все замечания соседа о необходимости рыхления кругов под деревьями Лукерья с равнодушием отвечала: «Ежели оно рóдит — и так рóдит».

Иван Тимофеевич носил с пустыря конский навоз, Лукерья тащила всякую найденную деревяшку, железку, кусок кирпича и складывала в кучу под вишнями.

— Зачем? — изумлялся сосед.

— Матерьял, — хладнокровно объясняла Лукерья. — Нельзя дак, чтобы исчезнул.

— Я могу достать для вас хорошего кирпича, досок, бревен...

— На кой? — недоумевала Лукерья.

— Ну вам же надобно для чего-то?

— Не надобно. Бог дал, — и показывала, к примеру, на кусок водопроводной трубы, — я подобрала. Вот и все.

— А зачем? — возвращался сосед к началу.

— Я ж говорю — матерьял! Чего ж тут непонятного?

Зимой в «матерьяле» поселилась собака. Лукерья никак не отваживала ее и даже кормила, то есть выбрасывала теперь мусор не в выгребную яму, а под крыльцо, что сразу же по достоинству оценили все карамышевские псы.

Весной, когда ненатурально ровные грядки соседа покрылись налетом всходов, Иван Тимофеевич объявил собакам войну: расклеил на заборах невесть откуда взятые печатные объявления об опасности заражения бешенством, вызвал

из Москвы «живодерку», которая, правда, из-за распутицы не добралась, стал ходить по деревне с ружьем и однажды гордо похвастался, что «прибил наконец мерзавца, который топтал морковь».

— Так это же мой Трезор! — завопила Лукерья.

— Возможно, — согласился сосед. — Но ведь он — собака, а морковь — для меня.

— Ну и чего?

— А я человек. — Видя, что ход его рассуждений Лукерью не убеждает, вразумляюще заключил: — Венец, значит, творенья.

У Лукерьи раскрылся рот, глаза вытаращились до того, что стали сухими.

— Венец творенья? — переспросила она. И тут с женщиной случился приступ, вроде астматического: она даже засмеяться не могла — выла и захлебывалась в этом вое.

Испугавшись, Лукерья заставила себя смолкнуть, воспоставила дыхание, но не иначе как сам черт дернул ее за язык:

— Венец, стало быть?

И все сначала.

— Пусть — не я, пусть — вы, — недоумевал Иван Тимофеевич, — но ведь не Трезор же?..

С трудом добралась она до кровати и повалилась ничком. В конце концов этот приступ сменился приступом голода — так много сил потеряла Лукерья.

Иван Тимофеевич недолго обижался на смех соседки. В начале лета он попросил помощи: умерла единственная его родственница и нужно было перегнать из Расторгуева доставшуюся в наследство корову.

Первые километры, пока под ногами была земля, шли споро. Но потом земля кончилась, и животное об асфальт сбilo копыта. Во дворе четырехэтажного дома на Мытной за́ночевали. Иван Тимофеевич подоил корову, привязал к дереву на газоне, попили с Лукерьей молока и, привалясь друг к дружке спинами, уснули на садовой скамье. Ночью было свежо, но Лукерья, прижимаясь к всхрапывающему соседу, не замерзала. «Все-таки с мужиком хорошо, — оценивала обстановку Лукерья. — Бывало, и печку натопишь, и ватным одеялом укроешься — все равно холодно, а вдвоем, вишь ты, даже на улице — и то ничего».

Вся ее «личная жизнь» сводилась к четырем дням замужества, а на пятый — это было в ее родном городке в тысяча девятьсот восемнадцатом — муж, не успев стать ни

белым, ни красным, погиб от случайной, предназначавшейся вовсе не ему, пули: сшиблись на окраине два отряда, перестрелялись и разлетелись, а он невдалеке по улице шел да там и остался.

Стала Лукерья что ни день в церковь ходить — молиться за упокой души безвинно убиенного. Через эту преданность и усердие на службу к батюшке и попала. Четверть века старостой проработала и ни с кем, кроме батюшки, не зналась. Поп евангелических заповедей не нарушал — чертей боялся, — и потому никакой «личной жизни» у Лукерьи впредь уже не было.

Теперь во дворе на Мытной Лукерья с тихой скорбью думала о своем одиночестве и винила себя за бесчувственное и даже, как ей казалось, недоброе отношение к столь теплобокому Корзюкову.

На рассвете корова пощипала травы и, не дав молока, тронулась дальше. Однако вскоре совсем обезножела: поревела, поревела и залегла прямо на тротуаре. Город начинал просыпаться — появились на улицах машины, дворники с метлами и жестяными совками.

— Пропадет животное! — вскрикнул Иван Тимофеевич.

— Сымай сапоги! — приказала Лукерья.

— Зачем?

— Сымай да надевай ей на ноги! Мысками назад!..

В шесть утра на Большой Каменный мост взошел босой Иван Тимофеевич с развевающимися тесемками исподних штанов, за ним плелась на веревочке черно-белая худая корова в кирзовых сапогах носками назад. Причем один был на правой передней, другой — на левой задней ноге. Следом, с фанеркою и ведром, приготовленными на случай внезапности, шла Лукерья. Всю эту команду на спуске с моста остановил милиционер. Долго и небеспристрастно беседовал, но проникся чувствительностью и разрешил пройти: «Чтоб духу вашего через минуту здесь не было!» Может, конечно, дело было вовсе не в чувствительности, а в духе. Но так или иначе, а пропустил. И корова дошла до Карамышева. Правда, для этого пришлось купить у инвалида-старьевщика еще одну пару сапог.

В те годы по Москве бродило много старьевщиков: «Старье бере-ом, старые вещи покупа-аем». В их огромных заплечных мешках валом лежали новенькие, «ни разу не надеванные» вещи: сапоги от тех, кому обувь уже не надобилась, гимнастерки, шинели, фуражки...

Лето соседи прожили душа в душу. Иван Тимофеевич

частенько намекал Лукерья на то, что полдома — хорошо, а дом — лучше, и также — про сад-огород. Лукерья пожимала плечами, томно вздыхала и опускала долу глаза. Но как только Иван Тимофеевич начинал жаловаться, что, дескать, устает, что не успевает управляться с хозяйством, соседка встряхивалась и решительно возражала:

— Ну уж нет, это уже невозможно: и корова, и поросенок, и пчелы, и огород, и сад — невозможно.

— Да пчел я уж как-нибудь сам, — робко отступал Иван Тимофеевич. — И огород тоже, и в общем-то поросеночка, — заканчивал он совсем шепотом.

Несколько подумав над этим дипломатическим меморандумом, Лукерья приходила к выводу, что ей предлагается полностью взять на себя заботы о черно-белой корове, половину забот о поросенке и, кроме того, удвоить объем стирки, уборки и прочих домашних дел.

— Нет! — звучало ее последнее слово, и разговор прекращался до следующего раза.

К середине лета Иван Тимофеевич сумел убедить соседку, что «матерьял» пришел в полнейший упадок и следовало бы от него как-то избавиться, не то, случись искра, вспыхнет пожар.

— Бог дал — бог взял, — неожиданно легко согласилась Лукерья и, пока Иван Тимофеевич ездил на Ваганьковский рынок продавать мед, наняла двух «умельцев», которые закопали хлам прямо посреди сада.

Вернувшись домой и увидев выросший за день курган, сосед ахнул:

— Это ж земля! — имея в виду, что загублена территория, пригодная для земледельчества.

— Все из земли вышло и все туда же должно уйти, — между прочим отвечала ему Лукерья, разглядывая с высоты прекрасные дали.

Но несмотря на полное пренебрежение к агротехнике, яблук, вишен и слив в ее саду уродилась прорва. А у Корзюкова, напротив, был неурожай, одно дерево и вовсе усохло.

— Это все из-за вашего «матерьяла»! — обижался он. — Не иначе — подземными водами заразу какую-то занесло.

— Полно! — отмахивалась соседка. — На моем-то участке ничто не гибнет. Просто вы продыху растениям своим не даёте: все что-то пилите, мажете, поливаете — тьфу, право. Им ведь тоже воли охота.

Иван Тимофеевич уговаривал поскорее собрать урожай да свезти на рынок, но Лукерья не торопилась, и в

конце концов сад обчистили карамышевские мальчишки.

— Беда-то какая! Ах, беда! — причитал Иван Тимофеевич, ломая на груди руки.

А Лукерья облегченно перекрестилась:

— Слава богу: и мне — польза, и ребятишкам — хорошо.

— Как же вас старостой-то держали? Вы ж растрачивались, наверное?

— Боже упаси! Там ведь добро общественное — как можно?

...Осенью Иван Тимофеевич предложил обшить дом тесом.

— Зачем? — пожала плечами соседка.

— Для тепла.

— Эх, голубчик! Не в том тепло-то! — И отказалась.

К зиме половина дома была обшита свежими досками, другая так и осталась чернеть древней сосной.

Между тем Лукерья сумела вновь накопить кучу разнообразного «матерьяла», и в этой куче поселился новый брехливистый Трезор не то Полкан.

Однажды зимой Лукерья пригласила соседа на день рождения. Выставила бутылку «белой головки», закуску приготовила, пирог испекла. Иван Тимофеевич принес в подарок «Кагору»:

— Вы дамочка церковная, божественная, так что я кагорчику в том смысле, что и сам водки не употребляю.

Подумав и ничего не поняв, хозяйка решительно указала:

— Садитесь!

Выпили винца. Лукерья предложила спеть песню. Сосед стал смущенно отказываться, и Лукерья самостоятельно спела сначала «Шумел камыш», потом «Темная ночь», «Огонек» и, наконец, «Что стоишь, качаясь, то-онкая рябина...»

Терпеливо дослушав историю про рябину, которой хотелось перебраться к соседу-дубу, Иван Тимофеевич спросил:

— А у вас, извиняюсь, конечно, сбережений-то еще много осталось?

— Все кончилось, голубь мой, все! Менять нечего, почитать не на что.

— Это нехорошо! Совсем, знаете ли, нехорошо! — и любопытствовал: — Огородничеством, стало быть, займетесь? А может, и поросеночка?..

— Что вы? — возразила Лукерья. — Зачем? Я устроилась охранником на строительство моста: ночь дежуришь — ночь дома.

— Но ведь это, — наморщил он переносицу, — совсем мало денег.

— А на кой их много-то? Проживу! У меня их знаете сколько было? Мильены, наверное! Матрац был деньгами набит — подумашь! Батюшка церковные деньги у меня хранил... Чего вы там углядели?.. Да не этот матрац — в этом солома... А нынче взяла я остатки и пошла тратить! Ведь... Ой, щеки горят. Всегда у меня так от кагорчика... Ведь пока есть денги, их надо тратить, потому что, когда их не будет, нечего будет и тратить, вот...

— Что ж вы приобрели? — осторожно спросил Иван Тимофеевич.

— Ружье. С патронами. У охотника одного.

— Зачем?!

— Хотелось, знаете, себе подарочек какой-никакой сделать, — усмехнулась она. — Пятьдесят лет все-таки. Попалось ружье, и хорошее, сказали, ружье, да к тому же еще и с патронами...

— Неправильно вы живете, — испуганно заключил Иван Тимофеевич. — Очень неправильно.

Она опустила голову, положила ладони на край стола и затихла. Сосед что-то говорил, говорил, но Лукерья молчала. Он обиделся и ушел. А Лукерья, отставив в сторону недопитый «Кагор», откупорила бутылку водки.

Поздно ночью она запела. Иван Тимофеевич проснулся. «Фи-и-и...» После каждого «и» она набирала воздуха, так что всякое следующее делалось громче и выше предыдущего. Наконец, достигнув предела возможностей, она сорвалась с этой высоты истошным бомбовым воем: «Ииильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои!»

— Что с вами было? — участливо спросил ее на другой день Корзюков.

Лукерья нахмурилась:

— Это когда?

— Да ночью! Сегодня ночью! Вы не то пели, не то кричали...

— А-а, понятно. Это я развязала. Год в завязко была, а теперь, стало быть, развязала. — И, перекинув за плечо ружье, направилась к калитке.

— Куда же вы?

— Пойду потренируюсь: нынче ведь на охрану объекта заступать — мало ли что, а я стрелять не умею.

— Так неужели вы сможете на такое решиться? Вы ведь как-никак дамочка божественная и насчет всего такого-прочего...

Она недоверчиво посмотрела на него исподлобья:

— Да вы что, голубь? Неужели не понимаете? Это ж не огород, это же стройка — дело общественное! Я коменданта так и предупредила: ежели жулик или шпион какой сунется, я его с ходу... Прости господи! — и перекрестилась.

— Ну а что, — Иван Тимофеевич поперхнулся, — что комендант?

— Валяй, говорит: один раз — в воздух, а потом — валяй. Только вот стрелять не умею, потренироваться надобно.

Так и зажила Лукерья: днем спит или тренируется, ночью дежурит или поет.

К водке ее привадила батюшка. Он брезговал употреблять этот напиток в одиночестве. Обычно, пересчитав доход и записав все, что полагается, в учетные книги, батюшка отправлялся затворить за старостой дверь, а заодно и «огурчиков-принести из чуланки». Матушка-попадья, не один год охотившаяся за спрятанными бутылками и знавшая много мужниных тайников, не догадывалась, что можно хранить бутылки в бочках с солеными огурцами. Сама она в рассол не лазала — руки берегла, а батюшка, заскочив с фонарем в чуланку и нашарив среди огурцов нужный предмет, быстро наполнял загодя припасенный стопарик, опрокидывал и пилил старосте. Медлить было нельзя: Лукерья залпом, по мужски, выпивала и совершенно по-женски зажимала ладонью рот и выкатывала глаза. Батюшка, пристально и соперживательно глядя на нее, натурально морщился, крикал и даже съедал еще один огурец.

— Ой, батюшка, не попадете вы в рай, — начав дышать, говорила Лукерья. — Нарушили-таки заповедь, сотворили себе кумира.

— Нисколько, — бросал батюшка. — Воля моя: хочу — выпью, — он наполнял стопарик и выпивал. — Хочу — не стану. — И, воткнув пробку, запрытывал бутылку снова под огурцы.

Все действо занимало не более минуты и сроду никаких подозрений у матушки не вызывало. Принеся к ужину соленых огурчиков, батюшка обыкновенно уговаривал попадью выпить по рюмочке «слатенького», ну а после «слатенького» нюх у попадьи совсем сбивался.

За годы службы Лукерья к водочке попривыкла настолько, что стала попивать и в одиночестве. Уйдя из церкви, «завязала», но теперь вот...

Не выдержав однажды очередного «фи-и», Иван Тимофеевич постучал в стенку.

— Войдите, — вежливо пригласила Лукерья. Никто не вошел. — Чепуха какая-то... Фи-и-и-и...

Он постучал громче. Тут наконец Лукерья сообразила, в чем дело, и, отрицательно помотав головой, продолжила:

— И-и-ильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои...

Сосед стал бить чем-то тяжелым. Лукерья раздосадованно вздохнула и, взяв кочергу, ответила. Звук получился дребезжащим, противным. От его неказистости сосед словно бы даже воспрянул.

— Все одно твоя не возьмет, — глядя сквозь бревна, пренебрежительно сообщила Лукерья и сменила кочергу на топор. Удары обухом получились хоть и тяжелыми, но глухими. Выслушав их, Иван Тимофеевич просто зашелся в победном раже. «Чем же это он так? — позавидовала Лукерья. — Громко, четко — прям молодец! — Положила на место топор, внимательно оглядела и нашла: — Вот это дело!» Через минуту дом содрогнулся от выстрела. Сосед стих.

— Фи-и-и-и-ильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои!..

На другой день к ней явился милиционер.

— Это вы стреляли в гражданина соседа?

— Не, — и указала дырку в потолке.

Милиционер смутился:

— Все равно нельзя.

Тут только Лукерья заметила, что форма у него не такая, как у всех милиционеров.

— Погоди, погоди. Ты, что ли, из Серебряного бора? Из речной, что ли, милиции?.. А ну дуй отседова! Дуй, дуй! Лови утопленников!

Смущенный милиционер ушел. «Ах, Иван Тимофеевич, Иван Тимофеевич, — горестно вздохнула Лукерья. — И не стыдно тебе». Сосед хоть и прижимал свое оттопыренное ухо к стене, слов этих тихих не слышал.

Однажды пришел и участковый.

— Не пущу я вас, — сказала она через дверь.

— Взломаем.

— Стрелять стану.

Он помолчал, обошел дом, поговорил о чем-то с соседом и возвратился:

— Отчего ж Иван Тимофеевич вам так не нравится?

— А вам нравится?

— Это уж к делу не имеет. Он человек проверенный, всю жизнь здесь живет. Был первым в деревне колхозником, первым, опять же, ополченцем. Контужен, инвалид войны...

— Жлоб он, прости господи,— возразила Лукерья,— для всех — инвалид, а на себя пахать — трактор.

— У него есть справка.

— Он в ополчении, поди, и трех дней не пробыл, а уж контузию, точно, от своих схлопотал.

— Наговариваете,— предупредил милиционер,— он человек вполне проверенный. А вы сами, как нам известно, религиозным дурманом занимаетесь.

— Ну ты вот что,— притомилась Лукерья,— я охраняю стройку коммунизма, а ты меня на пост не пускаешь. Это как понимать? Может, ты враг народа или шпион? Может, папарники твои сейчас объект взрывают, а ты меня тут задерживаешь, а? Дак тебя, диверсанта, стрелять надо, счас я...

Милиционер ушел.

«Дурак»,— вслед ему грустно сказала Лукерья.

Отношения между соседями необратимо ухудшались. Иван Тимофеевич разгородил сад крепким глухим забором, потом разгородил и чердак. Случалось теперь, что они месяцами друг дружку не видели. Петь Лукерья стала значительно реже — с деньжатами было туго да и здоровье не позволяло. Сосед тоже прибалывал — несколько раз уже его забирали в больницу. Так и жили, каждый на своей половине.

Однажды весенней ночью Лукерья проснулась с ощущением неопределенной, но сильной тревоги. Пошастав туда-сюда по комнате, она оделась и вышла во двор. Было полнолуние — время призрачных, мрачных теней. Ее вдруг обуял дикий, животный страх. Она бросилась в дом, закрылась на все замки, взяла ружье, но страх не проходил.

— Иван Тимофеевич! — закричала она.

Он не отвечал.

— Фи-и-ильдеперсовы чулочки! — попыталась она добиться ответа.— Иван Тимофеевич! — И ударила в стену прикладом.

Так билась и металась она до утра. Утром выяснилось, что Корзюков умер.

Хорошила его одна Лукерья — никаких родственников у соседа не оказалось. Казенный человек объяснил Лукерье, что все свое добро Иван Тимофеевич отрядил в ее пользу: две сберегательные книжки, пачку облигаций и сколько-то там рублей наличными. «Потому как она — венец творенья, хотя и живет неправильно»,— оканчивалось завещание.

— Зачем? — сказала Лукерья с горечью.— Ничего этого мне не надо.

— Какое будет ваше распоряжение в таком случае?
— Боже мой! Столько калек, сирот...

Казенный человек обрадовался и предложил подписать соответствующую бумагу.

И накатились на Лукерью кладбищенские заботы: то камушек нужен, то оградка, то цветы. Стала она ездить на Ваганьково каждое воскресенье. Ездила-ездила и доездила: совершенно в духе домостроевского романтизма уснула однажды прямо на земле — на могилке — и простудилась. А как только простудилась, сразу все наперед и поняла. Для начала зашла в церковь покаяться:

— Грешна, батюшка. Завидовала кому-то когда-то... наверное... Прелюбодействовала... но точно не помню. Может, возжелала когда чего не того... А может, и не возжелала... Может, еще чего когда... Но едва ли...

Подумала, повспоминала и махнула рукой.

Потом продала ружье, разыскала казенного человека, написала коротенькое завещаньице и оставила сколь было денег.

Наконец, покончив с делами, упростила карамышевскую почтальоншу захаживать по утрам «для контролю» и легла болеть. Покашляв недельку, с чистой совестью умерла.

Казенный человек выполнил ее последнюю волю и похоронил рядом с Иваном Тимофеевичем.



АНТИЛЕНА

Вак я теперь понимаю, звалась она от рождения Кантиленой. С чего вдруг (или — не вдруг) ее родители сподобились так серьезно употребить это латинское слово — неведомо. Можно, разумеется, предположить, что они любили музыку и мечтали о вокальном будущем дочери, но в этом случае их решение следует квалифицировать как ошибку и притом роковую. Ведь совершенно слепо надеяться на то, что девочка с именем Канцона, Кан-

тилена или Капелла станет певицей, наоборот: назвать ее так — значит, навсегда отречься от надежды на хоть скольнибудь благозвучный голос. Отчего это бывает — трудно сказать, но Венеры, вырастая, превращаются в женщин с далеко не классическими пропорциями, Гелии совершенно не хотят заниматься изучением инертных газов, и ни один из Гераклов не дотянул хотя бы до юношеского разряда по штанге. Так вот: голос у Кантилены был неприятный на редкость — скрипяще-гнусавый, словно связки у нее были воспалены, нос заложен, а рот плохо открывался.

Может быть, конечно, родители новорожденной вовсе и не любили музыку, и не мечтали о певческих перспективах для своей дочери, может, просто им понравилось это действительно красивое слово, они и нарекли дочь Кантиленой.

Буква «К» из обиходного обращения выпала, и оттого, вероятно, что латинское название напевной мелодии в то, послевоенное, время было едва ли кому в нашем доме знакомо, тогда как слов с греческой приставкой «анти» всяк человек знал достаточно.

Антилена была невысокой, крепкой, коротконогой женщиной неопределенного возраста. Носила она очки с толстыми круглыми стеклами. Но и за толстыми стеклами глаза ее были всегда напряжены, сощурены — это уже не от близорукости, а, смею теперь утверждать, от чрезвычайно пристального внимания к окружающему.

Работала она в каком-то сельскохозяйственном учреждении и, как говорили соседи, «делала диссертацию». Что это такое, никто, пожалуй, во всем нашем дворе не представлял, оттого слова «диссертация» и «аспирантура» в течение долгих лет проносились шепотом. Никакой диссертации, помнится, она так и не защитила.

Жила Антилена в нашем двухэтажном доме на втором этаже и занимала в трехкомнатной квартире одну небольшую комнату. Жильцы двух других комнат отчего-то часто менялись, и каких-либо воспоминаний о себе никто из них не оставил.

Первая моя встреча с Антиленой произошла, когда я еще не ходил в школу. Как-то вечером мы с приятелями жгли в кустах спички. Вдруг над нами раздалось: «Прекратить!» Мы прекратили. «Встать!» Мы испуганно встали. «Затоптать!» Выполнили. Сощурившись, она долго смотрела на нас сквозь толстые стекла, потом встревоженно прохрипела: «Сегодня — коробок, завтра — дом подожжете...» Больше

всего мы боялись, что дойдет до родителей, но в тот раз не дошло.

Надо же такому случиться: на другой день мы чуть не спалили дом — раскопегарили костер прямо на чердаке. Когда взрослые вывели нас во двор, Антилена, стоявшая в толпе любопытствующих, грозно произнесла: «А что я вам говорила?!» Мы молчали. «Преступники! — указав на нас пальцем, она откинула голову и обвела взглядом толпу. — Баудиты!»

Потом она несколько раз «накрывала» нас на помойке, где мы по просьбе девочек искали цветные стеклышки для «секретов» — загадочной девчачьей игры, вызывавшей у нас недоумение в те годы и, как мне кажется, похожие чувства у мальчишек теперешних: став недавно случайным свидетелем таинства откапывания «секрета» непосвященному первокласснику, я прочел на его лице знакомую картину все тех же эмоций: изумление и ожидание чуда в начале раскопок и тупой испуг при виде битых стеклышек, обрывков фольги и кусочков цветной материи.

Поймав кого-нибудь из нас за ухо цепкими пальцами, Антилена пророчески предупреждала:

— Это кончится тифом, холерой, чумой, понятно?

— Понятно, понятно, — орал попавшийся, — только отпустите, пожалуйста!

— Нет, не понятно, — холодно заключала она и строго щурилась. — Смотри мне в глаза... Тебе не понятно, я вижу. Где ты живешь?

— Тетенька, отпустите!

Остальные — непопавшиеся — стояли в почтительном отдалении, тоскливо следили за экзекуцией, а временами посматривали по сторонам, проверяя путь к отступлению на случай, если бы Антилена вдруг, бросив жертву, попыталась бы прихватить кого-то другого.

Потом, когда мы начали учиться в школе, располагавшейся «через дорогу», Антилена часто ловила нас при попытке перебежать Хорошевское шоссе в непопавшем месте.

— Вам что — под колеса не терпится? — преграждая путь, она указывала рукой в сторону недавно установленного столба с желтой жестяной стрелкой, на которой черными буквами было написано: «Переход».

В ту пору, надо сказать, детей попадало под колеса несоразмерно много. Несоразмерно с малым числом машин, которых было чуть ли не раз-два, и обчелся. В чем причина — судить не берусь, но в те времена самыми распространен-

ными объяснениями были: «шофер пьяный» и «тормоза отказали». Так или иначе, но едва ли не каждый месяц школа провожала на Ваганьково кого-либо из своих учеников, очередного погибшего под колесами «эмки», полуторки или трехтонки. Затем, когда школы — мужские и женские — объединили, мы стали ходить в бывшую женскую, располагавшуюся на нашей стороне улицы, и наездов стало значительно меньше.

Казалось, что теперь у Антилены забот должно поубавиться, но нет: взрослея, мы схлопывали от нее то за курение, то за подкидного дурака, то — за излишнее тесное (по ее мнению) общение с одноклассницами в подъездах.

Ее холодные четкие обвинения — устные и письменные — постунали в школу, нашим родителям и даже в милицию. Каких только приговоров не было: отцовские ремни, материнские слезы, визиты участкового, четверки по поведению, комсомольские собрания с оргвыводами. Как мы выдюжили, как никто не стал правонарушителем — не понимаю, должно, душевное здоровье было достаточно крепким. Ведь по логике своего возраста мы могли назло Антилене отчубучить что-нибудь эдакое... Но ничего, обошлось.

Я был отмечен вниманием Антилены особо. Как только от нас ушел отец, она сблизилась с моей матерью и совершенно подавила ее: то они на пару звонят в новую квартиру отца, то пишут письма и заявления его начальству, в газеты, журналы и прочие учреждения. Деятельностью этой активной, думаю я, они отца и доконали. Я пытался мешать им, но был вызван в ЖЭК на беседу — род товарищеского суда, где основными обвинителями выступали Антилена и мать.

Шло время. Опека надо мной и моими сверстниками стала заметно менее плотной — Антилена не то сдала, не то переключилась на следующие поколения. Постепенно связанные с ней горести начали забываться, забываться и, казалось бы, вовсе забылись.

Однажды летним вечером — я тогда заканчивал институт и только-только вернулся в Москву с преддипломной практики — ко мне зашел участковый и попросил выступить понятым «при акте, — так сказал он, — описи имущества». С ним было еще двое незнакомых людей в штатской одежде, техник-смотритель ЖЭКа и моя соседка из квартиры напротив.

Мы поднялись на второй этаж, техник-смотритель взломал Антиленину дверь (в тот год у нее никаких соседей не было), и мы вошли. Я догадывался, что с Антиленой, по всей ви-

димости, что-то произошло, что и соседка, и участковый, не потрудившийся ввести меня в курс дела, относятся к происшествию как к общеизвестному, хотя бы в пределах нашего дома или двора, но момента для прояснения ситуации вскрыть мне никак не удавалось: все сосредоточенно и деловито выполняли впервые увиденную мною работу. Даже соседка была задействована: определяла стоимость каких-то вещей. А я растерянно стоял возле дивана, ожидая, не понадобится ли для чего.

Стена над диваном была испещрена цифровыми записями, сделанными то красным, а то вдруг черным карандашом. Рядом с черными цифрами были нарисованы вопросительные знаки, а следующие за ними красные цифры помечались — наоборот — восклицательными. Похоже было, что все это — календарные даты каких-то событий.

Некоторые ряды красных цифр не содержали восклицательных знаков, даты следовали здесь с твердой периодичностью в двадцать семь дней. Продолжая изучение записей, я вскоре пришел к выводу, что черные цифры означают сбой в графике или системе. Подошла соседка, взглянула мельком и схватилась за голову:

— Боже!

— А что это? — спросил я.

— Во идиотка-то! — Опустила руки, покачала в изумлении головой. — Во дура! — Она была явно потрясена. — Черным цветом, да еще вопросительный ставит: отчего, мол? От ветра, дура! — Закончила она со столь откровенным возмущением, что все присутствовавшие в комнате дружно оборотились к нам.

— А ты чего глаза вылупил? — набросилась она на меня. — Не стыдно? отошел бы в сторонку куда-нибудь — нет: стоит, пялится.

Тут наконец я понял смысл графика и, должно быть, смутился.

— Тише, гражданочка! — осадил ее участковый.

— Звиняюсь, — кивнула она и, легонько подтолкнув меня, предложила стать по другую сторону от входной двери.

— Ладно, ладно, — шепотом согласился я и спросил, что же все-таки произошло?

— А ты не знаешь? — воскликнула она удивленно и обрадованно. — Ну да, тебя в Москве не было! — Тут лицо ее сделалось скорбным. — Погибла Антиленочка наша...

Я, помнится, успел отметить, что радость ее была вызвана

не гибелью человека, а всего лишь моей неинформированностью и возможностью просветить меня.

— Гражданка! — рассердился на нее участковый. — Вас пригласили сюда не для того, чтобы вы мешали. Сядьте на диван и сидите.

— Хорошо, я, конечно, — и села.

По другую сторону от двери стена была сплошь завешана мелко исписанными тетрадными листками в клеточку. На одном оказался «Список лекарств, необходимых в домашней аптечке», на другом — «Распорядок дня», из которого я уяснил, что просыпалась Антилена в пять ровно и двадцать минут тратила на «личные нужды». Третий листок содержал «Перечень расходов строго обязательных» на «мыло хоз.», «мыло туал.», «зуб. порошок», а также «автоб.» и «трам.».

Были листки с перечнем «коммунал. расходов» и «расх. на питание», были списки «строго обязательного белья нат.», включавшие «трусы летние — пять штук», «трусы зимние — две штуки», «купальник — один», «лиф повседневный — две штуки», «лиф парадный», в скобочках: «выходной» — две штуки.

Я понял, что вновь стою, где не следует, и перешел вовсе к двери.

Когда мероприятие завершилось, соседка сбивчиво и торопливо сообщила мне подробности гибели Антилены:

— Стояла на тротуаре у перехода. Никаких машин не было, а она ждала, когда машина красная зажжется. Пошла б сразу — и все было б нормально, а то нет — ждала. Дождалась: загорелся красный. Тут как раз грузовик к переходу подъехал, тормознул, а после дождя было. Его занесло, он в светофор, светофор — ну, столб-то железный — грохнулся и ей — по голове...

Так вот оборвалась жизнь Антилены.

В юношеские свои годы я рассказывал эту историю, позерствуя пренебрежительностью к любым нормам и ограничениям: для чего все это, дескать? Была, мол, у меня одна знакомая, очень порядок любила, через что и пострадала.

Затем перестал рассказывать, даже вспоминать перестал. Оттого, верно, что пришло здоровое разумение, а по здоровому разумению в гибели человека, каким бы он ни был, смешного ничего нет.

Теперь же образ Антилены-соседки является мне все чаще и чаще. Как напоминание, предостережение, как символ жизни, прожитой мимо.



Унылое серое небо осторожно плотнело, опускалось к земле, и легкие ветерки изредка проскальзывали под ним с серым шелестом. Все это обещало к ночи метель, но тихий день казался еще настолько надежным, что не хотелось никакого другого.

Ты, странное декабрьское счастье! — снег лежал неглубок, коню давал волю, и сани металась в полях, полосах и лесных просеках, не зная дорог, отчего размах охоты делался, по теперешним временам, необыкновенным.

А когда наконец в узорах опушек обнаруживались черные пятна тетеревов, конь послушно замедлял бег, лениво резал угол, будто невзначай проходя в полусотне шагов от птиц, и дуплеты сухо гремели и терялись в морозном воздухе.

Они тогда охотились на тетеревов «с подъезда». Вдвоем. Охотились шалаво, вольно, и промахи нисколько не печалили их — можно было гнать дальше, гнать, не разбирая пути.

Вовремя, перед самой границей дня, попалась дорога. Откуда, куда? — все равно было. С выезда еще охотники встречали несколько деревень, но оставляли их стороной, потому что... зачем? Ну а теперь надо было найти хотя бы одного человека, чтобы узнать, как выбраться к селу, где они оставили машину и взяли сани. А когда под полозьями укатанный зимник... Двое были правы: кто-нибудь да и встретится. И совсем скоро навстречу попался быстрый возок, а в нем человек. Поравнявшись, остановились.

— Слушай, приятель, как проехать в Дерягино?

Он откинул капюшон легкой дохи, мешавшей ему рассмотреть путников, их коня, и не спешил отвечать.

— Не знаешь, что ли?

— Чем поили коня? — спросил он усталым и таким мягким голосом, будто дело было не на зимнем воздухе, а в натопленной уютной компантенке.

— Шут его знает, сам где-то нашел. В ручье вроде, а что?

— Ночью свалится... Так куда вам? В Дерягино? Вы едете... — взгляд его остановился на черной груди тетеревов, — вы едете правильно.

— Дорога прямая? — поинтересовался тот же.

— Как? Ах дорога... — Он поднял глаза.

— Ты чего? Чего уставился? Да ты знаешь, с кем говоришь?!

— Конечно, — голос вздрогнул от гнева, — конечно же, знаю, сударь! Вы — браконьер! — резко взмахнул кнутом, пола дохи распахнулась, обнажив на миг синеву мундира и солнцем вспыхнувший эполет. Конь сорвался, швыряя снег.

— Сумасшедший! Идиот какой-то?!

— Не, Андрей Андреич, — рассмеялся второй, — артист он. Рожа больно знакомая! Фамилию вот не вспомню, а рожа знакомая.

— Что ему тут, артисту, делать?

— Фильм, наверно, снимают.

— Алабышев говорил разве?

— А вы их ни о чем и не спрашивали. Сказали только насчет саней, да чтоб егерей предупредили.

— Так, может, егерь?

— С круглым погоном-то?

— М-да. Идиотизм... Ну да бог с ним. Если дорогу не наврал, то и ладно. Поехали, чего стоишь!

Андрей Андреевич завернулся в шубу и лег. Было ему тепло, мягко, и не хотелось никаких тревог.

День прошел. Принес хорошую добычу и прошел. «Шутка ли — дюжина петухов! По шесть штук на брата! Ай да Алабышев! Угодил! И чего я раньше не ездил? Он ведь, кажется, еще весной говорил, что у него самый «тетеревиный» район в Союзе... По шесть штук, черт возьми, а? Да и только ли в тетеревах дело? А воздух?! Что бы на даче? Дым, карты, коньячишко — все то же. И те же лица, и те же разговоры — занудство. Спишь кое-как, наутро — бррр... А тут, черт возьми, помолодел, посвежел!» И с неожиданной для себя нежной ласковостью он вспомнил вдруг о жене и обрадовался: «Вот ведь как получается по-дурацки: живешь, живешь... А ведь я, наверное, люблю ее. А так вот живешь, и все как-то...» И он долго еще размышлял о том, что человек в «этой жизни» постепенно теряет и теряет что-то очень важное, а природа, не желающая с этим мириться, всем своим суще-

ством: воздухом, землей, деревьями, снегом и даже разными тварями — протестует против человеческого надругательства над самим собой. «Природа отстаивает прекраснейшее из всего, что есть — душу человека», — здесь Андрей Андреевич остановился, сочтя размышления излишне сентиментальными.

Между тем наступил вечер. Подуло сильнее. С полей сорвалась снежная пыль.

Потом Андрей Андреевич пытался вспомнить по порядку прошедшую охоту, но вспоминалось плохо. Какие-то серые размытые картинки являлись перед ним и исчезали тотчас: он не умел наблюдать. Ясно помнился лишь мягкий голос странного человека и удивительный взгляд, который не сверлил, не колол, не резал да и вообще не нападал, но, высвободившись из-под полуопущенных век, захватил некоторое пространство и замер. И тогда очень не хотелось приближаться к этому пространству. «Однако что уж здесь особо необычайного? Глаза — самое удивительное в лице человека. Наверное, почти все глаза удивительны. И лишь немногим носам удастся с ними соперничать, — Андрей Андреевич улыбнулся, вспомнив о своем шофере, но тут же и нахмурился. — А все-таки странный мужик. И форма на нем... Сударем называл, чудака, браконьером... Хотя прав ведь — охота браконьерская. Для других. Для других — браконьерство, для меня...» Когда у Андрея Андреевича случались подобные мысли, он отбрасывал их, чтобы не зайти слишком далеко, в неудобное.

«Любопытно, о чем может быть фильм? И кого там играет этот? Форма уж очень старинная. Война, что ли, с Наполеоном? Да вроде сняли, хватит уже. О декабристах? Тогда на черта здесь — в полях, в лесах?.. Ой, бог ты мой, где же мы едем?»

Он приподнялся, я посмотрел назад и замер в оцепенении: там, за саями, за снежным вихрем, к светящейся самой собою площади стройными рядами сходились полки и выстраивались в каре.

— Фу-ты, черт! Эй, скоро?!

— Вот огни! Сейчас где-то поворот будет.

— Ты поскорее бы, поскорее, нам еще домой попасть надо!

— Доберемся! По трассе — плевое дело: три часа.

— И выспаться еще! Завтра же в десять совещание. Смотри, чтоб к половине машина, как штык, была!

— Андрей Андреевич...

— «Андрей Андреевич», «Андрей Андреевич!» Гони давай!

— Я-то гою, а она не идет...

Перед поворотом Андрей Андреевич еще раз обернулся.



САПОГИ ИЗ ТРАПЕЗУНДА

Не желая кого-либо обременять, я спросил ближайшую брошенную деревню и к вечеру стал однодворцем. Рядом располагалось еще несколько изб, но все — негодные для ночлега. Числить же себя в подобных условиях хотя бы мелкопоместным — пустое бахвальство: мне, как и многим охотникам наших дней, случалось коротать время не только в совершенно справных, хотя и опустевших, деревнях, но даже и в натуральных селах — с соборами и прочими одинаково обезлюдевшими сооружениями как казенного, так и частного предназначения.

На другой день погода выправилась — стих ветер, дождь перестал, и можно было пускаться дальше, но тут я познакомился с прежним хозяином дома — Павлом Степановичем Метелкиным и лишний раз сумел убедиться в том, что обстоятельства, сбивающие нас с намеченного пути, сулят подчас куда более заманчивые последствия, чем достижение желанной цели.

Я прожил в этой деревне неделю. Неделю — разбирая бумаги, оставленные бывшими жильцами за ненадобностью. Вечерами ходил на тягу, но тяга здесь оказалась неважной, и я, конечно же, все-то и порывался оставить эту деревню и поскорее отправиться в некоторые заветные места, но Павел Степанович не отпускал.

Сначала он показался мне обыкновенным занудю: в ворохах бумаг часто встречалось каллиграфически выведенное слово «жалоба», иногда — «прошение». Скоро, однако, обнаружилось, что самих «жалоб» и «просений»

не столь уж и много, зато писаны они во множестве экземпляров: перерабатывая и дополняя, автор, должно быть, стремился к некоему совершенству. Так, датированный 1923 годом текст «Прощения о перестании полагать товарища П. С. Метелкина недоимщиком по уплате сельхозналога» имел четырнадцать вариантов, а отдельные страницы преобширнейшей «Жалобы на соблазнительное поведение сборщицы сельхозналога В. Лепетяевой» переписывались до тридцати раз, и оттого вполне позволительно утверждать, что Павел Степанович кое в чем сумел превзойти графа Толстого.

Следующее наблюдение и вовсе смутило меня: в то время как Метелкин даже под черновики жертвовал прекраснейшую бумагу, дочь его решала задачи про жнейки, копны, пуды и десятины на страницах печатной продукции. Тут были брошюры с таблицами займов, с постановлением «О порядке разрешения трудовых конфликтов, возникающих на почве применения наемного труда в крестьянских хозяйствах» от 1924 года, «Законодательство о трестах» 1925 года, «Выращивание сои на севере СССР», «Как устранить яловость животных» и другие издания не меньшей значимости. Несколько самодельных тетрадей было сшито из рекламных афиш «Крестьянской газеты» и цветастых плакатов, объявлявших «волостные торги недвижимостью» и «сдачу лесов в аренду».

То есть определенно писание жалоб явилось для Павла Степановича занятием чрезвычайной, ни с чем не сравнимой важности.

Узнал я еще, что Павел Степанович в годы гражданской войны служил делопроизводителем 29-го этапного батальона, и тут было счел свое исследование вполне законченным, как вдруг на чердаке среди пыльных березовых веников, разобранных кросен, мятых чайников, самоваров, кастрюль нашелся странный предмет — долбленный деревянный пенал цилиндрической формы. Сняв крышку, я обнаружил плотный свиток бумаг, касавшихся неизвестного мне периода жизни Павла Степановича.

Документ с сургучной печатью оказался послужным списком «чиновника военного времени Карского крепостного интендантского управления П. С. Метелкина». Так я узнал, что Павел Степанович имел счастье явиться на свет в 1881 году, а в 1910 был зачислен в писарской класс при Управлении здешнего воинского начальника. Пройдя курс наук, попал в распоряжение штаба Кавказского военного

округа и с 1914 по 1918 год служил в Карсе писарем, старшим писарем и, наконец, помощником бухгалтера.

За четыре года brave воитель успел наградиться тремя медалями, о чем в анкетах следующих лет не упоминал. К этому же периоду относились и особо яркие проявления кляузнического таланта Павла Степановича. Чего стоит хотя бы его докладная записка о прапорщике 296-го пехотного полка Марисове, который при обстоятельствах, описанных не очень внятно, назвал Метелкина «драным (на литеру «С») кавалером и дураком». «Докладывая о вышеизложенном господину делопроизводителю Управления Карского крепостного интенданта», Метелкин просил «ходатайствовать перед господином полковником Карским крепостным интендантом о разборе инцидента по нанесению нетактичного оскорбления».

Господин делопроизводитель, подчеркивавший прочитанное карандашом, дошел лишь до фразы: «Прапорщик Марисов спросил меня: «Ты знаешь, кто ты есть?» Не познакомившись с доходчивыми разъяснениями прапорщика насчет метелкинского кавалерства, делопроизводитель перешел непосредственно к ходатайству и на обороте докладной написал, что «некоторые офицеры 296-го пехотного полка всякими вопросами нетактично отвлекают писарей от исполнения прямых обязанностей, которые и без того чрезмерны, ввиду малости штата».

Господин полковник, прочитав заключение делопроизводителя и заметив, кажется, лишь слова «штат» и «нетактично», препроводил бумагу в 296-й пехотный полк с просьбой «провести штабные учения, так как офицеры полка имеют столь слабую военно-тактическую подготовку, что по всяким вопросам справляются у писарей, словно статские».

Спустя время Метелкин жаловался на офицеров 296-го полка, которые, посетив канцелярию с коварным умыслом, будто нечаянно передвинули стул, в результате чего Павел Степанович, державший в руках бутылку свежеразведенных чернил, сел мимо. Однако, получив серебряную медаль на Аннинской ленте с надписью «за усердие», писарь прекратил битву.

Но все это дело оказывалось совершенным пустяком в сравнении с продолжительной тяжбой о сапогах.

В мае 1917 года некий титулярный советник по фамилии Лукьянов докладывал, что из шкафа, стоявшего в комнате писарей, пропало пять пар сапог. Павел Сергеевич отписал:

«Куда девались пять пар казенных сапог, мне неизвестно, о чем могут подтвердить сослуживцы мои, писаря Голик, Гладский, Андрющенко, Хряк».

Затем чиновник Лукьянов находит у себя в кабинете три пары сапог, но вместо того чтобы вдумчиво принять дар, объявляет это событие «началом раскаяния неизвестных злоумышленников» и сдает сапоги на склад. После чего писаря Голик, Гладский и Хряк избивают писарей Метелкина и Андрющенко и почему-то отнимают у них две пары «законных сапог, выданных еще формуляром 1915 года».

Бухгалтер управления — «зауряд-военный чиновник» по фамилии Неборачко, дабы утихомирить компанию, добивается награждения каждого из пятерых серебряной медалью на Станиславской ленте с надписью «за усердие» и переводит Голика, Гладского и метелкинского друга Андрющенко в Трапезунд, иначе говоря, с педагогической пронизательностью разрушает и перемешивает начавшие было враждовать компании.

Тут приходит пора получать новые комплекты обмундирования, и Метелкину с Хряком недостает сапог. На официальный запрос Метелкина Неборачко официально же и отвечает, что их «сапоги по причине ошибочности свезены в Трапезунд».

Павел Степанович обращается к другу Андрющенко. Тот пишет, что у них «с обувкой слободно, но с портками зато безобразия, так что Гладскому с Голиком не хватило». В обмен на две пары новых форменных брюк прибывают из Трапезунда даже не две пары, а пять штук сапог, но все — левые. Метелкин в следующей докладной грозитя пожаловаться государю и требует командировки в Трапезунд, «чтобы на месте восстановить справедливость по вопросу правых сапог». Государь, правда, уже почти год находился вдалеке от престола, но зауряд-военный чиновник Неборачко все равно забоялся: выбил Метелкину золотую медаль на Станиславской ленте с надписью «за усердие» и дал разрешение «посетить Трапезунд по служебной надобности».

В это время Андрющенко присылает очередное письмо: «Я с удовольствием бы отсюда уехал. Дело в том, что здесь какие-то пауки называются скорпионами. Их здесь много, и укусы их для человека смертельны. Кроме того, хотя наше управление помещается на горе, и с малярией, говорят, у нас хорошо, но в городе низу летом страшная малярия».

И Метелкин остался. Вскорости, слава богу, весь гарнизон был эвакуирован в Тифлис.

Долго скрывал Павел Степанович ратные эпизоды своей молодости. Лишь в 1945 году, разрабатывая прошение о награждении медалью «За победу над Германией», он назвал себя в одну строку «участником гражданской войны и героической обороны осажденного Карса». Он правильно рассуждал: историю свою мы знаем куда как плохо, и к сорок пятому году в здешней глуши никто ничего про Карс не помнил. Да и вообще не до того было.

Вот, собственно, и все, что удалось мне узнать о Метелкине за несколько дней. Отправившись дальше, я в первой жилой деревне принялся выяснять мнение земляков о знатном кляузнике. Все, кто знал его, а Павел Степанович умер тому назад лет эдак двадцать, в один голос твердили, что он был печником. «Может, чего когда и случалось, — говорили мне, — но если только давно. А после войны, все знают, Метелкин клал печи, причем денег почти не брал».

Я вспомнил, что последнее найденное мною «прошение» относилось по времени действительно к концу войны. Просмотрев еще раз «биографию жизни» Павла Степановича от 1925 года, нашел я и пропущенные ранее строки об учебе на печника и о работе печником в Петербурге с 1906 по 1909 год.

Все дружно хвалили метелкинские печи и пожимали плечами при словах «жалоба», Карс, Трапезунд. Составленное мною представление никак не вязалось с образом печника-филантропа. Допускать, чтобы одно благополучно соседствовало с другим, не хотелось: вышло бы, что недобрые дела можно преспокойно творить рядом с добрыми, потому как первые непременно забудутся, а это, известно, неправда.

Ясность внесли родственники Метелкина: его внук — главный бухгалтер колхоза и жена внука — завскладом. Они объяснили, что «дед когда-то был ничего — копейку имел, но потом — не враз, а постепенно, — свихнулся. И хотя врачи этого не подтвердили, вся родня знает. Стал печки ложить, деньги порастратил или неизвестно куда подевал, а в наследство одну бумажонку оставил — перед соседями срам дак».

Я попросил, и мне показали завещание Павла Степановича, написанное все тем же виньеточным почерком — уж не гусяным ли он пользовался пером?

«Лишь одно божество на Земле — ушедшее время, — начал я разбирать вслух. — Будущего нет...»

— Точно, — подтвердила жена внука. — Эти ученые доведут Землю до края. Не войной, так химией.

Далее Павел Степанович корявыми канцелярскими фразами, воспроизвести которые затруднительно, рассуждал в том смысле, что будущего не существует физически, что его либо еще нет, либо, уже осуществляясь, оно становится настоящим, а осознанное настоящее — прошлым. Дескать, одно только прошлое реально, дескать, оно всегда с нами: «в житейском опыте, в воспоминаниях и болезнях».

Затем, бесхитростно сравнивая жизнь с «хождением в неведомое», Павел Степанович настоятельно рекомендовал для определения курса оглядываться назад, на «вешки прошлого», и проводить от них через себя прямую линию, то есть употреблять прошлое как геодезический репер.

Наконец, Павел Степанович признавал, что он лишь к закату «начал понимать в жизни», но тем не менее решился изменить весь ее ход, дабы последние поставленные им вешки подсобили потомкам. «Хотя слишком поздно, а потому навряд», — прозорливо завершал Павел Степанович.

Я решил отдать документы Метелкина, но родственники замахали руками: «Вы что?!» И поинтересовались, зачем мне-то понадобился этот мусор. Я не знал, что отвечать, как, впрочем, и теперь не знаю и до сих пор все не могу найти какого-то определенного отношения к Павлу Степановичу, хотя судьба его не перестает занимать меня.

Вероятно, ни мне, ни кому-то другому не докопаться уже до мыслей и чувств, которые «не враз, а постепенно» изменили внутренний облик Метелкина.

А может, и не надо докапываться? Может, и не следует искать определенности в отношении к Павлу Степановичу? Может, и в помине нет тех слов, которые точно обозначили бы образ старого писаря? Может, притягательная сила этой «зауряд-военной» истории только в том, что она — прошлое? Может, Метелкин прав, и прошлое действительно обладает некоей властью над нами, властью реальной, но необъяснимой, загадочной? Как там у него: «...лишь одно божество на Земле — ушедшее время». Есть в этом положении чрезмерная категоричность, да.

Но с другой стороны, нельзя ж всерьез утверждать, что сапоги из Трапезунда могут представлять нынче хоть какой-нибудь интерес, тем более что все они на одну ногу.



ДОСТОСЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО

(Из охотничьего фольклора)

Долгие годы в одном селе существовало охотничье общество. Кто — неизвестно, а потому: народ — окрестил его Достославным. Чего теперь в этом прозвище больше — почтительности или насмешки, — трудно сказать, но первоначальный смысл определенно был добрым и ясным: почему-то именно с добрых намерений и ясных слов начинаются все те запутанные истории, последствия которых невероятны настолько, что не поверишь, покуда не увидишь сам. А и увидев, бывает, не поверишь опять же.

Старые охотники помнят еще период расцвета: обилие дичи, все виды охот, рентабельность, строжайшая дисциплина... Казалось, вот-вот, немного — и во всех лесах, на всех болотах, лугах наступит совершенное благоденствие. Но тут с непостижимою незаметностью период расцвета сменился периодом угасания: куда-то стала исчезать дичь, куда-то — люди.

О дальнейшей судьбе Достославного натура, склонные критически оценивать действительность, высказываются: сплошной хаос. Более снисходительные возражают: нормально, в долгой жизни чего только не бывает. Касательно же собственно дичи и угодий — хозяйственная деятельность так преобразила округу, что бывший директор леспромхоза, а теперь председатель Достославного общества Филимон Квасов, говорят, начал готовить перспективный план создания биологически чистого района, в котором не будет болезней, потому что ни одной бактерии не останется. Может, конечно, насчет плана и врачи — никто его сроду в глаза не видел, но, скажем, традиционное предсезонное собрание — оно-то действительно было. Собрались, поговорили и, как водится, нанесли на карту разноцветные крестики, обозначающие плантации изрубленного леса, горы брошенных удобрений и полосы распыления химикатов. Если в прошлом году карта напоминала собою пусть абстракт-

ную, но все ж еще вышивку, то теперь вполне конкретную штопку.

Квасов разглядывал карту через очки для близи, затем для дали, затем нацепил одни на другие. Припадал лбом, носом, щекою и наконец обнаружил в одном месте перво-зданную, не тронутую карандашами основу. Тут же, правда, кто-то предположил, что это Квасов носом дотерся, но большинством голосов выбранную территорию утвердили. Оставалось только узнать — что за место, как туда схать или идти, да определить время выхода. Все это поручили старейшинам — Боткину и Соловью.

Коля Боткин хоть и являлся активнейшим членом Достославного общества, ружья в руках никогда не держал. Это обстоятельство следовало считать достоинством, потому что охотники — народ как бы не совсем... Это с рыболовами просто: они говорят — дели пополам, сам говоришь — умножай на два. Рыболовы, в основном, самые обыкновенные люди, разве что система исчисления свособразная, а вот охотники... Мир их состоит частью из событий действительных, частью из, что ли, не очень, а то и вовсе из тех, которых быть не могло, но которые тем не менее были. То есть разумеется: чего не может быть вообще, того вообще быть и не может. Разве изредка, иногда. Естественно, обществу нужен был хотя бы один человек, в голове которого реально с фантастическим не должно было бы перепутываться. Не должно, а там — черт его знает.

К своему медицинскому однофамильцу Коля никакого отношения не имел. Печенкой, правда, иногда мучился, но, похоже, вовсе не из уважения к знаменитому доктору. И тем не менее Коля Боткин — удивительнейший человек. Внешностью своею он мог потрясти даже выдавшего виды фотографа привокзального ателье какой-нибудь узловой станции. Начать с того, что росту Коля был заметно пониже среднего и кругл, и круглолиц. Цвет лица — редкостный: чернобагровый, словно лицо это только-только нагрели и закоптили слегка. Такие лица случаются теперь разве что у водителей МАЗов.

— И не стыдно тебе о такой рожей на свете жить? — спрашивал иногда своего приятеля Соловей.

— Нет, Иван, — гордо отвечал Боткин. — Колер этот заработан честным трудом.

— Да уж сколь лет прошло, как тебя с земли-то согнали, а рожа все такая же немытая.

Это, Иван, как печать. Это — на всю жизнь, — вздыхал Боткин. Протяжно зевнув и помолчав несколько, он лениво заканчивал: — Зато ты у нас ажно светишься.

На эти слова Соловей не реагировал, словно бы и не слышал. Он был человеком серьезным, пустых речей не любил, а подобные разговоры случались в их жизни раз тысячу и значили приблизительно: ну как? — да ничего.

Иван, к слову сказать, действительно едва не светился. Он был не то что чист, а скорее — застиран, как и вся его выцветшая, вытертая одежда, в которой невозможно было понять, что — рубаха, а что — порты. Белесо-серенькое — и все тут. Прямой, высохший и истертый, он был похож на древний посох из плавника: помотало можжевельный комель по волнам, вымочило, выморило, на берег выбросило. Высушило, выветрило... Он встал и пошел. Соответственно облику Иван и походку имел — мерную и величественную.

А скажем, неповторимость Колиной походки в том состояла, что никакой определенности в этой походке не было: Коля то семенил бочком, то заплетал ногами и словно спотыкался, то вдруг ноги его устремлялись вперед, грози опрокинуть туловище, и тогда Коля начинал крениться в сторону, потом резко выпырывал, а ноги тотчас оказывались позади и вновь заплетались.

Так вот, несмотря на свою неказистость и на отсутствие интереса к охоте, Коля Боткин сыграл в жизни Достославного общества не менее важную роль, чем, например, знаменитый охотник Иван Соловей, который исхитрился прожить жизнь, мужественно не занимаясь ничем, кроме охоты.

А последнюю Почетную грамоту общество получило исключительно благодаря стараниям Боткина. Ведь сколько ни охотились в прошлом году за волками, ничего добыть не могли. Все яды перепробовали — не берут волки приваду. Народ смеется: позор Достославному! А у Коли мнение: «Вы, мужики, неверно приваду подкладываете: во-первых, поближе к лесу стараетесь, а во-вторых, на рожах у вас весь ваш умысел и написан». Мужики посмеялись, но предложили: пожалуйста, пробуй сам.

Зарезали хромую овцу, заправили ядовитыми таблетками, Коля пронес приваду через весь скотный двор, швырнул в кусты, брезгливо сплюнул и выругался.

Затея удалась, но отчасти: приваду тронул лишь один

волк. Остальные, походив около, вернулись в лес, понаблюдали, как сдох их товарищ, и ушли на территорию другого колхоза. «Все ясно!» — заявил Боткин и, перебравшись на новое место, изменил тактику. Зарезали хромую корову, разделили ее на куски. Доярки уходили с фермы крадучись, поодиночке, каждая тащила огромную сумку. Боткин, упаковав отравленное мясо в оберточную бумагу, пробежал через скотный двор, осмотрелся и спрятал шматок под сваленные в кучу жердины.

Успех был полным: стая скукушилась. И за сезон Достославное общество, действуя по методу Боткина, уничтожило двадцать восемь зверей и выиграло межрайонное соревнование.

Боткин и Соловей прошли с Достославным весь путь. Они оставались самыми старыми мужиками в округе и, как иногда случается с людьми, пережившими всех своих сверстников, крепко держались друг друга, что не мешало им, однако, пребывать в состоянии шуточного соперничества, которое зиждилось на событиях прежней, известной лишь им одним, жизни.

В означенный день поутру старики привели членов общества к утвержденному на собрании месту.

Деревня эта являла собою образ обыкновенного Летучего голландца российских просторов — то есть все в ней как будто было, но людей — не было. Правда, в отличие от призрачных кораблей, покинутые деревни не блуждают, стоят на месте, да и недолго стоят: вскорости их дотла палят или дотла разоряют.

Но деревня с трогательным названием Умиленье была свежепокинутой. Настолько свеже, что все участники предприятия в первой же избе смутились жилого порядка и стали искать хозяйку. Они решили, что слухи об опустении Умиленья преждевременны, что перепутали Умиленье с Пробуждением и, значит, пока не поздно, следует перебазираться. На всякий случай пошли уточнить. Но сколь ни шастали по дворам, сколь ни стучали в отворенные двери, ни кликали хозяина или хозяйку — никто не встретился, никто не отозвался. Хотя во всех избах пахло жильем и фотографии висели на стенах. Разве что печи были не топлены да цветы позавяли. Наконец, отбросив сомнения, Достославное общество расквартировалось в большой избе, занимавшей господствующее на местности положение, отобедало и приступило к мероприятию, которое именовалось маневрами.

Дело тут вот в чем: когда история общества подошла к критическому моменту и некоторые охотники стали драпать, чтобы переждать невзгоды где-нибудь на стороне, председатель с чувством выполненного долга предположил: «Расформируют нас». И совершенно неожиданно открыл новый этап в жизни Достославного общества.

Если бы председатель сказал: разгонят, ликвидируют, упразднят — охотники, может быть, и примирились бы и, не исключено, добровольно, не дожидаясь официальных указаний, сдали бы огнестрельное оружие и разошлись, но «расформируют»... Ведь каждый из охотников в свое время — мирное или военное — служил в армии, и слово Квасова прозвучало сигналом к действию. Было решено объявить общество на осадном положении и мобилизовать все силы. С той поры разные обязательные для охотников мероприятия: биотехнические, кинологические и стрелково-спортивные — приравнивались к маневрам.

Нынешние маневры проходили так: сначала общество отрабатывало тактику облавной охоты в условиях, приближенных к боевым: то есть не в лесу, а в поле, возле деревни. Место оказалось чрезвычайно удачным. Ясно было, что в течение нескольких лет, после того как сеять здесь перестали, сюда еще гоняли коров. А в последующее время, когда никого уже сюда не гоняли, на удобренном поле трава стала произрастать так, что клевер, к примеру, вымахал чуть ли не в человеческий рост, да и мятлик отстал не сильно, и загонщики, словно в густом лесу, не могли увидеть стрелков, а стрелки — загонщиков. Один из загонщиков заблудился; пересек огневой рубеж и, подойдя к лесу, вынужден был взбираться на дерево для рекогносцировки. Других происшествий, слава богу, не произошло — все ж таки условия лишь приближенные.

После тактических занятий проводились учебные стрельбы, на которых вместо стендовых тарелочек использовалась треснутая и надколотая посуда. Победу одержал завскладом живсырья Олег, поразивший восемь из десяти тарелок, фужер, заварочный чайник с отбитым носиком и обе чашки. Иван Соловей выступал здесь вне конкурса.

Вот странно: многие, далеко не самые важные моменты истории Достославного общества известны: как на одной берлоге четырех медведей добыли или, скажем, как охотились на дикого кабана, поселившегося в совхозном свинарнике, — об этом даже газеты рассказывали. А вот, например, о ружье Соловья мало кто знает.

Ружье было зарегистрировано двенадцатым калибром, хотя из фунта свинца Иван для своей фузеи отливал только четыре пули. Но Филимон сказал, что четвертого калибра не бывает и надо зарегистрировать двенадцатым или шестнадцатым. И ведь экспертизу устроил: из города криминалист приезжал, фунт в граммы переводил, диаметр ствола измерил, отлил из свинца пули — получилось четыре. Сказал: невероятно, должно, изотоп попался особый. И записали двенадцатым — смех! Ведь когда Иван утопил ружье в пруду, а после вытащил — в стволе жили раки!.. Ладно бы восьмым или десятым, а то двенадцатым! Насмешка! Раков, кстати, так и сяк, а они не идут. Пришлось, говорят, ружье в корыте варить. Конечно, эта история не совсем похожа на правду: Иван Соловей мужик старый, опытный, на кой черт ему, спрашивается, варить ружье, если можно было кипятку в ствол плеснуть? А кроме того, кто хоть раз видел Иванову фузею, подтвердит, что не бывает корыта такой длины.

Так вот, когда, выступая вне конкурса, Соловей выстрелил в старый амбар, амбар без остатка взлетел на воздух, и деревьяшки падали потом целый день. Уже вечером Филимон Квасов — лицо официальное — вышел из избы по нужде, и ему на голову упала гнилушка. Коля Боткин, оказавшийся неподалеку, определил, что гнилушка из того материала, из которого был строен амбар. Еще Коля высказал предположение, что мощность выстрела составила две мегатонны. Может быть, это и не совсем так, но с другой стороны, если, как говорят, Иван Соловей насыпал полствола пороху, то отчего же?

После стрельбы в огороде меж пустующих ульев была развернута собачья выставка.

Среди гончих вне конкуренции оказался смычок Несипи и Громчелай заведующего складом. Повесив на шею собак пластмассовые жетоны-номера, прихваченные из гардероба краеведческого музея, Олег отпустил животин с миром. Первое и единственное место среди норных собак занял фокстерьер Глаша, принадлежавший Филимону Квасову. Лучшей лайкой из трех представленных оказалась Найда Ивана Соловья, лучшей легавой — опять же единственной — сеттер Глаша. Животное это происходило от смешения шотландского сеттера с фокстерьером, потому и выступало сразу в двух категориях. Такой черный в подпалинах сеттер на прямых коротеньких лапах и с бородой.

Затем, в саду под яблонями состоялось награждение победителей. Иван Соловей получил пять пачек патронов

двенадцатого, конечно, калибра, Филимон Квасов — именно ружье, Олегу были торжественно вручены двести таблеток яда. Он пытался сопротивляться, говорил, что не занимается «этим делом», да и вообще «Боткин всех волков потравил», что не заслужил, что собаки не его, а бродячие, но Квасов помотал головой и обреченно вздохнул: «Бери, сынок, пригодятся».

Наконец настал черед кинологического семинара. Слово для доклада было предоставлено Соловью. Он сказал:

— В старые времена каждая собака занималась своим делом: одна — гоняла, другая — подымала дичь, третья — травила самостоятельно, четвертая — еще чего, но всякая знала свою, можно сказать, профессию. Потом наступили другие времена, когда любая собака в любой деревне умела кое-как и зайчишку загнать, и птицу поднять, и белку облаять. А потом пришли нынешние времена, когда все собаки всё понимают, но ни одна ни хрена не делает.

Это была самая длинная речь в жизни старца. Народ был так потрясен внезапной его говорливостью, что от изумления оцепенел. Очнувшись, общество забило в ладоши. Иван даже поклонился, но «спасибо» за внимание не сказал — от волнения потерял голос.

Олег — бывший москвич, променявший столицу на Достославное общество, выступил с сообщением.

— Граждане, — сказал он. — В городах обстановка такая: есть, конечно, отдельные охотничьи собаки, отдельные, если по-научному, особи, но основная, если опять по-научному, популяция делится на три группы. Первая — собаки мальчишеские. Это бездомные животные, которых кормят детишки и которые, значит, из благодарности сносят все шалости и прочие игры. Вторая группа — собаки пенсионерские. Обычно мелкие, злобные и перекормленные животные. О них я даже и говорить не хочу. Третья группа — пьянищские, я бы сказал, собаки. Они дежурят возле дверей магазинов, стоят около подъездов и подворотен — хозяина ждут. Как правило — лохматые, немые, но спокойные и до невозможности терпеливые. Спасибо за внимание. У меня все.

— Чисто симпозиум, — вздохнул Боткин. — А мы ничего не записываем. — Квасов отвернулся, слеза скатилась по его квадратной щеке.

Да, совсем недавно еще велась летопись: для отчетности, для потомков и для себя — копить опыт да ошибок не повторять. Но однажды, когда бумаг и бумажек набралось

множество и негде их стало хранить, отнесли все это в архив, дабы там разобрались и свели историю общества в единую книгу. Тут, кстати, приближался и юбилей, и договорились уже, что типография отпечатает памятные экземпляры.

Архивные умельцы действительно свели все в одну куцую папку с надписью «Дело», но странным образом: первый же документ об организационном собрании заканчивался словами «князь плакал». Вторая запись была сразу о собачьей выставке, случившейся спустя десять лет после собрания. Заканчивалась она: «Князь смеялся». Далее таинственный князь стал все чаще и чаще влезать на страницы летописи. То он вместе с охотниками осуществляет биотехнические мероприятия, то вдруг попадает в кабину «уазика» и отказывается платить штраф за браконьерство, аргументируя свое поведение вопросом: «А ты знаешь, кто я?» Под конец князь совсем вытеснил Достославное общество, выдав свою дочь за какого-то соседнего князя и устроив по этому поводу «зело велику потеху».

Долго недоумевали охотники, искали намека, жаловались архивным начальникам и получили ответ. Оказалось, что некогда, в стародавние времена, существовало здесь еще какое-то общество и архивариусы свели его воедино с нынешним. Причем действовали аккуратно, соблюдая таблицу перевода календарей, то есть, если собачья выставка была, скажем, пятнадцатого сентября, то и князь, в переводе на новый стиль, смеялся тоже пятнадцатого сентября, а не зимой и не летом. Так что архив сработал нормально. Хотя за неуместное припутывание князя кого-то лишили премии, кому-то влепили «на вид», а Достославному обществу принесли извинения. Но поправить дело уже нельзя: сотворив новый взгляд на историю общества, старые бумажки архив спалил. А жаль. Действительная история Достославного в некоторых смыслах весьма поучительна и уже по этой причине заслуживает внимания. А всякого рода приукрашивания — зачем они? Охотники так и не признали невесть откуда взявшуюся грамоту «за поимание единорога», хотя, вероятно, с четырьмя грамотами им было бы легче выиграть межрайонное соревнование. Но признавались лишь свои кровные, честно заработанные: первая — за истребление волков, вторая — за их успешное разведение в качестве санитаров природы и третья — та самая, которую завоевал Боткин — за истребление вновь.

...Пообедали, стали собираться домой, и тут выяснилось, что у Филимона собака пропала. Кричали, стреляли, дудели

в стволы — бесполезно. Боткин предположил, что Глаша пошла погулять как легавая, где-нибудь нашла нору и залезла туда как норная. Посмеялись, но Соловей обнаружил, что потерялась и Найда. Такое в общем-то случается на охотах: привязавшись к следу, собаки, бывает, уматываются за зверем на целый день, а то и на два. Квасов и Соловей вынуждены были остаться. Боткин и Олег присоединились.

— Что будем делать? — спросил председатель, когда они остались вчетвером.

— Ждать, — пояснил Боткин. — Больше нечего. Вдруг твоя норная по ошибке в дренажный коллектор воткнулась и путешествует там теперь, а Найда ждет ее у какого-нибудь выхода аж за несколько верст?

— Да нет тут дренажных труб, — отвечал Квасов, — но окультурено поле.

— А ты почему знаешь? — изумился Боткин председателевой проницательности.

— Да вспомнил я эти места: мы про них на последнем заседании Совета по охране природы беседовали. Директор тутошнего совхоза собирался грунт с полей на болото перевезти.

— Зачем? — не понял Олег.

— Ну дак он Катькин мох-то высушил? Высушил! Засеял, а ни черта не взшло. — Председатель развел руками. — Теперь вот землю туда перевезет и по новой попробует.

— Зачем? — Олег растерянно смотрел на Соловья — не шутит ли председатель? Но Соловей стоял, опустив голову. Боткин пристально вглядывался в заоконную даль.

— Бесхозяйственность, — объяснил Квасов, — Совет возражал, но — надо. Куда денешься?

— Боже мой, — прошептал Олег. — Бред какой-то...

Боткин, скосив на него глаза, коротко усмехнулся: все лицо молодого заготовителя было усеяно разнокалиберными родинками, которые при изменении выражения то собирались в кучку, то рассыпались, то взлетали, то падали.

— Так что... Кстати, какое сегодня число? — вдруг заинтересовался Квасов. — Ну да: не то завтра, не то послезавтра директор совхоза собирался присылать сюда бульдозер, экскаватор, машины. Такое совпадение, значит. Может, правда, сначала и не сюда, а на другое поле — их тут несколько.

— Бред...

— Какой мох был, — вздохнул Соловей, — верст пятнадцать в длину, пять — в ширину... А глухарей, тетеревей!..

— Клюквы! — добавил Боткин.

— Бесхозяйственность, — снова развел руками Филимон Квасов. Олег настороженно посмотрел на него.

— Ну ладно, — вмешался Боткин. — Надо располагаться. Глядишь, день-два проторчим.

— А вдруг собачек волки задрали? — предположил Квасов. И все почему-то устремили взоры на Боткина.

— Ну и народ, однако! — укоризненно покачал тот головой.

Первым делом затопили печь. Дров в каждом дворе, слава богу, было запасено. Желтые, офанерившиеся листья фикуса пошли на растопку. И уже вскорости русская печь покрылась холодной испариной, словно из нее начала выходить хворь. Олег подмел избу, протер зеркала и оконные стекла нашатырем, обнаруженным в аптечке. Достал из сундука чистенькие занавесочки — принарядил залу. Боткин, походив по соседям, собрал дюжину разнообразных керосиновых ламп; почистил и пустил тикать ходики; заправил водой два умывальника — один на кухне, другой — возле крыльца. Натаскал глины, которой и замазал чадящие трещины в печке.

А Соловей, заняв в доме напротив голубой красочки, подновил изгородь и наличники, потом сходил в клевер и принес оттуда двух разнополых зайчат да еще прихватил по дороге случайно встретившийся пчелиный рой. Зайчат он посадил в крольчатник, пчел пустил в улей.

— Для чего это, дядя Вань? — не понял Олег.

— Для жизни, — доходчиво объяснил Соловей.

Продуктов брали с собой немного — все ж не планировали ночевать на маневрах, так что пришлось срочно подобрать белых грибов, кое-где по огородам обнаружилась самостоятельная картошка, да дикорастущих морковин еще нашли. Компот варили из яблок, черной смородины, крыжовника, малины, боярышника и шиповника.

Стемнело. Олег взялся запаливать по всей избе лампы, Соловей сел за стол набивать патрон для ружья. Боткин растопил печь-голландку, а Филимон решил перед сном проверить состояние дымохода. Слезал на чердак и притащил пыльную шкуру. Бросил на пол и спрашивает:

— За сколько возьмешь?

Олег покосился:

— Бутылка. — И, отрегулировав пламя основной лампы, висевшей над головой Соловья, пошел задерживать занавески.

— Каким же это образом ты насчитал? — серьезно спросил Филимон.

Олег вернулся к овчине, пошевелил ее носком сапога.

— Спали ее полтора года назад. В большой мороз...

— Иван, у них здесь не в зимнего Николу престольный? — поинтересовался Боткин от печки.

— Сто семьдесят два, — произнес Соловей, перекладывая дробинку, и согласно кивнул.

— Точно, в запрошлую зиму на Николу мороз был, — припомнил Боткин.

— Повесили во дворе на веревку, — продолжил Олег. — Снег шел...

— Метель была, — подтвердил Боткин. Филимон подозрительно посмотрел на него.

— Дня через три сняли...

— Конечно: отгуляли, — Боткин загнул два пальца, — опохмелились, — загнул третий палец.

— Перенесли на чердак и бросили на какую-то жердь, — закончил Олег.

— Откуда ты все это?.. — прошептал Филимон.

— А! — махнул рукою Олег. — Там вон и полосочка от веревки, и пятна от снега — дело нехитрое.

— Но отчего ж непременно бутылка, а, скажем, не пять и не семь рублей?

— Вычислительный центр требует, — пожал плечами Олег. — Говорят, алгоритм такой, да и...

— Сто двадцать! — выпалил Соловей, переложив очередную дробинку. Все вздрогнули, разговор прекратился.

— Двести двадцать, наверное. Сто двадцать было уже, — и Олег сел за стол, подстраховывать Соловья в сложном деле.

Квасов нерешительно подошел к печке, проверил пальцем, не пачкается ли побелка, и привалился спиной. А Боткин сидел на низенькой «доильной» скамеечке перед огнем и, завораживаясь, клонился все ближе и ближе к топке. Филимон шмыгнул носом:

— Что-то горит!

— Двести пятьдесят девять, двести шестьдесят, высушь морду-то из огня! Двести шестьдесят один...

Боткин дернулся, осторожно ощупал лицо:

— Действительно, пригорать стал. Виноват. Задумался, свою, можно сказать, профессию вспомнил. Какая-никакая и у меня была. Тоже дело знал не хуже, чем Олежка свое или, к примеру, Иван свое.

— Какая ж твоя профессия? — насмешливо спросил Филимон.

— Крестьянин дак! — удивился Боткин непониманию. — Землю пахал, хлеб рóстил... Лен, картофель, всякую другую ботву.

— Ну ты ладно — колхозник, а у Соловья-то какая профессия? — не унимался Филимон Квасов.

— Всю жизнь человек в лесу живет, — задумчиво глядя в огонь, отвечал Боткин. — С леса кормится — уметь надо. Трудная у Соловья доля...

— Ну а меня-то ты что пропустил? — шутливо поинтересовался Филимон.

— Тебя-то?.. Ты, браток, человек ре-едкостного таланта. Место твое — в тылу врага. Ты лет за десять любую державу разоришь. Надо же, в кои-то веки раз спутник в наши края упал, и угораздило на твою деляну!

— Ну так что ж? — Филимон недоумевающе полуобернулся. — Меня даже по телевизору показали!

— Полверсты от дороги, и не смогли подобраться! Нет, говорят, на земле техники, чтобы через такие завалы прошла. Вертолет вызывали.

— Ну так что ж? Ведь деляна же! — Квасов дернул плечами и вновь привалился к печке.

— Была одна книга божественная. Знаешь, чего там написано?

— Не знаю и знать не хочу, я неверующий, — проворчал Филимон.

— Без разницы. Так вот, написано там, что есть время бросать химикаты и есть время собирать их. Есть время рубить деревья и есть время сажать их, понятно? Ты, Филимон, за свою жизнь хоть одно деревце посадил? Ни единого ведь. А сколь изничтожил — да понапрасну?

— Если насчет бесхозяйственности, — с удивлением в голосе отвечал председатель, — то я согласен.

— Да что вы все: бесхозяйственность да бесхозяйственность? — рывком поднявшись из-за стола, Олег шагнул в одну сторону, вернулся обратно, наконец, встав боком к Квасову, раздраженно сказал: — Это ведь вы ее породили!

— Я? — переспросил Квасов и чуть растерянно, но тем не менее исполненным превосходства взглядом обратился сначала к Боткину, потом к Соловью. Боткин по-прежнему смотрел в огонь, Соловей все так же пристально считал дробины, и Филимон, как ни терзал их взглядом, так и не

сумел получить каких-либо союзнических заверений.

— Именно вы! Или она вас!..

— Да я, конечно, я понимаю...— суетливо пробормотал председатель.

Увидев испуг в его глазах, Олег как-то разом обмяк. Вдохнул и, возвращаясь к окружающей действительности, пустым, бесцветным голосом завершил разговор:

— Ладно, давайте спать.

Белье стелить не стали, легли поверх одеял: на одной кровати — под васнецовской «Аленушкой» из старого «Огонька» — Олег, на другой — под шишкинскими медведями — Квасов. Досчитав до какого-то заветного числа, Соловей снарядил патрон и полез спать на печку.

Один лишь Коля Боткин все не ложился. Сидел, сидел у огня, потом пошел за дровами. Вернулся, запыхавшись.

— Куда ходил?— сквозь сон поинтересовался Филимон Квасов.

— На охоту.

— Чего добыл?— в рифму пошутил Филимон.

— А енота,— не ударил в грязь лицом Боткин.

Филимон поднял голову:

— Ты что, серьезно?.. Да ведь сейчас не сезон...

— Я ж не убивал: вышел до ветра, включил фонарь, он увидел и повалился.

— Ну да! Они обычно так и притворяются! Где он лежит-то?

— В крапиве.

Филимон живо поднялся, надел сапоги и, взяв фонарь, вышел. Олег хотел было тоже встать, но Иван тормознул: «Лежи, парень». Олег вопросительно посмотрел на Боткина — Коля уже успел припасть к топке. Хлопнула входная дверь, и в избу влетел председатель.

— Ты что, издеваешься? Там кабаны!

— А мне показалось, что там енот был,— удивленно отвечал Николай.

— Я, понимаешь, полез в крапиву, включил фонарь, а они: хрю, хрю — и на меня. Ха-ам,— укоризненно пропел председатель.— А ведь старый уже человек, должен вроде бы понимать... Да что вы разгоготались? Как вам не стыдно?

— Ну ладно,— успокаивая всех, сказал Соловей,— хватит. И так уже весь сон перебили... Что с полем-то будем делать?

— С каким полем?— не понял Квасов.

— Что делать, что делать? Против железа не попрешь —

у них трактора, — Боткин угнездывал в топке большое полено.

— Слава богу, — вздохнул Олег, поднимаясь, — а то я уж решил, что никому здесь до земли дела нет.

— Вы насчет перевозки грунта? — спросил председатель. — Да, это, конечно, бесхо... — испуганно взглянул на Олега. — Да, конечно, надо что-то придумать. Можно как-то связаться с руководством, заострить вопрос, попытаться отложить его решение на более поздние сроки...

— Пошел ты, — уныло возразил Соловей, сползая с печки. — Где ж эт тебя раньше черти носили? А вдруг они завтра как раз всю почву и вывезут?

— Но иного выхода у нас нет! — снисходительно пояснил Квасов.

— Есть выход, — без радости в голосе произнес Олег. — Но — теоретический: можно ручей перекрыть, вода поднимется хоть ненамного, и машины уже вброд не пройдут. Там, кстати, в одном месте хорошая горловина — русло узкое, берега высокие, крепкие...

— Раньше по этой реке лес сплавливали, — вспомнил вдруг Соловей.

— Ну вот и досплавливались, — согласился Олег.

— А один лодочник, что на переправе работал, опрокинулся тут во время шторма и утонул — не доплыть было до берега... — Боткин жалостливо вздохнул. — Да как перекрывать будем? Надо ведь, чтоб они не смогли разрушить.

— Вы что, братцы? Что вы затеяли? Так нельзя! — взволновался Филимон Квасов.

— Хоть избу туда волоки, — покачал головою Олег.

— А комбайн не сгодится? — спросил Николай. — Возле кузни комбайн лежит, СК-4...

— Комбайн бы, пожалуй, в самый раз, — прикинул Олег. — Да как мы его дотащим? — и невесело ухмыльнулся.

— Попробовать можно, — сказал Николай.

— Это вчетвером-то? — напомнил Олег.

— Без меня, — строго сказал Филимон.

— Попробовать можно, — заключил Соловей. — Давайте чайку, что ли, да и пойдем — скоро уж светать будет.

На рассвете Олег, Боткин и Соловей направились воевать СК-4, а председатель, сказав: «Ну смотрите же», ушел в село. Комбайн стоял за кузницей, на лугу, спускающемся к реке. Сначала отвинтили все, что отвинчивалось, оставив лишь бункер на шасси, потом лопатами обкопали колеса так, что они уже не вязли в земле, а наоборот — возвышались над

нею. Наконец, с помощью ваги попытались сдвинуть комбайн с места. Шевельнувшись, он снова увяз. Пришлось таскать из деревни доски и выкладывать их на мапер рельсов до самой реки. Хорошо еще, в одном дворе обнаружился штабель хороших сосновых досок — должно, хозяева собирались пол перестилать.

Опять обкопали, опять качнули, бункер стронулся, оси заскрежетали, взвизгнули... Агрегат с воем и грохотом помчался к реке и ахнул в воду.

— Всего-то и делов, — задыхался Боткин, — а некоторые сомневались.

Но оказалось, что вода пробивается и под комбайном, и по бокам, и сквозь щели.

— Делаем так, — предложил Олег, — собираем в деревне мешки, короба, корзины, набиваем землей и укрепляем гидротехническое сооружение.

Работали до полудня. Олег несколько раз пытался остановить стариков, но: «Не-эт, паря!» — подмигивал Боткин, а Соловей тихохонько добавлял: «Я ничего, ничего — не волнуйся». Опустили мешки под шасси, законопатили дыры у одного берега, у другого, сверху и наконец запрудили: река навалилась — железа не одолела, подпрыгнула — высокий борт не пустил, в стороны — берега держат. Остановилась, затихла. И вот уже поверхность ее подернулась матовой пленкой, а вот — травинок-сушинок да скрюченных ольховых листьев понанесло.

Неясным оставалось, достаточно ли подпора для того, чтобы затопить брод, но сил для выяснения уже не было. Придя в избу, мужики рухнули и спали до поздней ночи.

— Иван! — позвал Боткин. — Худо мне, помираю.

Зажгли свет. Соловей склонился над Боткиным. Олег стиснул руками виски и замотал головой: «Это я во всем виноват!»

— Надорвался, видать, — шептал Боткин. — Помру... Иван! Иван!.. Хоть не зазря помираю-то? Не зазря? А, Иван?

— Да бросьте вы, дядя Коль! Что вы ерунду говорите? — испуганно зачастил Олег. Лицо его сделалось плоским, родинки поразъехались.

— Чего уж тут, — вздохнул Соловей. — Не зазря. Плохому делу помешали — поле спасли...

— Эх, знать бы наверняка — спасли или не спасли? А, братцы?.. — Олег кивнул и бросился из избы.

Когда он вернулся, Боткин уже сидел на кровати. Соловей понуро стоял у стола.

— Ишь ты! — сердито выговаривал Боткин. — Хотел, чтобы я прежде его убрался! Не выйдет! — и пригрозил Соловью черно-багровым указательным пальцем.

— Что? — оторопело спросил Олег. — Что случилось?

— Приступ был у него, — объяснил Соловей. — Газы подперли.

— А теперь все в порядке, — весело заключил Боткин. — А он: «Не зазря», «Не зазря»...

Олег устало сел на пол прямо у двери и закрыл руками лицо.

— А ты чего мокрый? — поинтересовался Боткин. — Чего там?

— Есть, братцы. Есть подъем! Больше метра — вон как я выкупался!

— Живсырьё ты мой родненький! — Боткин, как был, босой, прошлепал к двери, опустился на колени и, обняв Олега, ткнулся ему в плечо. Соловей пошел посмотреть окно, в котором, кроме отражения керосинового огня, ничего не было видно. Потом Коля поднялся.

— Братцы! — он натурально рыдал и не пытался скрыть этого. — Братцы! Ведь получилось же, получилось!

Соловей хмуро одернул его:

— Неча тут, готовь завтрак!

— Какой разговор?! — вскинулся Боткин, широко распахнув руки. — Сделаем!

Чай пили на улице. Вынесли стол, скамьи, самовар, праздничную посуду. Выходило солнце, в низине, над гладью новорожденного водохранилища, плыл туман.

— Теперь здесь чайки поселятся, альбатросы, — мечтательно произнес Боткин. — Буревестники прилетят.

— Хорошо, — сказал Соловей. — Когда-нибудь всем людям будет вот так хорошо.

Олег кивнул, но Боткин возразил:

— Не будет. Потому как кончатся однажды раздолбай вроде тутошнего директора, и не с кем воевать будет — тоска!

— А если не кончатся? — усмехнулся Олег.

— Тогда изведут они всякую жизнь к чертовой матери.

— Хорошо! — повторил Соловей, не внимая. — Настанет время, и в болотах болота окажутся, где был лес — лес вырастет, а на поля придут крестьяне с плугами.

— Блаженный, — покачал круглой головой Боткин.

— И не надо будет ручьи перегораживать, — вставил Олег.

— А ручьи вновь станут реками, — продолжал Соловей, — и потекут туда, куда текли.

— Блаженный, — утвердился во мнении Боткин.

Вдруг долетело из-за реки бормотанье мотора, и вскоре у брода возникли два «уазика»: один — зеленый, другой — милицейский, желтый. Люди высыпали на берег, ходили туда-сюда, размахивали руками.

— Все, мужики, — сказал Боткин. — Все, отмечались.

Не глядя друг другу в глаза и не говоря ни единого слова, Олег с Боткиным собрались и отправились к броду. Соловей по-прежнему сидел за столом и пил чай.

— И я б с вами пошел, — повинился Иван, — да хозяйство: зайцы, пасака...

— Тебе хорошо, — вздохнул Боткин. — Ты человек лесной.

— Да и вы, — Соловей поднял острые плечи, — вы тоже... люди.

Не дослушав, Боткин махнул рукой и покатился к реке. Олег зашагал следом. Постояли у бывшего брода, покумекали, как форсировать. Олег начал уже было раздеваться, но тут Коля сказал: «А, черт с ним со всем!» — и бухнулся в воду. Намокнув по грудь, они выбрались и остановились перед незнакомым мужчиной в маленькой шляпе, которому Филимон Квасов что-то тихим голосом объяснял, указывая на тот берег.

Олег с Боткиным поздоровались, но незнакомец, стоявший в двух шагах, словно бы и не слышал. Правда, милиционер подмигнул. Но что это могло означать — неведомо.

Так ждали мужики, потупив головы, стекала и стекала с них вода, а председатель, наклонившись к шляпе, продолжал что-то шептать. И вдруг незнакомец воскликнул: «Здравствуйте!»

Олег отшатнулся, а Боткин подпрыгнул даже.

— Здравствуйте, — испуганным хрипом поздоровались мужики еще раз. Милиционер вновь подмигнул, и вновь — непонятно: с угрозой или же ободряя.

Внезапно незнакомец и Филимон развернулись и, не проотившись, пошли к машинам. Боткин качнулся следом, но Олег придержал: «Команды не было». Машины поурчали и исчезли в лесу.

— Де-ла-а! — опешил Боткин.

— Опять одежду сушить, елки зеленые! — расстроился заготовитель. — Только после ночи просохла — и опя-ать!

И тут они друг на друга взглянули: Боткин был багровей

обычного, Олеговы родинки сползлись к переносице. Члены Достославного общества страдальчески покачали головами и вдруг расхохотались до слез. Потом, вздрагивая в затихающем приступе, форсировали реку обратно.

— Братцы! — донеслось. — Братцы! — На том берегу стоял Филимон Квасов. — Братцы, подождите, я с вами! Перенесите меня, а то вы уж все равно мокрые...

— А шел бы ты! — отмахнулся от него Боткин.

— Да подождите вы! Собаки наши нашлись — они, оказывается, с гончими убежали и теперь, значит, на свалке живут. Да подождите!

Охотники, не оборачиваясь, уходили.

— Расформируют, — предположил Олег.

— Едва ли, — уверенно заявил Боткин.

Соловей сидел за столом, пил чай и, слушая птиц, вздыхал: «Хорошо!»



АМЕТИСТ

Шел дождь, и автобуса не было. На станции собралось много народу, поговаривали, что автобуса не будет вообще, так как Белавинское озеро разлилось и переклестнуло дорогу. Высказывались надежды: «Хотя б до Белавина, там, может, кто на лодке подбросит», — но неизвестным оставалось, где автобус: то ли свернул назад и, стало быть, возвратится, то ли проскочил за озеро и застрял уже на обратном пути, и тогда «хотя б до Белавина» будут посылать какой-то другой автобус, с другой линии, а когда это произойдет — неизвестно, потому что всюду дожди — такая весна, и всюду автобусы застревают.

Однако явился. Шофер, спрыгнув под дождь, вткнул голову в воротник телогрейки, ссутулился и заспешил к домику автостанции, на ходу то и дело оборачиваясь посмотреть машину, которая выглядела, как и должно после долгой грязной дороги — удручающе то есть.

Войдя в помещение, бросил собравшимся: «До конца» — и скрылся в диспетчерской. Пассажиры засуетились, принялись восстанавливать очередь, живо и подробно вспоминая, кто за кем приходил, кто что в это время делал, и хотя все в минуту образовалось, гомон не утихал, и люди с яростью спорщиков сообщали друг дружке очевидное и получали в ответ не менее яростное согласие, дополненное новыми деталями вроде: «Я как раз в это время сумку с подоконника переставляла. Тама, гляди, стекло-то растреснуто, вода-то на подоконник и полилась. А у меня в сумке-то кофта. Кабы, думаю, не намокла, дай, думаю, переложу на сухое место. Тут как раз Гришуха входит, ну!» — «Дак я и говорю, что Гришуха за тобой был, ты, значит, за мной, а я — за Клавдей!» Это могло продолжаться до бесконечности, но окошко кассы приотворилось, и в сей же миг голоса смолкли.

Потом, отталкивая друг друга и ругаясь, лезли в автобус. Кричали, что места хватит, но каждый старался пролезть вперед. Один лишь Гришуха Анчуков стоял в стороне. Он, как, впрочем, и остальные, знал, что мест в автобусе двадцать четыре, а билетов продано восемнадцать. Но еще он знал, что будь не восемнадцать, а десять или пять человек, без ругани и давки не обойтись, и какая-то в этом нелепость, и тут уж ничего не поделаешь.

У деревень автобус останавливался, люди входили и выходили, прощались и здоровались, вели громкие разговоры.

Наконец добрались.

Отмыв сапоги в луже у автовокзала, Гришуха направился в центр города, где был ювелирный магазин.

Гришуха всегда с некоторой робостью входил в ювелирные магазины. Приближаясь к прилавку, он боялся увидеть нечто, что могло бы ему понравиться. Так было всегда. Но если в прежние времена, в юности, когда Гришуха приезжал в город с отцом, на прилавках случалось видеть шедевры, угнетающие своей красотой и заставляющие бегом бросаться к станку, чтобы сработать какой-нибудь перстень для самоутверждения, то в последние годы попадались все настолько грубые и убогие поделки, что Анчуков диву давался, и странные мысли одолевали его. С одной стороны, он чувствовал себя выше ремесленников, а с другой — не понимал, зачем он нужен со своим чутьем на камень, со всем изяществом работы, если магазин заполонен такой невзрачностью.

Он долго стоял над прилавком. Настолько долго, что вызвал подозрения продавщицы.

— Гражданин! Вам чего?

Подняв хмурый взгляд, Гришуха спросил перстенок с аметистом.

— Перстней с аметистами у нас нет, есть кулоны из аметистовых «щеток» — тридцать восемь рублей, — ответила продавщица с некоторым волнением, опустив руку под прилавок, где была кнопка звонка.

— Это не «щетка», — вздохнул Личуков, — а крошка, наклеенная на металл. И вообще, не аметист это.

— Как не аметист? — переспросила продавщица, не понимая, куда клонится разговор.

— А вот так. Дерьмо это.

— Гражданин! Не ругайтесь! Я милицию вызову!

— Дайте изумруд, — продолжал тему Гришуха.

— Нет изумруда, — отвечала продавщица, растерянность которой постепенно сменялась любопытством.

— Хоть какого он цвета?

— Не важно.

«Дура», — хотел сказать Личуков, но сдержался:

— Фефела!

— Как вы смее! — вспыхнула продавщица.

— Ладно, ладно, — успокаивал Личуков, — извини. А где, к примеру, гранаты? — И развел над прилавком руками. — Где опалы, агаты, александрит, аквамарин, яшма, сапфир?

Но в продавщице еще кипела обида.

— А! — махнул рукой Личуков и, достав из кармана плаща тряпочку, развернул, вынул перстень. — Гляди!

— Ну и что? — скривив губы, она возвратила перстень. — Дешевка. Тридцать рублей.

— Скажешь тоже! Тридцать рублей! — Он аккуратно завернул перстень в тряпочку.

— А рубины и александриты у нас есть. Вот, пожалуйста.

— Стекло.

— Как стекло? — не поняла продавщица.

— Так. Искусственные, мертвые!

— Ну, не знаю, что вам еще нужно, — брезгливо дернула плечиками. — И яшма у нас есть — воп булавки для галстука.

— Метро «Краснопресненская», — махнул рукой Личуков.

— Чего?

— В Москве бывала?

— Ну.

— Такой, с позволения, «яшмой» в метро стены выкладывают. Более она ни на что не годится.

— Много о себе понимаете, — буркнула продавщица, — а у самого, поди, и денег-то нет колечко купить.

— Куда мне! Тут к каждому камешку — кило золота.

— Не чета вашему.

— Это уж само собой, — усмехнулся Гришуха. — Ну ладно, пойду попытаю счастья. — И, подмигнув продавщице, прошел в комнатенку с надписью: «Скупка ювелирных изделий у населения».

За столом, склонившись над бумагами, сидел старик.

— Здравьте, Василь Михалыч!

Старик, не поднимая головы, посмотрел над очками:

— Анчуков? Давно тебя не было. Проходи, садись. Что пожаловал?

Присев к столу, Гришуха вновь развернул свою тряпочку и положил на бумаги перстень.

Это был серебряный перстень тонкой и красивой работы с большим аметистом, темно-фиолетовым, «кровяным», какие некогда добывали на Урале.

— Вещь! — не удержался старик и, взяв перстенок двумя пальцами, принялся поворачивать его так и эдак, собирая в камне свет из окошка.

Свет был сейчас мрачноват и холоден, и камень молчал, затаившись в непроницаемой черноте.

Старик встал, подошел к окну, поднял перстень, и аметист неохотно открыл глубину.

— Эх, солнышка бы! — вздохнул старик.

— Да просто денек был бы посветлее, а если солнышко — то за тучкой, чтоб не прямой свет.

— Ну это конечно, чтоб не прямой, — с пониманием согласился старик, — да что тут будешь делать! — прошел к двери, щелкнул выключателем, — лампа вспыхнула, вернулся к столу и поднял перстень.

Гришуха поморщился, предчувствуя боль, и глянул на камень: понав под прямой свет, аметист полыхнул и, отбиваясь от электричества, яростно вышлепнулся кровавым сиянием. Гришуха даже глаза закрыл, но и под веками все было кроваво-красным.

Старик, не выдержав зрелища, положил перстень на стол.

— Да, брат, — только и сказал он. А камень, лежавший

теперь боком к свету; несколько успокоился, поостыл, сделался темно-лиловым, и лишь в глубине его горели кровавые искорки.

— Да-а,— шепотом добавил Василий Михайлович,— сильная вещь.

— Вот,— пробурчал Гришуха,— а продавщица тридцатник предложила.

— Ну, это она по молодости.— И, глядя на перстень и что-то про себя думая, старик вдруг спросил:— А ты как вообще-то живешь?

— Все так же.

— Все этим... сторожем работаешь?

— Да,— усмехнулся Гришуха,— ночным дежурным по маслозаводу.

— Денег, поди, не хватает?

Гришуха пожал плечами.

— Ну и как перебиваешься?

— Так и перебиваюсь.

— Ну, а огород там, сад?

— Некогда. Все время гроблю на это дело,— ткнул пальцем в перстень.

— М-да. А жена не ворчит?

— Ворчит,— Гришуха вздохнул,— еще как ворчит. Все ж ребятишек двое.

— М-да. А чего ж так мало продукции выдаешь?— улыбнулся старик.— Раз в год и приносишь по камешку.

— Да-к дело такое! Пока... придумаешь перстенок, да пока сработаешь, да с тыщу раз переделаешь, чтобы самое то получилось...

— Это конечно,— согласился старик.— Перстенчек твой — загляденье. И скань тут есть, и чернение, и чеканка! Сказочная работа... И все-таки в год по камешку — не проживешь. Надо, брат, посерьезней работать,— осторожно заметил старик.

— Что это вы имеете в виду?— не понял Гришуха.

— Да ничего.— смял старик разговор,— так...

— Василь Михалыч, что вы все темните?

— Экой нетерпеливый! Молодой еще, значит... Ладно: триста пятьдесят. Но столько — не дам.

— Давайте триста.

— И триста не дам. Покупателей нет. Могу дать только сотню.

— Ну что вы, Василь Михалыч, вы ж понимаете...

— Я понимаю, но и ты пойми... Есть, правда, один

вариант, — старик, прищурившись, посмотрел на Гришуку, — ежели ты свое клеймишко на другое заменишь...

— На какое — другое?

— Ну, скажем, на отцовское или какого-нибудь еще старого мастера, — подберем!

— Зачем же? — обиделся Гришука.

— Зачем, зачем... Ты, брат, работаешь так, что вполне можно пустить твои перстеньки с именитыми клеймами, а это в цене.

— Не пойдет, — отрезал Гришука, — вы мне и в прошлый раз намекали, я понял...

— Намекал. И надеялся, что поладим. Оттого и заплатил в прошлый раз соответственно и даже кое-что потерял на этом...

— Сколько?

— М-м... рублей эдак тридцать пять — сорок...

— У меня есть восемнадцать рублей... Вот, пожалуйста! Восемнадцать с копейками. Двадцатник я вам по почте пришлю.

— Копейки оставь — пригодятся. И вообще зря ты так! Получил бы сейчас столичник — и никаких долгов! Или сто рублей для тебя уж не деньги?

— Для меня и рупь — деньги, но... А!

— Ну и куда пойдешь, куда понесешь?

— Да хоть в соседнюю область!

— Валяй! К Лехе Егорову! Как явишься, он сразу мне позвонит, мол, твой клиент появился — сколько платить?

— Ну и черт с вами со всеми!

— Как знаешь...

«Эх, беда, беда, беда, — думал Гришука, стоя на крыльце магазина. — Денег нет, а долгов — двести рублей. Тьфу, двести двадцать... Или впрямь дело мое никому не нужно? И отчего так? Дед работал — годилось, камешки теперь по музеям лежат. Отец работал — годилось, цельной артелью командовал. Артели уж давно нет, один я остался — и никому не надо. Беда! Как же я теперь домой завалюсь? Без денег, без подарков?..»

Он не видел, что из-за витрины наблюдали за ним.

— Я ж сказала — дешевка!

— Дура ты! — оборвал старик.

«Делать нечего», — завершил свою мысль Гришука и пошел на автостанцию. Но автобуса сегодня не предполагалось, предполагалось, что сегодня уже ни один хозяин ни единой машины на дороге не выгонит.

Домой попал Анчуков лишь на следующий день. Жены в это время не было. Она пришла с фермы вечером.

Старший сын не спал:

— Мам! Перстень у папки не купили, но ты не ругайся, мам! Он сказал, что больше не будет камни точить и на хорошую работу пойдет. Огородом займется, а, мам? Не ругайся!

— Где он есть-то?

— На чердаке, спит.

— Чего не в горнице?

— Боялся, видать, что ты заругаешься, разбудишь его, а он сильно устал — пешком шел.

— От самого города?!

— Ну.

— Да что он — рехнулся, что ли? Камни чертовы, будь неладны!

— Не ругайся, мам, он уже и станок разломал да в чулан снес.

— Чего?.. Ладно, иди спать, иди, — и взялась разбирать беспорядочно сваленное на печь шмотье. Вытащила из карманов мужниного плаща тряпочку, развернула, осторожно взяла перстень и нацепила на безымянный палец левой руки: «Ишь, засверкал, окаянный!»

Потом, сбросив телогрейку, прошла в комнату, засветила ночник и, открыв шкаф, достала новую сиреневую кофточку.

Глядя в зеркало, она то прикладывала левую руку к груди, то поправляла волосы. Тихая, тайная улыбка озаряла ее лицо. И камень отвечал этой улыбке теплым мерцающим светом.

Неохотно оторвавшись от зеркала, вздохнула, покачала головой и пошла в сени. Выволокла из чулана похожий на сковородку шлифовальный диск, бочонок электромотора, какие-то ремни, железки, которые были, неизвестно, от станка или сами по себе, перенесла все это в Гришухину комнату-мастерскую, сложила в уголке.

Потом слазила на чердак. Гришуха, завернувшись в тулуп, спал у печной трубы. Удостоверившись, что он ни жаром не пышет, ни от холода не околел, она и сама спать отправилась — рано утром снова надо было идти на ферму.

Попыталась снять перстень — не получилось. «Ну и сиди, коли такой упрямый». — И погасила ночник.

Не было за окном ни звезд, ни луны, ни огонечка какого — одна беспросветная ночь. Лишь в глубине камешка мерцала малая искра.



(Из путевого дневника)

Тихим весенним вечером стоял я на крыльце деревянного дома и прислушивался: у реки, в затопленных половодьем лугах, кричали утки, далеко где-то, настраиваясь на завтрашний ток, бормотал тетерев, потом, в сумерках уже, потянул краем деревни вальдшнеп... Все это слышал я и на другой день, и на третий, не слышал вот только выстрелов. Охота в районе, правда, была закрыта, и тем не менее... Сколько раз ведь доводилось слышать пальбу во внеурочное время, а тут — ни одного выстрела: ни близко, ни далеко. Краткого весеннего сезона охотники всюду ждут, всюду к нему готовятся. Ждали, конечно, и здесь, но за два дня до предполагаемого срока открытия стало известно: ружья придется попридержать в чехлах.

Хозяин дома, в котором я остановился, страстный охотник, ходил ночью в лес пересчитать глухарей на току, ходил без ружья. Утром я заинтересовался, не слышал ли он выстрелов. Оказалось, что не слышал.

— Как можно? — искренне удивился он. — Ну я, к примеру, мýкнул бы глухаря, а как в дом бы его принес, детям бы как показал? Охота отменена, а я — с дичиной дак. — Человек совестливый и простодушный, он был, похоже, изумлен тем, что приходится объяснять столь очевидную истину.

Зовут его Саша, Александр Тюкачѳв. Тридцать три года ему, работает сборщиком живицы, иначе — вздымщиком, в глухом вологодском лесу.

Теперь причины определенного благополучия в жизни зверей и птиц этого лесного участка мне хорошо известны, а тогда многое казалось непонятным и вызывало недоверие. Через несколько месяцев, осенью, оказавшись вновь в тех местах, я беседовал с районным охотоведом — совсем молодым парнем.

— Нет, не все благополучно у нас, — вздохнул он. — Петли на лосей и медведей ставят — три штуки только что

сам снял, бобров незаконно отлавливают... Знаю кто, а за руку схватить не могу: они — вон где, — охотовед указал на угол карты района, — а я — здесь. Дороги у нас — сами знаете — не во всякую пору проедешь, да и машиненка моя, ГАЗ-69, три дня в году на ходу. Она ж старше меня... Как за всем районом-то углядеть? Четыре охотхозяйства, а егерских ставок — две. Вот и выходит, что полрайона практически без контроля. А что такое егерская ставка? Егеря ее окупили бы, сдавая государству и мясо и пушнину. А главное — надзор был бы, учет, охрана. Ведь и сейчас на этих бесхозных территориях берут копытных, пушнину, и, скорее, не в меньших, а в больших количествах, чем допустимо, и кто — браконьеры! Я уж не касаюсь моральной стороны дела...

Охотовед говорил с сожалением.

— Стало быть, — заметил я, — вы полагаете, что две егерские ставки решили бы проблему борьбы с браконьерством в районе?

— Да, — подтвердил он без колебаний.

— Каким же образом?

— Ваяли бы в егеря хороших ребят, — отвечал он вполне серьезно, — вот и все.

И пожал плечами.

— У вас уже и кандидатуры есть? — поинтересовался я, думая между тем о свойственной молодым легкости в принятии решений.

— А как же?! — воскликнул охотовед, почувствовав, кажется, мое недоверие. — Конечно, есть! Работали бы — и был бы порядок, как у Каликина. Это в его хозяйстве, кстати говоря, вы были весной.

Я еще попытался выяснить, каких людей охотовед полагает хорошими, но он только махнул рукой:

— Хорошие, они хорошие и есть. Каликин, скажем...

И вот мы с егерем Дмитрием Григорьевичем Каликиным сидим в старинной его избе — черной снаружи, сосново-бронзовой изнутри, пьем чай с медом и разговариваем. О зверях, птицах, травах, о пчелах, о плотницком ремесле, о том, как красит горницу открытая, чистая древесина и как уродуют обои, которыми, из-за потери чувства меры в стремлении равняться на город, оклеивают теперь стены даже в самых глухих деревнях.

Каликину за пятьдесят. Невысокий, подвижный, жилистый, с обветренным лицом, с лукавой, располагающей к обещанию улыбкой. Он — человек бывалый: много пешком похо-

дил, много поездил, много чего повидал. Когда уже достаточно переговорено, я спрашиваю, как обстоят дела с браконьерством. Каликин задумывается, стараясь отыскать в памяти что-нибудь соответствующее теме, потом разводит руками: «Никак, дак». На просьбу поделиться бесценным опытом вновь разводит руками.

— Не знаю, дак. Специально ничего вроде не делаю. Конечно, хожу по лесам да лугам каждый день, не просто так, понятно, хожу, забот много: биотехния, учет, бобров отлавливаю, мелкую пушнину добываю... Да и вообще, знать надо хозяйство-то, как же иначе? Так что хожу, смотрю, слушаю... Без ружья, правда, хожу, лишний вес оно. За год раз, поди, только и брал ружье-то — когда медведя отстреливали. Много у нас его, медведя-то. Нынче, словно нашествие, дак..

— Охотхозяйство ваше не маленькое: на одном конце выстрелит кто — на другом не услышишь.

— Ясно дело! Ну да на том конце и без меня есть кому за порядком глядеть.

— Кому же?

— Охотникам, дак, ну! Такие ребята есть!

— Какие?

— Хорошие...

Прежде чем продолжать разговор о браконьерстве, я вновь попытался, на сей раз у Каликина, выяснить, что ж за этим словом скрывается. Кивнув, он с ходу ответил:

— Честные, дело знающие.

Иначе говоря, более всего ценил он честность и профессионализм, причем профессионализм не в смысле служебной принадлежности, а как критерий уровня знаний, умения, мастерства. Именно так.

За окном ночь. Стылая, ветреная, с дождем... Каликин обещает отвести меня завтра «в одну деревню верст так за пятнадцать», чтобы познакомиться с «хорошими ребятами, на которых, в общем-то, лес и держится». Но, как известно, человек предполагает, а обстоятельства, бывает, распоряжаются и по-своему: в то время, когда мы строим планы, через пару дворов от нас, в чистой горенке, жизнь тихо оставляет древнюю старушку — дальнюю родственницу Каликина, и утром, узнав об этом, егерь с виноватой улыбкой говорит:

— Иди, буде, один... Надобно, вишь, домик выстрогать, дак некому, кроме меня.

Он объяснил мне, как добираться, и тут выяснилось,

что «хорошими ребятами» Дмитрий Григорьевич называл моих знакомых: Тюкачева и его друга, лесничего Юрия Зарянского. Так я вновь встретился с Тюкачевым, снова гостил у него, ходил с ним в лес, почевал в его охотничьей избушке, расспрашивал, присматривался, стараясь точнее определить, каков же тот человек, на котором «лес держится».

Начать, вероятно, надо с того, что человек этот — охотник. Охотник одержимый, страстный — вся его жизнь ориентирована на охоту, как магнитная стрелка на полюс. Он и работу себе подбирает такую, чтобы побольше находиться в лесу. «Оставь Тюкачева без леса — враз и помрет», — говорит его жена, Павла, относящаяся к мужниной увлеченности с уважением и терпеливо. Да, охота для этого человека — состояние души, он настоящий охотник.

Конечно, кое-кого последнее обстоятельство смутит: мол, как вдруг охотник оказался в роли защитника птиц и зверей? И это будет естественной реакцией, например, горожанина, имеющего не слишком обширное представление о природе.

А сельский житель испокон веку почтительно относился к охотнику, так относится и сейчас и вовсе не склонен связывать с его деятельностью понятия «зло», «жестокость» (хотя и охотничья семья, что называется, не без уroda), и для сельского жителя нет равным счетом ничего неожиданного, необычного в том, что слова «охотник» и «охрана природы» оказываются рядом: кому же охранять природу, как не охотнику?

Действительно, кому же? Ученых-экологов в пересчете на душу звериного населения невероятно мало, а из прочих людей, заходящих в лес, никто, кроме охотника, о нуждах и заботах зверья представления не имеет, и, значит, никому, кроме охотника, до забот и нужд этих дела нет: ни вальщикам, вырубаящим глухариный ток, ни мелiorаторам, осушающим клюквенное болото, ни связистам, ни электромонтерам, ни дорожникам, ни геодезистам, ни геологам, ни даже лесникам. Все они заняты выполнением своих служебных обязанностей, и должностные их инструкции не включают в себя, как известно, цитат из Брема. Потому, если эти люди не охотники, интересы зверья не всегда будут учтены. Что же охотник?

Александр Тюкачев работает за шесть километров от дома: хочешь — каждый день бегай туда и обратно, хочешь — ночуй в лесу, в избушке. На участке есть глухариный ток,

небогатый (да и вообще угождая здешние богатыми не назывешь), но численность глухаря на нем стабильна. Спрашиваю, что будет с током после окончания срока подсочки (в подсочку сдаются участки, предназначенные к вырубке через восемь — десять лет), выясняю, что рубка здесь будет не сплошная, что те спелые сосны, которые отмечены особым вниманием глухарей, Тюкачев намеревается сохранить, что вокруг этих сосен есть подрост и подрост этот, быть может, в ближайшем будущем как-нибудь скомпенсирует в глазах глухарей ущерб, нанесенный рубкой. Если же этот вариант не устроит птицу, предлагается другой: к участку примыкает широкая сосновая, тянущаяся меж болот гряда (там и сейчас, случается, глухари токуют, но не очень дружно), так вот гряда эта вырубке не подлежит — занимайте, пожалуйста. Наконец, третий вариант — переход за болото. Раньше, рассказывают старики, там был огромный ток, но перед войной сосняк вырубил. Теперь бор этот восстанавливается, и Тюкачев все чаще и чаще встречается там глухарей.

Спрашиваю еще, как относятся глухарки к каждодневному присутствию человека возле гнезда, и выясняю, что при первой встрече «вскакивают, конечно, и отбегают, потом места эти обходишь и какое-то время деревья возле гнезд не трогаешь, а потом привыкают: видят, что ты их не обижает, и бояться перестают».

Сосед Тюкачева по лесу (он же, кстати, и сосед по деревне) — не охотник, пришлось обучать его деликатному обращению с глухарками. Научился, и в прошлом году две маманши выбрали его участок для гнездования.

— Не уберegli одну, — с досадою вспоминает Тюкачев. — Сосед приходит раз: мол, бегают она, орет, яйца пропали. Потом нашел я скорлупу. Под гнездом черных воронов. Пришлось их прогнать с участка.

На вопрос, много ли глухарей он добывал, Тюкачев отвечает:

— Если охота открыта, возьму лицензию, принесу домой одного молодяшечку.

— Чего ж не матерого — куда крупнее?

— Баские больно, пуцай на племя...

Живет еще неподалеку от избушки и «баский больно» лось, тоже «на племя».

— Такие красивые рожки делает! Всякие видывал, но у этого — красота! Находил я по весне, бывало, рога евоиные — да пораздарины все. Старый уже, седой, но в пору

еще — здоровый бычище. Года два еще, думаю, протянет, потом состарееет совсем, придется нарушить — нельзя ж такого волкам на измывательство оставлять.

Тюкачев с Зарянским ежегодно выполняют значительную часть районного плана сдачи государству лосиного мяса, при этом поголовье лосей на территории, где они постоянно охотятся, не убывает. Стадо это находится словно на беспривязном содержании у охотников: Тюкачев и Зарянский заготавливают для лосей солонцы, подрубают на подкормку осины. Каждая особь стада известна охотникам, что называется, «в лицо», и процесс охоты сводится практически к выбраковке особей, наименее ценных для стада. Несмотря на то что проводить все эти мероприятия вдвоем весьма и весьма непросто, Тюкачев с Зарянским предпочитают обходиться без традиционных команд в восемь, десять, двенадцать человек, справедливо утверждая, что охотиться нагоном хотя и проще, да шумнее — разбегается зверь.

Жил на участке Тюкачева старый медведь, много лет жил. Человек давно изучил привычки и маршруты зверя, зверь — маршруты человека, пути их пересекались только при переходе через ручей, но и тут, на мокром песке, они старались не попадать в след друг другу. Весной пришел еще один медведь, судя по отпечаткам лап — не крупный. Прошел опушкой вдоль ручья, переворочил муравейники, оставил задиры на деревьях, заглянул на просеку, по которой ежедневно ходил Тюкачев, здесь муравейники не тронул. «Грамотный, — оценил Александр, — как вот только со стариком поладит?» Поладили. Первое время, правда, то с одной, то с другой стороны долетал до избушки ночами медвежий рев, но постепенно утряслось — и молодому хватило места.

А в ручье возле самой избушки четвертый год уже выводит потомство кряква. Тюкачев расширил и углубил ей омут, чтобы и в сухое лето вода не переводилась. Я спросил, не покушался ли кто-нибудь на утку. «Нет, конечно. Разве можно? Да и кто тут обидит ее?» Действительно, — подумал я, — какой недобрый человек сунется сюда, зная, что по этому лесу всякий день ходит не обделенный ни силой, ни выносливостью, ни упорством Александр Тюкачев, да рядом с ним работает еще и его приятель, а кроме них там запросто может оказаться лесничий, и никакое злое дело от них не скрыть, потому что они знают этот лес, знают его обитателей и будут преследовать за нарушение, добиваться наказания... То есть, перефразируя слова охо-

товеда, здесь верх взяли честные охотники. И ведут хозяйство они образцово, опираясь в деятельности своей на древнейший, многократно апробированный принцип природопользования: что посеешь, то и пожнешь. Принцип старый, но актуальности не потерявший. А они — точно как дед Мазай. Отличный, кстати сказать, охотник был — честный, профессиональный.

Что же такое охотничий профессионализм? Приходится иногда встречаться с представлением об охоте как о непрерывной пальбе. Между тем лес (озеро, болото, луг, поле, степь) и при самой высокой плотности животных — далеко не скотный двор и не птицефабрика, где все население под рукою и все — на глазах. Безграмотный охотник и в наипрекраснейших угодьях хоть неделю будет ходить, а дичи не заметит. Некоторые всю жизнь так и охотятся, надеясь лишь на случайные столкновения. Другие, не желая мириться со своей незадачливостью, начинают присматриваться, изучать следы и повадки животных, знакомятся со специальной литературой, то есть становятся в большей или меньшей степени натуралистами. И чем сильнее любовь к природе, тем далее по пути исследователя проходит человек, что же до охотничьей страсти, то она диалектически вполне уживается с этой любовью.

Характерная деталь: как только специальные знания, опыт достигают уровня, позволяющего добывать дичь того или иного вида без труда, страсть к охоте на эту дичь заметно смягчает, потому, скажем, так спокойно относятся Тюкачев к глухарям, лосям. Волки — другое дело. Волков много, как и повсюду в Нечерноземье, охота на них сложна и невероятно трудоемка. Во-первых, надо изготовить несколько километров флажков, во-вторых, выследить стаю... Назавтра выясняется, что волки из оклада ушли и, значит, снова надо их догонять, выслеживать, окружать, но на сей раз они причуяли охотников и не дали себя офлажить. Волки — дальше, охотники за ними... Рассказывая о мытарствах с волками, Тюкачев временами останавливается на полуслове, умолкает, должно быть обдумывая еще раз причины неудач, и по лицу его видно, что мысль напряжена — да, охота на волков это, кроме всего прочего, и оперативно-тактический расчет, крайне трудно перехитрить, а точнее — переиграть невероятно сообразительного хищника. Но — надо. Слишком велики потери домашнего скота, диких копытных, а, скажем, гончих собак на весь район: осталось лишь несколько: услышав лай, волки спешат на-

перехват и необыкновенно легко снимают собаку с гона. К приходу охотника от его любимого Догоня или Читая остаются, как правило, рваная шкура да кости.

Воют Тюкачев с волками, воют... Казалось бы, все активнее, все успешнее, однако численность их не убывает. За день до моего отъезда резко похолодало, легла пороша, и на обочине дороги увидели мы печатный след: «Волчок, — кивнул Александр и указал на противоположную обочину: — А вон второй и третий...» Да, по той стороне след в след прошли два волка.

— Ну вот: этих — три штуки да у меня «своих» два, которые по просеке мимо избушки гуляют, — опять компания собирается. Надо еще хотя бы километр флажков нашить...

Вот в таких заботах и проходит жизнь.

— А как же иначе? — недоумевает Тюкачев. — Это ж все: птицы, звери, лес — свои ведь заботы, свои! Ну, как дети, работа, дом — понимаешь?..



«ВОЛК»

В тихом степном селе где-то на Украине, где в июле жаркие дни, красно подсвечены облака закатом, а вечерами плывет по реке ласковая песня паромщика, доживал дед Сережа последние дни. Лет ему было много, и покидали силы — самое, чтоб помереть, подходящее время.

Проснувшись с солнцем, вежливо будил он своего постояльца Исаченку, доставал кое-чего съестного, а постоялец варил кофе — напиток, к которому дед Сережа за два месяца знакомства с Исаченкой вполне привык и даже пристрастился.

Деду было радостно, хотелось поговорить, но он знал постояльца достаточно, потому глядел себе, улыбаясь, в окошко и настороженно прислушивался — не заговорит ли

сам Исаченко, ведь, бывало, сидит, сидит так, уставившись в стол, ест, пьет, что — не видит, потом вдруг ни с того ни с сего и заговорит. Но такое редко бывало — очень уж много Исаченко думал о своих делах, и очень серьезно.

Позавтракав, Сережа выходил во двор, садился на верстак и закуривал длинную сигарету с фильтром — Исаченкино угощение, — от которой приятно туманилась голова. Скоро, толкнув дверь, являлся и постоялец с планшеткой на поясе, осматривал автомашину, укреплял за ветровым стеклом белую картонку с красной полосой наперекосяк, садился за руль и, прогрев двигатель, рвал с места. Пахло бензином и потревоженной пылью. Дед докуривал, по-прежнему улыбаясь, и смотрел все куда-то, где его слезящиеся глаза уже ничего не видели, но не расстраивался, зная, что и видеть-то, кроме степи, там нечего.

Потом Сережа брал в левую руку зубило, в правую молоток и принимался за работу. Работа его — дотесать каменное дерево — была несложная, если бы деду не взбрело вдруг сделать кору на манер ивовой — в глубоких бороздках, которые для придания серому граниту черноты полировались. От такого добавления работа затянулась, но теперь уже подходила к концу: оставалось лишь подправить и отполировать последнюю бороздку.

Трудился дед не спеша, как и всю жизнь. Аккуратненько, снимая зерно за зерном, готовил поверхность к шлифовке и не мог нарадоваться послушному и выносливому инструменту (Исаченко привез ему несколько зубил с победитовыми наконечниками).

К полудню, когда становилось совсем жарко, Сережа снимал рубаху и оставался под солнцем — загорелый, с узкой выпуклой грудью, такой тощий и жилистый, что казалось, не мышцы, а струнки под кожей, звеняще натянутые, и не дают коже прилипнуть к костям. Постепенно руки старика, грудь, лицо покрывались налетом белой каменной пыли, а в ямках за ключицами собиралась гранитная крошка. Но Сережа не чувствовал этого или не обращал внимания, занимался работой, и струнки вздрагивали, перебираемые привычной мелодией.

Исаченко тем временем мотался по округе, объезжая действующие и заброшенные карьеры, где работали его техники-лаборанты, и возвращался домой поздно вечером измученный совершенно, но после ужина долго еще сидел у лампы, рассматривая образцы.

В такие минуты Сережа неизменно наблюдал за ним

и в ожидании разговора предавался размышлениям. Сначала постоялец не нравился деду. Ничем. И неразговорчивый, и очень поспешный... Сережа не встречал таких дерганных и торопливых людей. К примеру, вспоминал паромщика Оську, как тот, свесив ноги, сидит с удой на понтоне, голова набок, дремлет, уклею ждет. Или милицейский работник Василь: подойдет к плетню, облокотится и смотрит, как Сережа камушек обрабатывает. И смотрит себе, и смотрит. И за-ради бога. А Исаченко? Вот он теперь держит в руках кусок руды. Глазища исподлобья, веки дрожат от напряжения, под глазами кожа сине-желтая, мешками висит от гляденья эдакого да от недосыпанья еще. А все спешит, спешит. И сейчас спешит. Повертит образец, отбросит, схватит другой, и ну его глазами царапать! Не нравилось это Сереже: «Хищность»... Грешно было сравнивать человека с волком — вреднучей тварью, и смущался старик, однако, глядя на постояльца, все куда-то спешившего, все беспокойного, то настороженного, то яростного, другого слова не находил: «хишный» взгляд, «хишные» движения, и как ходит, и как хлопает дверцей машины, и как с места берет — «хищность»...

Но со временем узнал Сережа от Исаченки, а больше от своих земляков-приятелей, о работе Исаченкиной группы, о поисках редких металлов, которые нужны были ракетам, спутникам, самолетам, и сообразил: это другая жизнь, поспешная, новая — просто другая жизнь, и в ней, соответственно, требуется новая быстрота. Так в мыслях Сережи произошел передвиг. А дальше вот еще что: как дед определял себя? Ну, тесал камни: гранитные плиты для набережных, торцы для дорог. Насквозь пропитался каменной пылью — и глаза испортил, и дышало, и, кажется, кровь в нем была пополам с камнем, ведь к утру спина так тяжеле-ла, что и не подынешься сразу: «пыль улеглась», — заключал дед. Но плиты и торцы, работанные Сережей, расселились по многим землям, а камни-то эти из той же пыли, что у деда в груди — родство есть? И Сережа чувствовал свое родство с далекими большими городами, которых никогда не видел, но представлял по газетным картинкам. С каменными шоссеками, перекинутыми через такие расстояния, что будь здоров!

Теперь — новое: от этой самой руды пыль в нем тоже, наверно, есть? А если мало (все-таки ведь обходили каменотесы «железку»), можно взять в руки Исаченкин образец и тогда... Можно выйти вечером на крыльцо, когда небо

погасло, воздух неколебим и не слышна уже песня паромщика, и ждать. И, добродушно ворча, проползет высоко над тобою, где-то меж звездами самолет, и представляй себе сколько хочешь, как в нем сидят на скамейках люди, посматривают в окошки и, может быть, видят огонек твоей хаты — опять же родство! И, наблюдая за Исаченкой, Сережа думал теперь о нем без неприязни, вовсе уважительно. Другая жизнь! В куске руды дед, щуря слабые глаза, все-то узнавал спутники — «шары с дручками», востроносые ракеты, самолеты огромные. И над всем этим — лицо Исаченки, который должен все схватить, понять, решить и что-то сделать.

...Но вот пришел тот час, когда Сережа, бросив на верстак зеленую от полировальной пасты фланельку, сказал: «Шабаш». Садилось солнце, и над селом висели красно подсвеченные облака. Стадо гусей по пыльной улице возвращалось с купанья. У каждого огорода останавливались, просовывали в плетень длинные шеи и, щипнув травы, шли дальше, степенно, неторопливо. «Шабаш», — тихо сказал Сережа.

Ночью дед поинтересовался у Исаченки, не может ли тот взять выходной. «Хоть завтра», — сказал постоялец. «Завтра не трэба», — отвечал дед. Ему нужны были еще два дня, чтобы спокойно оглядеть свою работу. Нет, недоделок не оставалось, дерево было завершено, Сережа выполнил, что задумал. Два дня нужны были ему, чтоб оценить задуманное, чтобы убедиться в своем согласии с ним. Вдруг что-то не понравится? Высота дерева, толщина? Расположение сучьев, цвет камня? «Что тогда?» — спросил себя Сережа и в ответ вздохнул.

На третий день поутру Исаченко ходил вокруг камня, щупая и рассматривая. Это был двухметровый комель старого дерева, сантиметров тридцать в диаметре, с четырьмя коротко обпиленными сучьями в верхней части. Срезы ствола и сучьев были отполированы. У основания чернел вытесанный и полированный квадрат с фамилией деда, датой рождения и черточкой, за которой пока ничего не было. Основание представляло собой полуметровую пирамиду: сильно расширяющуюся книзу — это шло в землю.

Памятник обмотали одеялами, привязали с одной стороны доски. Исаченко снял с «газика» брезентовый верх, подогнал машину к верстаку, и с помощью двух веревок — одной свободной, другой — пропущенной вокруг столба электрической линии, сначала наклонили, а потом аккуратно

опустили памятник в кузов. Исаченко хотел ехать, но Сережа, взглянув на солнце, попридержал: «Рано». Дед договорился с милиционерским работником Василем о подмоге. Тот обещал двух «пятнадцатисуточников», но мужики с утра повинность отбывали на сенокосе и в распоряжение старика постунали только с обеда. «Ну что ж, — Исаченке не терпелось поскорее разделаться с памятником и, плюнув на выходной, ехать на буровую передвижку, — придется ждать». Пошли в хату. Сережа накрыл на стол.

— Может, выпьем? — робко поинтересовался старик.

— Не хочу. Мне еще сегодня работать. Да и жарко.

Потом Исаченко погнал машину по булыжной дороге. Дед боялся, что камень треснет, просил ехать «не швидко», Исаченко только кивал в ответ.

Свернули на пыльный проселок и вскоре остановились. Слева была окаменевшая роща. «Мать честная!» — изумился геолог. Дед указал место, еще подъехали, вышли. Пока Сережа, посматривая то на землю, то на солнце, прикидывал что-то, Исаченко гулял. Это был фантастический лес! Каких только деревьев здесь не встречалось: из пегматита, габбро, разноцветных гранитов, обшипенные и обломанные, мелко-лесье и толстые пни, низкие и высокие, гладкие, как молодая береза, и щербатые, как вековая сосна...

— Дед! А грибы случайно здесь не растут?

Сережа молча отмерил шаги.

— И кто это придумал, дед?

— Ты, поличонок, — указал рукой.

Исаченко прошел взглянуть. На белом с крапинами березовом стволе гранит-порфира стояла польская фамилия и ниже — столетней давности года. «Двадцать четыре», — вычислил Исаченко.

— От чахотки помэр, — объяснил дед. — Почуял, что умираю, срубил в ядилью та и помэр.

Исаченко полюбопытствовал, все ли каменотесы сами рубили себе памятники. Оказалось, почти все. Кроме погибших от обвалов и других внезапностей жизни. У этих не деревья были, а просто плиты.

Наконец Сережа обвел квадрат. Достав из машины лопату, Исаченко взялся за дело. Оно было несложным: «мелкий шурф в легком грунте». За десять лет полевой работы Исаченко выкопал, наверное, сотни шурфов.

В полчаса была готова необходимая ямка с тремя вертикальными стенками и одной пологой, чтобы опускать камень. В это время подошли мужики. Поздоровались, сели пере-

курить. Из разговора Исаченко сообразил, что оба работали перфораторщиками в рудоуправлении, выпили, разодрались (это легко угадывалось по физиономиям), теперь отбывают краткосрочное наказание. Мужики были дюжис. Легко стащили памятник наземь, распаковали, и камень по доскам соскользнул в ямку. Поставили «на пона». Взяв гайку у Исаченки, смастерили отвес. Проверили. Удивились: дно было идеально ровным, и памятник стоял без перекоса. Засыпали основание. Исаченко предложил мужикам в машину, те отказались: «Трэба доробить».

— Что доробить?

— Та могилку.

— Какую могилку?

— Ну як же? — Вылупили глаза мужики.

Сережа рассеянно улыбнулся.

Потерявшийся Исаченко сел за руль и нерешительно тронул стартер. До сих пор он полагал, что камень это так, загодя, наперед, и не придавал значения дедовым разговорам, а теперь в нем шевельнулось предчувствие реальной беды. Туно глядя перед собой, он вел автомобиль на первой скорости и машинально поправлял руль, чтобы не свалиться с дороги. Сережа, свесив голову за окошко, вдыхал ветерок и смотрел, как убегают назад торцы шоссейки. И сердце его переполнялось детеккой, счастливою беззаботностью.

Дома, подойдя к столу, Исаченко очнулся. Схватил образец, повертел недолго и, забыв про все, стал вдруг обычным, прежним. Он рассматривал образцы через увеличительное стекло, стучал по ним маленьким молоточком, царапал ножом, наносил краской какие-то цифирки, шпел в тетради, и все это торопливо, порывисто. Сережа понимающе кивнул сам себе, вышел во двор и, завалившись на верстак, уставился в небо.

Возвращаясь теперь с работы, Исаченко обнаруживал в доме окурки папирос — каждый день кто-нибудь заходил прощаться с Сережей. А однажды, подслушав печально болтовню на карьере, Исаченко понял, что о предстоящей дедовой смерти говорят совершенно спокойно, и, оказывается, есть даже рабочий, который обещал старику выбить на камне вторую дату. Исаченку ошеломило. Он набросился на старика: «Как можно? Зачем сдаваться?» Он говорил: «Пока есть силы, необходимо работать. Жизнь слишком коротка, чтоб добровольно отдавать хоть день! Хоть час!»

Старик смущенно улыбался в ответ. Ведь Исаченке не понять, ведь Исаченко из другой был жизни. Он сидел

со своею железкою над ракетами и прочей внушительной техникой, цепко связав все яростными глазами.

— Надо работать! Работать!

— Не трэба,— спокойно улыбнулся старик.— Я уже усе сробил.

— Ну, черт возьми, поставь памятник бабке, что ли?!

Но у бабки, оказывается, была плита, а памятника ей не полагалось.

— Сыновьям!

Но сыновья лежали в далекой чужой земле, куда, конечно, Сережа не мог добраться.

— Бред... Идиотизм какой-то... Столько радости на земле...— Исаченко пожал плечами, не найдя, что сказать дальше.

Ах, сколько радости на земле, сколько света! Сережа знал. Знал, какое бывает небо, какая степь. Знал, как весной, восторженно трубя, пройдет над головою первый аист, и отражение его белым парусом скользнет по реке. Сережа много чего подобного знал и улыбнулся в ответ.

Теперь время от времени дед давал разные указания, как и что делать Исаченке, когда тот останется один в хате: у кого спросить молока, где взять дрова для печки, куда прятать еду, чтобы не испортилась и чтобы осы не набились. Кого позвать, когда старик умрет... Исаченку эти разговоры приводили в бешенство, но, сдерживаясь, он принимал их к сведению. А старик между тем стал вовсе плох. Лежал себе на топчанишке и медленно расставался с жизнью. Как-то утром, подойдя к деду, Исаченко попробовал пульс — едва прослушивался. «Что ж делать-то, черт возьми? Надо же что-то... Врача надо, нельзя же, чтоб человек вот так вот на моих глазах...»

Погнал машину в рудоуправление, нашел медпункт.

— Кто старший?

— Я,— ответил мужичок в белом халате, не отрывая взгляда от огромной мухи, которую он вырезал из плаката.

— Дед Сережа плох. Надо помочь как-то.

— А чего помогать?

— Да посмотрите хоть, чего с ним!

— А с ним ничего,— пробормотал фельдшер, поглощенный кропотливым занятием.— Черт, сколько ж у ей лапок!

— То есть как это — ничего?

Но фельдшер, раскрыв от напряжения рот и сдвинув брови, сосредоточенно заканчивал дело и как будто вопроса не услышал.

— Как это — ничего? — сердито повторил Исаченко.

Осторожно взяв переносицу заразы за кончик крыла, фельдшер показал ее Исаченке: «Между прочим, все лапки целы!» — и только тогда ответил: «А с Сержею — ничего. Я вчера заезжал к нему».

— Смотрели?

— Да. Посмотрел, послушал — все нормально.

— Как «нормально», когда он помирает.

— Жизнь кончилась, — тихо ответил фельдшер, продолжая держать муху двумя пальчиками.

— Слушай, отец, давай все-таки съездим, а!

— Завтра. Сегодня я не могу, а завтра...

— Да ведь ерундой занимаешься!

— Не ерундой! — удивился фельдшер. — Санбюллетень готовлю — ерунда разве?

— Тьфу, мать твою! Помрет человек!

— Да не ори. Сегодня не помрет... Не должен. — И грустно посмотрел на разъярившегося Исаченку. Тот безнадежно махнул рукой, повернулся и вышел.

Подъезжая к проселку, что вел на кладбище, остановился, задумался, долго курил. Вдруг осенило! Взвивая смерч пыли, машина понеслась к кладбищу. Затормозив около свежей ямы, Исаченко некоторое время постоял над ней, жадно ища чего-то, потом остановил взгляд на памятнике. Достав из-под сиденья геологический молоток, он подошел к дереву, примерился и нанес легкий удар по краю сучка. Небольшой, со спичечный коробок, кусок гранита отлетел наземь. «Есть еще порох в пороховнице», — удовлетворенно заметил, отколов именно такой кусочек, какой хотел, и именно в том самом месте, где хотел. «Придется отложить помирение, дед. А там можно будет и повторить фокус». И, успокоившись, поехал по своим делам.

Вернулся к вечеру, зажег свет, дед подозвал его, хотел сказать что-то. Потягиваясь устало, Исаченко вспомнил:

— Да, кстати... Я тут проезжал мимо кладбища, зашел посмотреть — любопытная роца все-таки, нигде ничего подобного не встречал!.. Удивительно... М-да. Так знаешь, дед, на твоём памятнике один сучок поврежден — щербина. Небольшая, правда... Наверное, пока везли, кусочек и откололся, а мы, наверное, сразу и не заметили. — Он снова потянулся. — Вот так-то. — И прошел к столу рассматривать новые образцы.

Было тихо. Доносилась с реки песня паромщика.

Краем глаза Исаченко приметил, как старик медленно,

преодолевая неодолимую силу, пытается подняться, наконец поднимается и садится, свесив босые, добела вымытые, тощие ноги. «Порядок», — похвалил себя Исаченко.

— Вовк, — сказал старик и беззвучно заплакал.



ТРАНСПОРТ «ПОБЕДА»

На одном из островов Волго-Ахтубинской поймы жил бывший смотритель створных огней Степан Лосев. Огни, правда, несколько лет назад перевели на автоматическую работу, и Лосев жил теперь просто так. Числился сторожем аварийного топливного склада, но колхоз совсем уже перестал ловить рыбу, Лосев извел солярку на разные нужды и только числился.

Первая супруга его — жуткой красоты Зинаида, прожив со Степаном Николаевичем шестнадцать лет в любви и спокойствии, повесилась. Вешалась она и на десятом году совместной жизни, но тогда Лосеву удалось ее спасти, а тут прозвонил: в бане парился. Перевез Степан уже холодную Зинаиду в поселок, из города следователь примчался, начались допросы-расспросы, и все выходило, что между Зинаидой Ивановной и Степаном Николаевичем была большая любовь и согласие, и следователь опешил. Но фельдшер Бронза внес ясность, заявив, что, помимо любви, у погибшей были мысли и попытки, которые в медицине называются «суицидальными», то есть она была «сумасшедшей шизофреничкой», и следователь, успокоившись, закрыл дело.

Потосковав год, Лосев снова женился, и труда ему не составило: был он крепок, строг лицом, и, когда появлялся на берегу в капитанской фуражке и шел тяжелой поступью уверенного в себе человека, мужики почтительно здоровались, бабы тыкались лбами в окна и разевали рты.

А приезжал Лосев раз в месяц — получить на почте зарплату и газеты с журналами. Выписывал столько, сколько поселок скопом. Закупал еще продукты в сельпо и вновь

исчезал. И в один такой вот приезд Степан присмотрел молодую смазливенькую Аленку, вдовствовавшую с зимы, когда муж ее, непрерывный пьяница, угодил на мотоцикле в промону.

Аленка пожила месяц на острове — и расписались.

Был август. Степан Николаевич надел капитанскую фуражку с белым верхом.

И вновь, как много лет назад, гулял поселок. И в том же старом клубе. И гармонист был тот же и все так же пьян. И туно глядя в пол, играл все те же переборы. Играл и врал, как много лет назад.

Вспоминали ту первую свадьбу: где была занавеска, где стояла кровать — без сетки, связанная веревочками. И как веревочки оборвались, и все смеялись. И пошло, и пошло — жизнь пошла наперекосяк. «Может, хоть теперь образуется», — загадывал Лосев.

Проходя мимо кладбища, он обернулся: «Зин! Скажи что-нибудь!» Аленка тащила за руку, напирала толпа, освобождая внутри себя круг для «Цыганочки». «Зин! Не в обиде?» — И все пытался заглянуть поверх оград, чужих крестов туда, где была и его — Зинаиды Ивановны — могилка. прислушивался, но не разобрал: Зинаида всю жизнь говорила тихо.

Началось прощанье-целование, длилось долго. Некоторые мужики отвязывали свои лодки, заводили моторы — чтоб проводить. Степан заспешил, и, поскольку был трезвее других, сразу завел мотор, и, махнув рукой, оторвался от провожатых. А до острова — лишь Волгу переплыть. На казанке под «Вихрем» минутное, можно сказать, дело.

Ах, погода хорошая — солнце, штиль! Ни тебе мглы, ни облачка до горизонта. Ах, синее небо, зеленые берега!.. И завтра так, неделю еще, месяц. Но не вечно и астраханское лето: подует ветер, вывернет листья на деревьях, бело-холодно заблестят они под дождем — осень. И налетают бешеные ветра, и набегают волны, сначала серые, скоро они белеют от злости, падает снег.

В такие дни Степан Николаевич не выходит из бани. А если выйдет — побродит нагишом, остынет под снежным ветром — и на полок. И даже не смотрит на воду, как будто в шторме белом нет для него ничего тревожного, памятного, да и вообще ничего интересного.

...Осенью сорок шестого года транспорт «Победа» попал на Каспии в шторм, потерял управление и был выброшен в волжские плавни. Экипажу с невероятным трудом удалось

покинуть судно — железный труп, по которому наотмашь, валяя с борта на борт, били белые волны. Все одиннадцать человек отчаянно пытались держаться вместе, но были порасшвыряны волнами, и тогда каждый мог полагаться лишь на себя. Штурман Власкин не мог. Прыгая с палубы, он оскользнулся, зацепил край рваной обшивки, и на локтях у него повисли длинные лоскуты кожи. Власкин пробовал отгрызть лоскуты, чтоб они не задирались дальше и не мешали плыть, однако, хлебнув воды, отказался. Сжавшись в комок, он ловил момент вдохнуть и гадал единственно — в каком виде его выбросит на твердое: живым или умершим от холода?

Густой снег лепил не переставая.

Власкину повезло. Семнадцатилетний моторист Степка Лосев, который ходил первую навигацию, увидел штурмана, пробился к нему и через пятнадцать минут вытащил на какую-то твердь. Чужой, запуганный штормом сейнеришко искал где потише, подобрал их и спрятался в лабиринте проток.

Первое, что узрел Степка, очнувшись, — мундир офицера НКВД. Офицер постоял несколько и ушел. Назавтра снова явился и зачастил каждый день. Сначала Лосев волновался, рассказывая. Останавливался вдруг на полуслове, и офицеру приходилось даже трясти Степана за плечи, чтобы вывести его из оцепенения. Но к концу недели воспоминания о катастрофе «Победы» перестали приводить Степку в ужас. Он машинально отвечал и машинально, не просматривая, подписал протоколы. Потом ему дали прочитать показания Власкина, который лежал в другом госпитале. Потом — судовый журнал.

— Ну, — весело сказал ему на прощание офицер, — не волнуйся и радуйся: у тебя чисто.

Но Степка не волновался и не радовался. Он безучастно смотрел в стену перед собой.

Еще через два дня его навестил Мордвинов. Балтийский моряк, тяжело раненный в сорок третьем. Мордвинов кипел нарастающей в боях яростью, старался успеть везде и успевал. И, как говорили, тащил на себе все пароходство, хотя и рядом и выше было много других начальников.

— Ты, парень, молодец! Герой, настоящий моряк! Это я тебе сообщаю. И вот что: скорей выздоравливай, отремонтируем «Победу» — пойдешь на нее стармехом. А зимой направим тебя в институт — будешь учиться на капитана, понятно?

Степан, в котором за последние дни, кажется, кровь остановилась, ожил.

— Да, да, понятно, — растерянно бормотал он, стараясь приподняться на локтях и сесть, чтобы лучше было думать и осознавать происходящее.

— Лежи, лежи, — успокаивал Мордвинов.

— Да как же? Как же так?! — И поплыло перед глазами — то ли напрягся сильно, то ли от восхищения, ведь дальше моториста Степан и в мечтах никогда не ходил, а тут — капитанство!

— Ну вот, брат, ты извини... Извини, брат, не думал я... А ты, вишь, повалился... Лежи уж.

— Что вы! — прошептал Степка, стараясь быстрее восстановить дыхание и снова открыть глаза.

— Извини, брат, я, пожалуй, пойду, отдохай... Да, — вспомнил Мордвинов в дверях, — начальство будет предлагать тебе отпуск, ты, конечно, смотри... Как здоровье, то, се, но, — он поморщился, — сам понимаешь — людей, понимаешь, нет. Смотри, конечно...

— Ерунда все, — задыхаясь и не открывая глаз, улыбнулся Степан.

— Ну, в общем... А! — Мордвинов вышел.

С того дня, как Лосев выбрал учиться на моториста, он ни разу уже не задумывался над собственной жизнью, считая ее навсегда и вполне решенной. То, что предложил Мордвинов, казалось Степану неправдоподобно сказочным. Это была уже жизнь какого-то совсем нового, незнакомого Лосева. «Но если так, стало быть, во мне и сейчас есть что-то для того, нового, для капитана? — Удивился он и обрадовался. — Какой отпуск тут? Ерунда! К черту!»

И вдруг холодная, спокойная мысль вывела его из забытья: «А почему... ерунда? Почему не поехать домой? — И снова жар подступил к вискам. — Ну зачем, кроме Мордвинова, есть еще какой-то начальник?» — успел подумать Степан и потерял сознание.

Через две недели Лосев вышел из госпиталя. С кашлем, но врачи объяснили, что это бронхи, а что легкие, мол, в порядке.

Пошел к Волге, а там сильный ветер, и с кашлем туда не надо бы, но до какого бронхита, когда насчет будущей жизни соображения раздваиваются? Как-то приходил в госпиталь корреспондент, разбередил своими вопросами, и Степан устыдился: «Как же это я? Испугался? В газете напишут: герой — а я? Нет! Видать уж, взялся за гуж...» Но тут

Власкин умер. И в газете о Степкином подвиге не напечатали. И от этих событий — неизвестно, от какого больше, — Степка снова задумался и окончательно растерялся: оставаться латать «Победу», идти в плавание или... Или уехать? И теперь он шел к пароходу спросить у него. «Победу» уже подремонтировали, и Лосев, пристально рассматривая, то хозяйственно замечал, где надобно будет подправить, а то неожиданно для себя самого, отстраняясь, смотрел на судно изда-лека, словно простившись, и видел тогда белый шторм, побитые стекла, лопнувшую обшивку, беготню по трапу вверх-вниз, шлюпочную лебедку, с которой все соскальзывала нога и на которую наконец удалось встать и с которой Лосев прыгнул в белые волны. Волны белые, белый снег... Камыши то скрывались в пене, то обнажались до дна. Хорошо им с Власкиным удалось высмотреть русло без камышей — не запутались, не увязли в зарослях, как другие. Потом выбрались на островок, покрытый пеной, и Власкин сидел по пояс в пене, держал перед собой одеревеневшие руки, и прозрачными ремнями свисала сорванная от ладоней до локтей кожа, а мышцы под тоненькой пленкой были синими. «Точь-в-точь промытая баранья ляжка», — подумал Лосев теперь. «Уеду. Надо отдохнуть», — решил он, прощаясь с «Победой». — А вообще — чего ехать? Наотдыхался в госпитале», — и так еще подумал.

В пароходстве Степку ждала комиссия: начальство, кавторанг из военной флотилии и два сухопутных майора. Выражали соболезнования, благодарили за мужество, провозжали на месяц в отпуск. «Я конечно, — перешително возразил Степан, выискивая взглядом Мордвинова, — да ведь людей не хватает». Пароходские смотрели внимательно и серьезно — это у них не хватало людей, прочие из комиссии одобрително улыбались: Степан им правился и все правильно говорил. Мордвинова не было.

— Ничего, ничего, — опутив глаза, сказал начальник, — товарищи вот решили, да и по инструкции положено... Съезди, чуток отдохни. Ты ведь из местных, кажется?

— Да, в общем недалеко.

— Ну вот. А мы тут как-нибудь уж...

Поочередно пожимали руки, желали — Степан не слышал чего. Он ждал, не попросят ли остаться: надо, мол. И он остается. И наверно, с радостью.

Никто не попросил.

Потом он долго стоял на палубе буксира-колесника. Если бы пришел Мордвинов, Степан усмехнулся бы, весело сказал

бы что-нибудь вроде «от вас не скроешься» и сошел бы на берег. И наверное, с радостью. Буксир отдал швартовы и пошел себе, а Лосев всматривался в берег, ждал Мордвинова, чтобы назад, хоть вплавь. Но буксир шел и шел, а Мордвинова не было. Скрылись вдаль купола астраханских церквей, поползли по берегам пески, редкие деревья, и горько зарыдал Степка от обиды и облегчения. Понял, что никогда уже не быть ему капитаном и никогда уже не возвратиться на море.

Утром Лосев вернулся в родной поселок. С подаренной моделью «Победы», на борту которой было выгравировано: «За героизм и мужество в морском деле». Геройский поступок поставил Степку чуть ли не в один ряд с теми немногими, кому удалось возвратиться с войны. И так же, как в свое время они, Лосев спервоначалу отсыпался, ходил по гостям и рассказывал страшное. Сообщал, что назначен на «Победу» стармехом, а там институт, капитанство, свой пароход. И странно: когда говорил об этом, сам верил.

Родители Степкины перед самой войной умерли от холеры — болезни, которая испокон веку предпочитала здешние края многим другим. Пока Лосев учился в Астрахани, бесхозный дом его использовали под разные нужды: сначала в нем размещался штаб, руководивший «подборкой» — выловом трупов, плывущих из-под Сталинграда; потом в доме жили эвакуированные, а после войны расположился магазин. Так что теперь Степке пришлось поселиться в рыбацком сарае. Спал он на верстаке. Кругом валялась щепка, обрезки фанеры, чернел в углу разбитый, замасленный дизель. Гнилая, пахнущая рыбой сеть свисала клочьями с длинных гвоздей из-под потолка.

Бессовестно было отдыхать в тяжелое время, а герою — тем более, и Степан занялся баркасом, над которым давно уже бились поселковые мужики. Движок был хороший, трофейный, но автомобильный, и система охлаждения к плаванию не годилась. Напаяв железные кожуха, две трубы — водозаборную и сливную, установив крыльчатку-насос, Лосев приспособил двигатель к судовой жизни и сразу стал Степаном Николаевичем. Артель просила его остаться, но Лосев не отвечал.

Ночью, при свете коптилки, надев капитанскую фуражку с крабом, он сидел на верстаке и рассматривал свое отражение в оконце. Там, за стеклом ходовой рубки «Победы», капитан Лосев нес ночную вахту. Сдвинув брови, втянув ни разу еще

не бритые щеки, строго всматривался в коварную — он это знал — даль моря, и судно верным ходом шло вперед сквозь шторма. Сквозь белые шторма. Тяжело было отказаться от мостика. Но когда поутру пришли мужики и Лосев увидел нацепленные для важного разговора медали... Не сопротивляясь, он согласился взять этот самый отремонтированный баркас.

Четыре навигации без выходных и праздников ходил он за рыбой. Попадал в шторма — на Волге не такие, конечно, как на Каспии, но случались и белые. Тогда Степан Николаевич бледнел лицом, холодел сердцем и, судорожно сжимая штурвал, тащил буксиришко, боясь не столько шторма, сколько самой боязни: стыдно и страшно было поверить в трусость свою.

Зимой — подледная ловля сетями и ремонт судна. И тоже без праздников, без выходных. Потом стало легче, даже отпуска появились. И в первом же отпуске, чуть отдышавшись, Степан женился. Жена его Зинаида была из «вакуированных», но после войны не уехала, как другие: отец на фронте погиб, мать умерла здесь в сорок четвертом, дом в Ленинграде был разрушен бомбежками — куда ехать? Степка, вернувшись из Астрахани, сразу заметил, какой красавицей стала девчонка, и сразу влюбился. Зинаида тоже привязалась к нему, но не у верстака же им жить? Наконец терпение Степана иссякло. Рассудив, что самое тяжелое для народа время прошло и он, капитан Лосев, трудом и геройским поступком заслужил право на улучшение жизни, Степка попросил у колхоза дом. Нового не построили, но комнату в заколоченном клубе дали.

Это была первая послевоенная свадьба. Весь поселок, конечно, в клубе не уместился, гуляли около. Пели, плясали, пили кто что принес, кричали «горько!», и было в диковинку всем — как увиденное впервые — и свадебные поцелуи, и подвенечная, пусть сшитая из занавески, фата. И без стыда все ждали ночи, и наперебой просили: мальчика, девочку — все равно кого. Он всем был нужен: новый, отделенный от войны человек. Через год родился ребенок.

К тому времени Степан перебрался на остров: завистливые бабы притравливали Зинаиду: и тошша, и деревенского хозяйства не знает, и больно уж молчалива — словом, «мужик в тягость». Тут как раз установили створные знаки, бакены, потребовался грамотный человек, знающий радио и азбуку Морзе, — Лосев, поколебавшись, словно жалко было ему расставаться с баркасом, согласился, но лишь «на время»,

пока не подберут «нового кадра». Внутри себя Степан Николаевич прочно утвердился капитаном транспорта «Победа», им смотрел на людей, на проплывающие пароходы, им ступал по земле, а фактическое свое отклонение от капитанства считал временным, вынужденным, из-за большой любви к Зинаиде и был тем вполне доволен. «Вот уж когда все утрясется...» — а что должно было утрястись — Степан недомысливал. И на остров перебрался вроде бы для того, чтобы оградить Зинаиду от неправильных толков, остров ведь подальше от берега, от людей.

Хотя, как ни странно, и от штормов тоже.

...Роды начались по пути через Волгу. Степан бросил весла и придержал Зинаиду, которая корчилась на дне лодки и могла вывалиться за борт. Течением отнесло в сторону от поселка. Лосев развернул на песке брезентовый плащ и уложил жену. Весь его акушерский опыт сводился к воспоминаниям о подсмотренном в детстве рождении ягненка. Ничего толком не вспомнив, махнул рукой и развел на всякий случай костер из плавника: холодно было, дождь пошел. Потом сообразил согреть воды — по счастью, в лодке была жестянка для вычерпывания. Оставив жене всю свою одежду, кроме исподнего, побежал в поселок. Когда воротился — в брюках, ватнике — с фельдшером и двумя бабами, костер уже не горел, воды в банке не было, Зинаида беспмятствовала или спала, прижав к груди завернутого в окровавленные мужнины тряпки ребенка. Лосев отвернулся. Люди суетились над Зинаидой, ребенок закричал, но как-то слабо. Потом перестал вовсе. Отброшенная фельдшером пуповина угодила Степану под ноги и в мгновение из розовой стала серой.

Происходящее так потрясло Лосева и настолько ужасным показалось, что, когда Бронза, положив на плечо руку, сообщил, что ребенок умер, Степан только кивнул. Ему уже безразлично было, лишь бы поскорее уйти. Забрать жену и уйти. А брезент, шмотье, банка — пусть все остается. И пуповина, и сам ребенок, из-за которого, собственно, все это...

Через два года снова родился мальчик. Радости как будто прибавилось. Правда, иногда, баюкая сына, Зинаида тихо, чтобы не услышал Степан, вздыхала: «Господи, и зачем ты родился? Какая ж тоска тебя ждет!» У Степана во рту становилось горько от ощущения своей вины, но глаз не открывал и продолжал дышать ровно, как спящий. Он объяснял себе,

что Зинаида грустит от усталости и прежней тяжелой жизни, и быстро успокаивался.

Но дело вроде бы пошло на лад: супруга повеселела. И, проснувшись однажды светлой летней ночью, Степан увидел ее в петле. Удалось спасти.

Фельдшер Бронза, подумав, спросил: «Может, не удовлетворяешь?» — «Дурак ты», — ответил Лосев и решил, что надобно отвезти Зинаиду в город к хорошим врачам. Но Зинаида сказала, что это было случайно, так, и к врачам ехать необязательно. Степан согласился. «Может, вообще ее увезти куда-нибудь в другие края, жизнь другую начать?» — спрашивал он у Бронзы, чувствуя, что это самое верное дело, что надо бы увезти, что жить надо бы по-другому, попустее, что ль. Но на всякий случай спрашивал, ища поддержки.

— От себя не уедешь.

-- И это правильно, — легко соглашался Степан.

Зинаида стала грубее, потяжелел взгляд, но приезжавшие на остров рыбаки обнаруживали все ту же тихую семейную жизнь. Жена спокойно управляла хозяйством, муж парился в бане или разгадывал кроссворды, из-за которых он и выписывал газеты с журналами. Сынишка вырос, отправили в интернат. Зинаида часто навещала его, хотя теперь бабы разве до рукоприкладства не доходили, а так все перепробовали: ведь теперь Зинаида числилась д у р о ч к о й. Да еще и лучшего мужика увела, и жизнь ему портит...

Как-то причалили праздные московские рыболовы — спрашивали местечка, чтоб народу никого и чтоб порыбачить вволю. Степан обедал. Пригласил к столу, обещал вечером, как зажжет бакены, отвести в хорошее место. Один — по виду бывалый — бородатый мужик все расспрашивал да расспрашивал, остальные, наскоро перекусив, занялись снастями. Зинаида разговорилась, и Степан удивился внезапной ее живости и веселому их разговору. Она беседовала с «бородой» о том о сем, и они легко понимали друг друга и не договаривали фраз. А Степану казалось, что говорят на чужом языке. Обидевшись, он встрял, перевел разговор на «моряцкую» тему, небрежно сообщил, что плавал на большем корабле, попал в передрагу, выкрутился, но вообще ему «это дело не очень понравилось. Волны, понимаешь, снег... Все белое, понимаешь. Ничего, конечно, особенного. Дело, можно сказать, плевое, но так — не понравилось. И, домой потянуло», — смущенно улыбнулся Степан, но по глазам «бороды», слушавшего с настороженным интересом,

заметил, что тот все понял насчет «плевого, непоправившегося дела». «Тут как раз Зинаида», — обратился он к жене за поддержкой, но встретил скорбное изумление, словно ее поразила какая-то внезапная мысль, какое-то предположение, открытис. Зинаида долго смотрела на мужа, сначала пристально, а потом взгляд расслабился и ушел сквозь. Стусевавшись, Лосев встал вроде б проветриться. Вернувшись, обнаружил компанию, живо беседующую с Зинаидой. И снова про непонятное.

«Ну и жена у тебя, капитан! — шутливо завидовали приезжие, спустившись на берег. — И умница и красавица. Повезло, брат, тебе!» Лосев довольно улыбнулся и предупредил: «Денег не давайте». Сели в казанку, завели мотор. Когда подъехали, Степан Николаевич заметил, как «борода» что-то шепнул одному, и тот сунул в карман Лосеву бумажку: «За перевоз». — «Не надо, — буркнул Степан, — я же предупреждал... Спасибо», — и отчалил. «Червонец! — рассмотрел он бумажку. — Пригодится, конечно». — И сплюнул — было противно.

Прошло еще несколько лет. Зинаида прожила их в молчании и задумчивости или — как объяснял Степан — в любви и спокойствии. И повесилась окончательно. Наверное, ее и на этот раз можно было спасти, несмотря на то что Степан долго парился в бане. Но был праздник. «А по праздникам, — как тихим голосом сказала однажды покойная, — полрайона в канаве валяется». И фельдшер был в этой половине как раз. Лосев с криком влетел к нему. Выслушав, Бронза пробормотал: «А что я тебе говорил? Что?! Э т и, ежели задумают того... суицидальные мысли и попытки... то непременно. Непременно!.. Медицина, брат, это... Я тебе говорил? Медицина — это...» — и пригрозил Лосеву пальцем. Милиционер был из другой половины, но не умел вернуть Зинаиду к жизни. Спустился к лодке, глянул мельком, запретил дотрагиваться и побежал звонить следователю. Так кончилась семейная жизнь Степана Николаевича Лосева с Зинаидой из «вакунированных», которую он очень любил.

И вновь на острове «любовь и спокойствие», и словно бы ничего не произошло. Поселок, в прежние времена неустанно жалевший Степана за его «испорченную дурочкой» жизнь, тоже затих, успокоился. Поговаривают иногда некоторые, мол, не совсем все так в этом деле — да кто ж их посылает? Кто будет трогать мысль слежавшуюся и окаменевшую?

А Степан Николаевич с утра залезает в баньку. Попа-

рится, а в предбаннике журналы с газетами — кроссвордики дождаются. Насчет кроссвордиков Степан Николаевич мастак. Есть у него специальная амбарная книга со списками «столиц союзных республик», «областных центров РСФСР», «созвездий», «звезд», «притоков Енисея», «композиторов», «государств в Африке», «химических элементов» и т. п. — ни один кроссворд дольше десяти минут не продержится. Алена чаек ко времени принесет, ко времени стопочку. Течет жизнь, растекается, утекает... Пожалуй, только однажды и всполошилась, да и то ненадолго. Это когда сын поступал в речное училище, не добрал балла и попросил отца приехать помочь — будто бы директор, некий Мордвинов, сыновьям речников оказывал спонсирование. Алена положила в крохотный чемоданчик модель «Победы», приготовила праздничный костюм, но Степан, поначалу собиравшийся, обдумал все как следует на полке и вдруг возразил: «Пусть сам пробивает себе дорогу! Мы-то сами!» — и не поехал. Он представил на миг встречу с Мордвиновым, представил, что все помнит и все поймет. «Оверкиль... Тридцать лет ж... килем вверх! А-а-а!» — И, задыхаясь, бросился из ~~бани~~ наружу.

— Что с тобой? — выбежала на крыльцо Аленка.

— Так, — взял себя в руки Степан, — со зла.

— Что «со зла»?

— Да и из-за пацана... Пусть сам пробивает себе дорогу.

Мы-то сами!

Алена соглашалась со всем, что говорил муж. Лишь в первое время пыталась она дознаться: что ж здоровый мужик не займется серьезным делом? Степан отмалчивался, отшучивался, но раз не выдержал, психанул: «А у меня дело, может, посерьезнее, чем у других! Я, может, секретные корабли заправляю, понятно?» — «А чем заправлять-то — в бочках пусто?» — «А может, я, — Степан от гнева разбрызгался слюной, — может, я... атомом?!» И сам опешил от придуманного, но Аленка смутилась. «И рацию чтоб каждый день протирать!» — увлекся Степан. С тех пор жена не спрашивала его о работе, рацию протирала, хотя к ней давно не было аккумуляторов, и вообще — согласилась на спокойную, хоть и бездельную жизнь — все безопаснее, чем с прежним мужем.

Сын, не поступив в училище, попал в армию, отслужил и остался на сверхсрочную прапорщиком. Изредка присылает казенного содержания письма.

Дошел слух, что «Победу» списали. «Ну вот и отплава-


лись, — вздохнул Степан, словно груз с плеч свалился, — можно и отдохнуть». И сразу обмяк, постарел.

Аленка истомилась от безделья, взялась рожать.

Степан, распарившись в бане, любит теперь помечтать между кроссвордами о тихой, украшенной детьми старости.



В ТУМАНЕ

Тром пароход «Керчь» стал в тумане. Набрал последний раз воздух, машины тяжело, с сипением выдохнули и замолчали. Час был ранний, пассажиры спали еще, и только старик по обыкновению сидел на корме в провисшем шезлонге. Он просидел так всю ночь. Ночью по реке пахло сеном, у деревень — навозом. В деревнях горели электрические огни, ползли по воде дорожки света, и гигантские тени деревьев, возникая в них, ветвями касались борта. Потом запахло сыростью, запахло болотом, потянулась мгла, все густела, и пароход в тумане увяз.

Старику стало холодно, однако он не спешил в каюту, зная, что долго еще не уснет, будет ворочаться и мешать соседу.

Негромким простуженным голосом скомандовали на мостике. От чужой хрипоты старик закашлялся. Донеслись снизу металлически дребезжащие шаги, скрипнула якорная лебедка, и, захлебываясь в астматическом приступе, захрипела ржавая цепь. Старик, не удержавшись, снова откашлялся и сообразил, что в этом переувлажненном воздухе звуки сами простужаются, сами хрипнут.

Якорь бросили потому, что течение, хоть и слабое, сносило судно. Старик понял это, когда прямо перед собой увидел невысокий, темнеющий берег. Берег то исчезал, то открывался в тумане, но был совсем рядом. Наконец плоскодонный пароходишко вовсе прибился к берегу — только узкая полоска воды осталась шуршать.

Старик продрог. Подняв воротник грубого черного плаща,

он обхватил себя руками и сжался, скрючился сколько возможно, чтобы сердцу не так далеко было посылать кровь. По времени пора уже было взойти солнцу, и, наверное, оно где-то взошло, но в какой стороне? — туман оставался плотен и непоколебим.

Потом на берегу возник человек. Настолько неожиданно — словно из ничего. Старик даже вздрогнул. Человек в очевидной задумчивости постоял над водой, разглядел парход, изумленно выругался и исчез. «Охотник, — сообразил старик, — заплутал», — и улыбнулся, отчего стало ему теплее.

Донеслось издали стрекотанье мотора, и долго невозможно было понять: приближается оно или уходит — неуверенно и осторожно суденышко бродило в тумане. Но подошло, печально приблизилось к парходу: казенный серый катерок-буксирчик. Парень, выбравшись из кабины, бросил на нижнюю палубу веревку с глухой петлей на конце. Кто-то — старик не видел, должно, матрос — подтянул катер и закрепил веревку.

— Куда собрался-то?

— Да на ферму, за молоком, — вздохнул парень, — а тут — черт знает что.

— Ну, у вас это частенько.

— Болота...

Потянулся у них разговор, а старик разглядывал сверху парня, который сидел на крыше кабины, расстегнув ворот рубахи и закатав рукава. В разговоре парень перехватил его взгляд и посмотрел недолго на старика. Тому вдруг стало совестно своего жалкого вида. Он распрямился, встал, сунул руки в карманы и небрежной походкой, как в молодости, когда спина была легкой, прошелся по палубе. Захотелось даже в воду сплюнуть. Но не решился. Свернул с палубы в коридор, пахнувший комфортом ковров и лакированного дерева, заглянул в каюту: сосед спал на верхней полке, и его огромный, обтянутый белой майкой живот при вдохе вздымался над каютой и грозил обрушиться, как штормовая волна. Закрыв дверь, старик перешитительно прошелся по коридору и спустился вниз. Четвертый класс дышал портянками и носками. Нагретый машиной воздух содрогался от храпа. На полках и на полу, на мешках и на ящиках, сидя, лежа, в самых неудобных позах спали люди.

У дверей машинного отделения старика схватила за руку девочка-цыганка лет пяти. Ночью старик видел и слышал, как на какой-то маленькой пристани цыгане с гомоном и суетой штурмовали трап пархода.

— Пойдем, пагадаю.

— Красивая, — улыбнулся старик. — А как же зовут тебя?

— Малюта, — отвечала маленькая цыганка. — Пойдем!

На шею и на руки звенели монеты, сделанные из просверленных гривенников.

— Ты что же, и гадать умеешь? — ласково спросил старик, не трогаясь с места, но и не отнимая руки.

— Я не умею, мамка умеет, пойдем! — дернула старика за руку, он повиновался.

Цыгане со своим скарбом сидели у выхода на нижнюю палубу — должно, недалеко было схватить. Как только Малюта подвела старика, одна из цыганок — «мамка», наверное, — оторвала от груди младенца, бросила его кому-то и, не успев застегнуть кофту, обратилась к старику: «Иди сюда, дарагой, иди, пагадаю!» Крупный бородатый мужчина лет пятидесяти, стоявший на палубе, мигом обернулся, прищурил глаза, сказал что-то непонятное, и женщина взяла младенца обратно. Старик растерялся.

— Не волнуйся, отец! — Цыган приветливо вскинул руку, — по-видимому, он был у них старшим — и назидательно обратился к женщине: — Что ты ему расскажешь? Ну что?.. Что он скоро умрет? Это он и без тебя знает.

Женщина не поднимала глаз.

— Про детей, про внуков, — нерешительно предположил кто-то из молодых. Старший покачал головой:

— Эх, ты, цыган... Нет у него ни детей, ни внуков.

Старик согласно кивнул и посмотрел на бородатого с настороженным удивлением. Тот щелкнул пальцами:

— Спой лучше, Малюта. — Малюта потащила старика на палубу. Там тоже сидели несколько человек. Все они готовились сойти на какой-то пристани, но час их прошел, пароход стоял неизвестно где, и люди ждали и томились.

Малюта тихо запела. Пела она как будто для себя. Самозабвенно предаваясь грустной цыганской песне, девочка смотрела в туман. Подчиняясь то ли ее взгляду, то ли самой песне, бородатый тоже смотрел в невидимую сейчас даль. Что было там? Старик заметил вдруг движение в тумане. Туман расслаивался, шевелились маленькие облачка, и чистый детский голос дальше, дальше улетал куда-то между ними. Малюта замолчала, звук бежал, бежал... Потом все расплылось, старик руками долго тер глаза.

Подошла женщина с ярко накрашенными губами и, сняв с пальца дешевенький перстенечек с лиловым стеклышком,

подарила Малюте. Девочка, сжав перстенок в кулачке, убежала, женщина вернулась к своим узлам и принялась, отчаянно жестикулируя, рассказывать что-то мужу. Старик не слышал их разговора: песня все звучала вдали. «Хорошо. Красиво», — сказал старик, продолжая прислушиваться к песне. На него не обратили внимания. «Глухонемые», — пояснил бородатый цыган. «Как?!» — изумился старик, но цыган заметил в таборе что-то требующее его присутствия и исчез. «Как же?» — спросил старик и растерянно, ища объяснения, посмотрел на женщину. Она вдруг улыбнулась — старик увидел, что зубы и кончик непрестанно двигающегося языка вымазаны помадой, — несколько раз приветливо и согласно кивнула, и он понял, что да, так оно и есть: женщина глухонемая, а песня красивая, и, успокоенный, ушел, согревшись трогательностью своего объяснения.

Пробираясь нижней палубой сквозь туман, столкнулся с казенным катером. Матроса не было. Парень все так же вольно сидел на крыше, покуривая сигарету. Старик смутился встрече с забытым катером, горько вздохнул, косо взглянул на воду — у катера покачивалось радужное пятно мазута, — распрямился и поднял голову: парень почему-то вызывал в старике чувство соперничества.

Обойдя судно с кормы, вышел на борт, обращенный к берегу. Дверь кухни была открыта. Пахло рыбой. Сухощавый седенький повар суетился, привинчивая мясорубку.

— Здравсьте, — поклонился старик.

Повар, вскинув голову, посмотрел сквозь старинные в золотой проволочке-оправе очки и кивнул.

— Давайте, помогу.

— Займитесь, — легко согласился повар, — я пока рыбку достану.

Сняв плащ, старик вымыл руки, нацепил фартук и занялся. За окном висела мутная хмарь, а здесь горело электричество, потрескивала печь, и было похоже не на рассвет, а скорее на зимний уютный вечер. Крутили они котлеты и рассуждали о кулинарии.

— Пока был женат, — рассказывал повар, — ни разу толком и не поел — на всю жизнь худосочным остался. То, понимаешь, вареная луковица в супу, как медуза, болтается, то сало, то дробленый мосел...

— А я процеживаю!

— Конечно!.. А то с работы придешь, я на лесопилке работал, едва на ногах держишься, а она — жареного леща! Разве можно?! Лещ, ведь он для будней чересчур костляв!

— А я, знаешь, что делаю? — старик поделился опытом. — Весь погреб забиваю банками с резанным чесноком, петрушкой, укропом, помидорной мякотью. Все засолено — и до весны хватает!

— Такое я слышал, это здорово. Это ты мне обязательно расскажи, как делать. Здорово... А бабам, им можно доверять только простые блюда, например, ну... картошку сварить.

— Или готовые котлеты пожарить.

— Ну! — радостно согласился повар. Оба замолчали, довольные обнаружившимся родством.

— Они даже чайник всегда ставят носиком к себе! — возмутился старик. — А это нехорошо, это против всех правил техники безопасности!

Повар задумался: «Да... верно, носиком к себе».

— Вот, — подхватил старик, — а ты как ставишь?

— Не упомяну, — смутился повар.

— От себя! — воскликнул старик, указывая на плиту. — Вот! Чайник поставлен твоей рукой, я специально внимание обратил! А иначе ты и никогда не поставишь!

— Конечно, — признал повар со снисходительною небрежностью.

Еще помолчали.

— Однако жалкий мы народ — холостяки, — горестно и твердо сказал вдруг старик.

Повар, не поднимая глаз, кивнул, словно и сам успел подумать об этом. Расстались, поддерживав друг друга улыбками, искренними оттого, что нашли общее и хорошо обоим понятное.

Старик поднялся к себе. Ухал от холодной воды, плескаясь над умывальником, сосед.

— Доброе утро.

— А-а!.. Монастырь не проехали?

— Нет.

— Слава богу. Опять всю ночь колобродил?

— Да, не спал.

— Где ж эт тебя носило?

— Гулял, — пожал плечами старик, повесил плащ, сел, откинувшись к спинке дивана.

— Мать честная! Чего же сейчас гулять? Я, понимаешь, проснулся, тер, тер стекло — думал, что запотело, оказывается, с той стороны туман? А-а! До чего холодная, стерва!

— Туман, — подтвердил старик.

— То-то... Поди, все еще спят?

— Нет, уже много времени.

— И чего — люди есть? У-ух-ха-ха!

— Конечно.

— Кому ж это, кроме тебя, не спится? — Он плескал воду за спину, вода стекала, и на полу образовалась лужа.

— Кому, кому? У некоторых рабочий день начался, другие ждут своих пристаней — мало ли что у кого? Цыгане... Девочка одна, Малюта, так хорошо пела! До того здорово, что, представляете, женщина глухонемая — и та почувствовала... Колечко ей подарила.

— Иди ты? Серьезно?

Старик рассказал про цыган, про то, как готовил котлеты с поваром, рассказал коротко, стараясь не выдавать своего отношения, но сосед угадал. Глядя на старика, он приходил все в большее недоумение и даже обтереться забыл.

— Ты что, отец, первый день живешь?

— Почему? — не понял старик.

— Экий ты малахольный, — пожалел сосед и вспомнил о полотенце: — У-ух, хорошо!.. Конечно, работа у тебя соответственная: стрелочник или как?.. Обходчик. Живешь, понимаешь, в лесу и, кроме своих рельс, ни черта в жизни не видишь. — Он докрасна натер руки и принялся за лицо, огромное, круглое.

— Почему? У нас станция, узловая, народу много.

— А чего ж ты тогда в людях не разбираешься? — Бросил на диван полотенце. — «Цыган», «цыган», «гадать запретил»... Куда ж я рубаху-то подевал?.. Наивный ты человек!

— Почему? — растерялся старик.

— Почему, почему?.. Рубашку мою не видел?.. Это ж специально, разжалобить чтоб, тонкий подход, понял? Надеялись из тебя побольше выжать. Из глухонемой кольцо выжали?.. А! Вот рубашка-то! В шкафу, понимаешь! А я ищу... И глухонемая твоя, — с вешалки снял рубашку, — ни хрена, понимаешь, не глухонемая, а ты восторгаешься: не слышит, мол, а красоту чувствует... Воротник грязный... Постирать или не надо?.. Ладно!.. Слышит, говорю, может, и не сильно, но наверняка слышит, понятно?

— Но почему вы так думаете? — обиделся на него старик.

— Да что ты, ей-богу, как маленький! «Почему, почему?» Потому что!.. Повар, понимаете ли, ему понравился. Хищник ведь он, хищник! «Котлеты делали!» А зачем просто так рыбу не жарили? Кулинария? Чтобы вкуснее? «Палтус с треской»?.. Да чтоб выжать побольше — не понимаешь? Небось центнер хлеба на десять котлет... Да не мотай головой, знаю

я! — И нацепил рубашку. — Знаю я их! Ладно, старый, держись веселей, не обижайся. Ресторан, что ль, открыли? Пойдем, позавтракаем, опохмелимся маленько. Ты не грусти — жизнь понимать надо. Не грусти, сейчас в этот придем... где монастырь. Не грусти. Сходим вместе, сфотографируемся на память, монастырь, между прочим, исторический — в путеводителе прочитал. — И, застегнувшись и осмотрев себя, на миг задумался: — Шестнадцатый, что ль, век... или четырнадцатый... не помню. Держись, отец! — И вышел.

С трудом поднявшись, старик перешагнул лужу, взял плащ и, волоча его, пошел по коридору. Появились проснувшиеся пассажиры, но старик, не замечая никого, все брел и бесконечно брел по коридорам, палубам, по лестницам.

За стеклами машинного отделения шла работа. Сжигая топливо, гудел паровой котел. Тяжело вздыхая, шагали поршни. Жарко пахло мазутом и маслом. Выйдя из забытья, словно проснувшись, старик долго смотрел, удивляясь, что можно вот так, стоя на месте, наблюдать машину в работе. Паровоз, хоть и устроен похоже, но только пустит машину в ход — и уехал, и не видно его, а здесь — можно смотреть. «Хорошо, — оценил старик. — А что ж это они пустили машину?»

Поднявшись наверх, он обнаружил, что туман начал рассеиваться. Казенный катер отчалил, дал ход. Парень, высушившись из рубки, медленно вел его вдоль пароходного борта. Сравнявшись со стариком, свистнул и весело подмигнул. Старик ответил ему улыбкой и с улыбкой посмотрел вслед. Скомандовали убрать якорь. Ни дребезжания, ни хрипа не было теперь в голосе. Бархатно загудела лебедка, с дробным лягганьем поднялась цепь. Склянки отбили поднятие якоря. Плеснула из-под колес вода.

Порекинув плащ на руку, старик прошел вперед. Постучали в стекло — обернулся: за окном ресторана жевал сосед и приглашал к соучастию. Старик покачал головой, с любопытством посмотрел на соседа, хмыкнул и вдруг рассмеялся, — тот удивленно перестал жевать. «А ну тебя!» — сказал старик.

По бурунам у форштевня заметно было, как паровоз набирает скорость.

Внезапно яростный луч прорезал воздух, и, словно в прорву, хлынул на землю солнечный свет.

Отчаявшийся пробраться к своему какому-нибудь заветно-непроходимому болоту, охотник сидел на мокром берегу, свесив ноги, и безучастным взглядом провожал паровоз. Ста-

рик развел руками, мол, не вышло? Охотник тем же жестом ответил: «Ничего не поделаешь», — и усмехнулся и кивнул.

Туман начал таять, стекать в низины, в воду и скоро исчез.



ЛАВРЮХА ОБЫКНОВЕННЫЙ

Шоздней осенью, когда на землю лег снег и вода в реке сделалась непроглядно черной, Лаврюха погнал лес-промхозовский катер на ремзавод для замены двигателя — старый едва шебаршил. Кое-как сплавившись до устья, прибился к пристани — подождать рейсового теплохода и с его помощью переплыть озеро. Но выяснилось, что рейсовый теплоход откомандирован на уборку — вывозить льняную тресту — и обратно он возвратится только через неделю. Если, конечно, к той поре не ударит мороз и не закроется навигация.

Назад Лаврюхе на таком движке не вскарабкаться было, неделю без харчей не прожить, и пришлось отправляться в поселок самостоятельно. «Тьфу, незадача», — раздосадовался Лаврюха, а тут еще начальник пристани пассажиров «навялил»: двух городских баб, возвращавшихся не иначе как от деревенской родни, и мальчишку-дошкольника — своего сына, который, как понял Лаврюха, приезжал к отцу на побывку да из-за того же рейсового и застрял.

Поплыли. Не плаванье было — маета: моторишко тянул еле-еле, боковой ветер относил в сторону от поселка, а когда уж почти перебрались, у самого берега мотор вовсе заглох.

Лаврюха полез копаться, бабы, обрадовавшись тишине, взялись балаболить, продолжая разговор, прерванный, похоже, отплытием.

— Ой, Валь! Палас — три на два с половиной, за чetyреста пятьдесят, голубой... Эспадобна, Валь! Как у тебя... Обои — тоже голубенькие, под цвет... Ну все, Валь, прям как у тебя! Стенка, люстра хрустальненькая, Валь: динь-

день — эспадобна! Парке-эт!.. Я, грю, не разрешу в этой комнате танцевать! Как заржали все, Валь!..

Тут Лаврюха обнаружил, что аккумулятор чужой.

— Тьфу, черт! Говорил же я твоему отцу: не могу снять аккумулятор — движок дохлый, дак хоть зажигание пугное... Спер-таки, не удержался...

— Он сказал... Все равно ремонт, — растерянно объяснял мальчишка, — там, сказал, поменяют.

— Ремонт-то ремонт, но до него еще доплыть надо, а теперь...

— А что теперь? — подхватились тетки.

— Встретим кого — отбуксируют. А не встретим — к тому мысу придемся, — указал он, — маячник свезет, поможет.

— Он в поселок переехал, — робко сказал мальчишка, — мотоцикл перевез, дом, моторку...

Лаврюха пристально посмотрел сначала на него, потом за иллюминатор: темнело, над черным лесом вспыхивал огонь маяка. «На автоматику переведен», — понял Лаврюха и спокойно, с некоторой даже ленцой, словно речь шла о чем-то не заслуживающем внимания, заключил:

— Ну и пуцай. До шоссе и пешком доберемся, а там кто-нибудь подбросит, отдохайте пока.

— Отдохнешь тут: болтает до невозможности, — раздраженно бросила Валя.

Волна была небольшая, но как только суденышко потеряло ход, ветер развернул его и стал раскачивать с борта на борт.

Ни одна моторка не прошла в тот час мимо катера, дрейфовавшего вдоль берега к маяку. И оставалось уж немного совсем, когда Лаврюха понял, что ветер гонит их не на мыс, а левее — на каменистую подводную гряду, уходившую от мыса далеко в озеро.

«И волнишка-то левая, а вполне можно ни за понюх табаку...» Подумав, он достал из сумки, в которой умещалось все его личное хозяйство, коробок спичек, освободил от харчей два полиэтиленовых пакета, тщательно завернул спички сначала в один пакет, затем — в другой и спрятал на груди под тельняшкой. Бабы, начинавшие заболеть по-морскому, не обратили внимания.

Когда до камней осталось несколько метров, Лаврюха разобъяснил бабам ситуацию — те стали орать: «За все ответишь!» — оделил их спасательными поясами, сохранившемися, вероятно, лишь потому, что на них сроду никто не обращал внимания, надел пояс на мальчонку. Потом, оборвав

идуший к мачте электропровод, одним концом обвязал себя, другим — парня:

— Мы теперь, друг, как альпинисты: связались веревочкой и — по камням! Ты, главное, не давай волне шибко забирать себя, черепок береги, понял?

Тот молча кивнул.

— Не задерживайтесь, бабоньки, сигайте следом, — сказал Лаврюха, — иначе угробит на валунах! — Подхватил мальчишку, шагнул из рубки и прыгнул.

Тотчас раздался за спиной скрежет днища о камни...

В озере и летом-то не купались, а сейчас вода была настолько холодной, что ноги у Лаврюхи отянулись сразу: «Минут пять продержусь — и кранты». Он пошуровал руками, прошлыл до камней, потом, обнимая валуны, пополз к берегу. Волны заливали его с головой, парнишка мотался на привязи где-то сзади. «Только бы не нахлебался!»

Наконец выбрались. И здесь, уже на снегу, мальчишечка потерял сознание. Лаврюха взял его на руки и побрел к постройкикам, стоявшим у маяка: от подворья смотрителя остались дощатый сарай да маленькая, недавно срубленная из сосны банька — видать, не верил старик, что маяк сможет без него обойтись, новую баньку сгношил, расстарался.

Лаврюха пристроил мальчика на полок, отвязался, спил с него начавшую подмерзать одежонку, попытался растереть, но пальцы скрючило, руки сводило... «Огонь. Или пропадем, — пойял Лаврюха. — Скорее!» В сарае нашел глинозатую, но сухую сеть, весло. «Выживем». Потациял к баньке, споткнулся, упал, ноги не слушались. «Только бы сетку не выронить — намокнет». К баньке приполз на коленях.

Ткнул в печь сетку, потом, вытащив из-за пазухи сверточек, добрался до спичек. Кое-как высек огонь, запалил сетку, подал в печь конец весла — размочаленную лопасть, дерево занялось. «Выживем».

Отогрев руки над пламенем, взял окованного мальчишку, подержал его, сколько хватило сил, у открытой дверцы, иловь положил на полок и принялся растирать... Так повторял он и повторял, не забывая подталкивать в печку прогорающее весло. Вслед за веслом пошла вывороченная в предбаннике половая доска.

Парнишка очухался, трясся в ознобе. Лаврюха, не переставая, грел его, растирал, мял. «Выживем. Теперь выживем...» Но огня было мало, и воздух в баньке теплее не становился. Лаврюха снова сходил в сарай: подобрал несколько щепок. Потом в куче мусора на том месте, где прежде стояла

изба, попытался отыскать какую-нибудь железку, годную для расщепления досок. Ничего не нашел. «Пропадем», — прикинул Лаврюха. Постоял, постоял на снегу посреди двора, подумал... Складывалось так, что лишь один выход оставался: подошел Лаврюха к сараю, поднял с земли здоровенный камень и бросил в сколоченную из горбыля стену. Снова поднял и снова бросил, еще раз, еще и еще. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Он сел на снег, привалился к стене, отдохнул и — снова...

Одна из досок треснула. Лаврюха принялся за вторую, потом за третью. «Теперь выживем». Вскоре огонь в печи полыхал, сделалось заметно теплее, мальчонка перестал дрожать, но зябнул еще, поеживался. «Тогда так», — решил Лаврюха и понатаскал в котел воды — ведро, слава богу, в баньке имелось.

Потом опять ломал, крошил стену сарая, подбрасывая обломки в печь; плескал воду на каменку и добился: ежиться парнишечка перестала, распарился, ожил. И — уснул. «Выживем», — заключил Лаврюха и только теперь вспомнил: «Бабы!» То есть мысль о тетках, оставленных на катере, не покидала его, но спасать и мальчишку, и теток сразу — возможности не было, и Лаврюха занимался мальчишкой. Тетки же, по его разумению, могли и должны были выбраться на берег. Лаврюха ждал их, надеялся на их помощь, но они не появились, и теперь он забоялся: волны могли перевернуть катер, свалить его с гряды на глубину...

Но своим следам Лаврюха добежал до того места, где выполз на берег: катер торчал в камнях. Волны поднимали его, опускали, скрежетало мягое днище, но сидел катер крепко.

— Бабы! — заорал Лаврюха. — Ба-а-бы-ы!

Из-за дверцы высунулась голова.

— Давай сюда-а!

Тут судно снова бросило вниз, и голова исчезла. Лаврюха подождал-подождал: «Убились они там, что ли?» — и шагнул в воду. Прошел до колен — назад вылетел: «Не сдюжить. Околою от холода».

— Ба-бы-ы! — Бабы не отзывались. — А! Была не была! — И прыжками побежал к катеру. Но тут же подвернул в камнях ногу, упал и далее добирался прежним способом — не то ползком, не то вплавать.

И уже ухватившись за борт суденышка, подумал с досадой: «Зря поперся. Случись что — парнишка один останется,

застынет совсем». А случиться что-нибудь вполне могло: ни рук, ни ног Лаврюха уже не чувал.

Бабы были в кровище — сильно побились. На сей раз они попрыгали за Лаврюхой, но у каждой оказалось по два чемодана.

— С ума сошли? — заорал Лаврюха. — Бросайте, бросайте все!

Они упорно тащили за собой поклажу до тех пор, пока чемоданы не наполнились водой и не утонули.

— Сволочь! Паскуда! — кричали тетки, а Лаврюха уже прикидывал: «Эти — жирные, не должны простудиться. Эти отогреются быстро, мальчонка вот...»

На берегу тетки, обогнав его, бегом бросились к баньке. У Лаврюхи же, пока он дошел, одежда заледенела. «Холодает, — машинально отметил он. — Ночью мороз будет».

Бабы стояли возле печи, клубились паром.

— Сымай с себя все, не то подохнете, — сказал Лаврюха.

Но бабы, кажется, и сами поняли, что в мокрых платях, рейтузах и свитерах им не отогреться.

— Отвернись, бесстыжая морда!

— Шли бы вы... — Склонившись к огню, он ждал, когда одежда оттает.

Потом все трое сидели нагишом на полке, дрожали. Мальчонка спал.

Отогрелись. И тут с бабами случилась истерика; они столкнули обессиленного Лаврюху на пол, стали бить кулаками, ногами. В отвсетах печного огня он видел животы, груди, зады — все жирное, тяжело обвисшее. Сверкая золотыми зубами, бабы орали про тыщи рублей: «Норка! Выдра! Бобер!» И Лаврюха сообразил, что в чемоданах были меха, скупленные у браконьеров. Устав молотить, бабы навалились, смяли, придавили Лаврюху. «Все, — подумал он. — Убит титькой».

Огонь вдруг погас, вспыхнул: перекошенный рот блеснул на миг металлическими зубами, огонь снова погас, сделалось темно. Бабы отпрянули и затихли. На полке испуганно всхлипывал проснувшийся мальчуган... «Все — золотые, а клык — белый: серебряный или стальной... Золота, что ль, не хватило?» Лаврюха, расправляя ребра, вздохнул, поднялся и, пошатываясь, побрел к сараю.

Взошла луна, подмораживало.

Скрипнул за спиной снег. Лаврюха испуганно обернулся: оваренные лунным светом стояли на снегу голые бабы.

— Ну чего вам? — испуганно прошептал Лаврюха. Бабы

молчали. Подождав несколько, он, словно опомнившись, судорожно прикрыл руками низ живота.

Бабы тоже прикрылись.

— Ты уж не бросай нас, дядечка! — попросила Валя и, должно быть, улыбнулась — в ответе маяка блеснули ряды зубов.

«Чего ж, действительно, все — желтые, а этот — белый? Может, на платину начала перестраиваться?»

— Извиняемся! — сказала другая.

— Ладно, — не удержавшись, махнул он рукой. — Черт с вами. — И пошел себе. Но бабы догнали. — Да за дровами я, — объяснил Лаврюха. — Куда ж я среди ночи уйду? Да еще голый... Во даете!..

— Ну мы поможем хоть что.

— Валяйте, — согласился. — Вот камень, вот сарай — валяйте.

Но бабы не смогли поднять камень.

— Небось на пакость какую-нибудь сил хватило бы. Дуйте-ка лучше назад, — предложил он, услышав металлический перестук челюстей.

Когда Лаврюха, прижимая к груди обломки досок, ввалился в жаркую темень, с полка донеслось:

— И занавесочки, Валь, достала — ну как у тебя, эспадобна, Валь!..

«Порядок, стало быть, — оценил обстановку Лаврюха. — Стало быть, оклемались». Он снова развел огонь, забрался на полок. Мальчишка не спал, но дышал ровно, спокойно. Бабы пристали к Лаврюхе с расспросами о семье, он отвечал, что женат, что двое детей-школьников. «Все, бабы, извините, я спекся», — просунулся к стенке, отодвинул от бревен мальчонку, услышал: «Я овощным заведу, а Валя — универсальным», — и далее ничего не слышал, потому что мертвецки спал.

Ночью мальчишка захотел пить и разбудил Лаврюху. Тот сходил за водой — в котле была ржавая, — поставил ведро греться, запасся дровишками, напоил мальчика, уступил бабам свое место, а то они так сидя и дремали, сам лег на нижнюю — шириной в одну доску — ступеньку полка. Переночевали.

Утром оделись, вышли к шоссе и на автобусе добрались до поселка: объяснили водителю ситуацию, тот подбросил бесплатно — денег ведь ни у кого не было. Лаврюха отвел мальчонку домой — тот не чихал, не кашлял, — сдал матери. Потом на почте разрешили — опять же бесплатно —

позвонить в леспромхоз. Лаврюха сообщил об аварии.

— Напился! — определил директор причину аварии.

— Нет, — оправдывался Лаврюха, — не пил я, несколько не пил.

— Справку из милиции, иначе — нечет, — и бросил трубку.

В милиции Лаврюхе поверили:

— Пожалуйста, дадим справку, зови свидетельниц.

Он выскочил на крыльцо, где оставил свидетельниц, но их не было. Вернулся на почту, забежал в магазин, в сельсовет — теток и след простыл. Наконец на автобусной остановке ему сказали, что тетки остановили шедшие из города «Жигули», коротко переговорили с водителем, сели, и машина повернула обратно.

Лаврюха повинился перед милиционерами и отправился на ремзавод просить буксиришко: «Начет там или не начет, а катерок вызволять надо».



ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Одно время газетный корреспондент Куликов ездил рыбачить в Белорецкий залив. Не то чтобы рыбалка там хороша, но ездить туда ему нравилось. И добираться удобно — от электрички полчаса ходу, и место красивое — домик стоял на высоком берегу среди сосен, и прежде всего оттого, что заведовал Белорецким хозяйством Андрей Вадимович Панюшкин, человек интеллигентный, умеющий поддержать любую беседу, а главное — добрейшей души. Теперь был он на пенсии, а до пенсии — инженером в НИИ, где занимались вопросами, по которым Куликов как собеседник интереса не представлял и которые, честно говоря, его самого интересовали мало. Конечно, Куликову в любознательности отказать было нельзя, но, заговорив однажды с Андреем Вадимовичем об этих вопросах, он тут же и понял, что для продолжения разговора необходимо

поступить в физико-технический институт и окончить по крайней мере три курса. «А лучше бы все пять», — несколько подумав, заключил Панюшкин, после чего оставалось развести руками.

Зато уж по всяким другим поводам беседы их складывались ладно и увлекательно и, кажется, были одинаково приятны обоим.

Работа требовала от Куликова частых разъездов, из которых он привозил вороха впечатлений. Чего бы они ни касались, Андрей Вадимович мгновенно угадывал проблему, стоящую внимания, и, обладая исключительной памятью на цифры и способностью быстро считать в уме, тотчас принимался вертеть ее так и эдак, разглядывая со всех сторон. Куликов однажды, к удивлению своему, понял, что уроки Андрея Вадимовича не прошли для него бесследно: разговарившись в самолете с начальником строительства электростанции, корреспондент вдруг увлекся и так лихо разбросал будущие киловатты между алюминиевым заводом, железной дорогой, промышленными центрами и освещением близлежащих поселков, что государственный человек принял его за инспектора из Госплана.

Как-то осенью он познакомился с Панюшкиным-младшим. Погода в тот день была омерзительная: холод, ветер. Увидел Куликов на улице рыбака с пешней и на следующее утро сорвался в Белорецкий залив с ящиком, коловоротом — совсем по-зимнему. И промахнулся: льда здесь не было, гуляли волы. Следом явились еще несколько бедолаг, но, обнаружив недоразумение, все умчались искать лед по другим водоемам. А у Куликова разгона, что ли, настроения не хватило, и он остался.

О существовании у Андрея Вадимовича сыновей он знал, однако сколько их и чем они занимаются — не имел представления. Вообще, знакомство это складывалось таким образом, что момент, когда начинают обмениваться подробностями биографий, был пропущен — в доме всегда находились приезжие, иногда человек десять-двенадцать, их присутствие, разумеется, не располагало к беседам на темы личные. Ну а пропустив этот момент, люди подчас совершенно теряют его из виду. И снова едва ли стоит упрекать корреспондента в недостатке любознательности — от всякой работы хочется иногда отдохнуть, и журналист может позволить себе роскошь иметь одного приятеля, о котором почти ничего не знает.

Алексее Андреевичу было двадцать три года, очень скоро Куликов определил, что он — медик. Этот народ угадывается

сразу — вот у них-то на все профессиональный взгляд, потому что все на свете либо вредно, либо полезно. Вредного больше. Молодой доктор, хотя и относился к своему профессиональному взгляду с иронией, тем не менее пил чай без сахара и отцу запретил: «Сахар — яд». Куликов подумал, махнул рукой: «Все равно помирать», — но вместо обычных трех кусков положил в стакан только два.

Ухаживала за мужчинами Елизавета Сергеевна — супруга Андрея Вадимовича, которая вместе с ним и вела хозяйство. Была она женщиной тихой, незаметной, но отличалась чрезвычайно обаятельной улыбкой и необыкновенной предупредительностью, происходившей не то от мягкости характера, не то от физического недостатка — супруга Андрея Вадимовича плохо слышала. А люди с поврежденным слухом, как правило, со вниманием и проницательностью относятся ко всему окружающему. Да и улыбка их почти всегда лишь знак — немного сожаления, вопрос и «зла я не хочу». А у Елизаветы Сергеевны в улыбке было еще: «Какие вы все хорошие и добрые люди».

После обеда Куликов вышел на террасу покурить и увидел, как ушла осень: вдруг стемнело, повалил снег, сплошной, стремительный, а когда через полчаса прекратился, осень была погребена. Смолк под белыми шапками шум сосновых ветвей, и суетливая поземка листвы замерла в сугробах. Из мрака выступил противоположный берег залива. Там тоже и земля и лес — все мертво белело. Только озеро осталось черным. Но и оно, совсем недавно штормившее, увязло теперь волнами в месиве снега и замолчало.

— Красотища! — выскочил на террасу Алешка. — Батя! Поехали донки ставить!

— Какие, к черту, донки? — Андрей Вадимович был в шлепанцах, остановился на пороге. — До первого льда никакого клева не будет.

— Но, может, она после шторма-то возьмет? — соображал Алешка. — Может, проголодалась?

— Нет, теперь только по первому льду.

— Все равно живец пропадает, жалко, что ли?

— Да поезжай на здоровье.

— А ты?

Панюшкин отмахнулся: «Пустое дело».

— Давайте быстренько поставим, — обратился к Куликову Алешка, — по-моему, налим должен брать.

Куликов согласился, хотя и не очень верил в успех предприятия.

Погрузили снасть в моторку и отъехали. Сначала на корме сидел Панюшкин-младший, но вскоре руки у него вымокли, замерзли, он передал Куликову румпель, сам перешел вперед и указывал направление. Против расчетов до места добирались долго — скоростной двигатель поднимал за кормой фонтан брызг, но с сопротивлением густой воды справлялся плохо. Наконец увидели белеющий островок. Следуя указаниям лоцмана, Куликов подошел с нужной стороны, вырубил двигатель, и лодка медленно вползла на отмель.

Привязав донку к колышку или камню, они отъезжали на веслах, пока не натянется леса, и осторожно опускали в воду грузило и рыбешку. От долгой возни руки заоченели, и мотор, когда рыболовы собрались возвращаться, удалась завести с трудом. Но уж управлять не было никакой возможности. К счастью, Андрея Вадимовича осенило включить береговой прожектор, и, сориентировавшись на далекий огонь, Куликов прижал румпель локтем к бедру и старался не особо сильно дрожать, дабы не сбиться с курса. Алешка запрягал руки под куртку, скрючился и совсем походил на мальчишку. Куликов, конечно же, понимал, что Панюшкин-младший — человек взрослый уже, достаточно самостоятельный, да и рыбак бывалый. Случись им познакомиться в какой-то другой обстановке, доктор, вероятно, не позволил бы себе сейчас вдруг расслабиться и запросто отдать старшинство. Но произошло так, что Куликов узнал Алешку рядом с Андреем Вадимовичем, а сыновья, даже взрослые, рядом с отцами непроизвольно делаются детьми. Корреспонденту доводилось замечать подобное и за пятидесятилетними сыновьями, и он нисколько не осуждал Алешку за расслабленность и жалкость. Ему было жаль доктора, хотелось поскорее привезти домой, в тепло, однако двигатель передавал винту все лошадиные силы без остатка, а судно медленно толклось в густой воде. Но добрались.

— Батя! Порядок! Двенадцать донок поставили!

— Хоть сто двенадцать. — Андрей Вадимович встречал на берегу.

Переоделись, перекусили. Куликов с Алешкой выбрали самую теплую комнату и завалились спать. Но, возбужденные мореходством, уснуть не могли. Обсуждали предполагаемые взгляды налима на сегодняшнюю погоду, степень его пищевых вожделений, а также вкусовые качества болтавшихся на крючках пескарей. Затем перебрались к рыбацким байкам, рассказывать которые — просто сласть, и можно до потери сил, однако вскоре разговор коснулся

Андрея Вадимовича, а затем и вовсе на него перешел:

— Теперь отец — другое дело! Даже сам иногда на веслах выходит кружкий погонять. А раньше — привезешь его, посадишь на берег, плащом укроешь, и сидит себе с удочкой, а ты смотри: жив или нет, на одном валидоле держался... А теперь, черт, здоровый стал, помолодел...

— Как же это ему удалось? — спросил Куликов, ожидая услышать поучительную историю о вреде табака, пользе диеты, зарядки и тайно надеясь, что на этот раз убедительность доводов вдруг да подействует, и вдруг он да и бросит курить, будет вставать в шесть утра, трусцой бежать от инфаркта, а то и в прорубь купаться полезет.

— Ну, здесь тишина, воздух хороший, а главное, — Алешка усмехнулся медицинскому слову, — психотерапия.

И с восторгом добавил:

— Елизавета Сергеевна — все-таки прекрасная тетка!

— Как — «тетка»? — не понял Куликов.

— Вы... не знаете? — смутился Алешка.

И, к удивлению корреспондента, оказалось, что Елизавета Сергеевна не имела к Панюшкину-младшему и его братьям никакого родственного отношения. С их матерью Андрей Вадимович развелся лет десять назад, а потом случайно встретил первую свою любовь Елизавету Сергеевну... Все это было настолько неожиданно для Куликова, что повергло его в глубочайшую растерянность:

— Да как же это? — только и мог произнести он.

Алешка усмехнулся:

— Как вам сказать? — И задумался. — В таких делах никогда толком не разберешься, но... В общем, правильно отец поступил. Жаль, конечно... Мы его очень любили. — Помолчал. — Он ведь всю жизнь потратил на нас: гулял с нами, играл, кормил нас... Так что был и отцом и матерью сразу.

— А мать что же? — машинально спросил Куликов и тут же проклял свое любопытство: по прерывистому дыханию Алешки, по его охрипшему голосу можно было догадаться, что разговор дается ему с трудом.

— Мать — человек тяжелый, — сказал Алешка. Куликов хотел уже извиниться за бестактность, но: — Для нее главным всегда оставалась работа. Мы почти и не знали матери. Я не помню, чтобы она когда-нибудь поцеловала меня или по голове погладила... Отец ушел на пенсию, ее уговаривал. А! Куда там! Работа, работа... Начались ссоры, скандалы...

Куликов понял, что теперь поздно уже останавливать разговор.

— ...А ему, видать, надоела холостяцкая жизнь в семье, вот он и... Да потом еще Елизавету Сергеевну встретил. Так у них все хорошо получилось, — голос его стал мягче, должно быть, он улыбнулся. — Даже мечты свои юношеские, чу, желания, что ли, исполнили: посмотрели «Чайку» во МХАТе, съездили вдвоем в Ленинград и поселились на берегу озера — такие вот три желания...

— А у Елизаветы Сергеевны муж-то был?

— На фронте погиб. Сын у нее подполковник. — И вдруг без всякого перехода спросил: — Как вы думаете, поймает ли что-нибудь?

— Даже не знаю, — усмехнулся корреспондент, обрадовавшийся перемене разговора.

— Налим все-таки должен брать — его погода. Чего-нибудь да поймает. А хоть ничего! Черт с ней, с рыбой! Главное — на воздух выбрались, отдохнули... Здорово здесь! Мне нравится, — зевнул и засопел, уже сонный.

Недолго подивившись чудесам судьбы, уснул и Куликов.

За завтраком Андрей Вадимович был молчалив, и Куликов предположил, что Панюшкин догадывается о ночном разговоре, и на всякий случай всем своим видом старался показать, что отношение его к Андрею Вадимовичу не изменилось.

Пошли на озеро. Было солнечно, тихо, искрился снег.

— Ну, батя, готовься! Пару-тройку налимов точник привезем! А может, и судачка. Смотри — гладь-то какал! — И показал на отраженный у противоположного берега лес.

— Может, и привезете, — заколебался отец.

И у Куликова трепетно шевельнулась надежда. Но, когда вышли на берег, к изумлению обнаружили вдруг, что гладь ледяная. Слой блестящего льда накрыл озеро. Сев на перевернутую лодку, Андрей Вадимович захохотал. Корреспонденту тоже стало необыкновенно смешно. Алешка попробовал лед каблуком — два сантиметра. Стало быть, пешком не пройдешь и на лодке не продерешься. Но Алешка все не сдавался:

— Да погодите вы! Может, это только в заливе лед, а озеро чистое?

— Надо дойти до косы, — предложил Андрей Вадимович, — если там чисто, возьмете в деревне лодку и съездите к вашему острову.

— Точно! — радостно завопил Алешка. И Панюшкины

взялись обсуждать, у кого можно будет взять лодку. Куликов всматривался в даль озера, и с каждым мгновением все ясней и ясней становилась ему бессмысленность общей затеи: над озером кружила стая уток, они то поднимались ввысь, то вдруг спускались и исчезали на фоне деревьев противоположного берега. Так покружились, покружились и, не найдя воды, ушли туда, где невозможно было рассмотреть их — так слепило солнце.

— Ну ничего, батя, — грозился Алешка, — через неделю приеду, схожу на остров, выколочу донки, увидишь: точно налим есть.

Гостям пора было ехать. Распрощались с хозяевами, и Куликов запомнил их счастливыми. А что касается всего другого, то корреспондент считал себя не вправе осуждать Андрея Вадимовича. Куликову нравилось его счастье, и Куликов сказал об этом Алешке, не преминув шутливо вспомнить пользу психотерапии для здоровья. Однако молодой человек был так расстроен превратностями погоды, что разговора не поддержал. И лишь когда электричка отъехала достаточно далеко от досадной рыбалки, он осторожно, а потом все решительнее заговорил о том, что надо верить чувствам, жить ими и тогда не на кого будет пенять — ты жил, как хотел, делал, что хотел.

— Кем работаешь? — перебил его Куликов.

— На «скорой», — ответил он машинально и продолжал разговор.

К врачам корреспондент всегда относился с некоторым недоумением: сообщат вот так между прочим: «отоларинголог», «рентгенолог», «акушер», а сами того не ведают, что они — действительные вершители судеб, что от них куда в большей степени, нежели от взаимоотношения разума и эмоций, зависят шаги нашей жизни. «Сидит передо мной врач «Скорой помощи». Скажем, грохнулся я сейчас со скамьи — он знает, что надо делать, а грохнись он — что я буду делать? Подергаюсь, потыркаюсь и за врачом побегу — вот так. И ведь сколько он успел увидеть трагедий и, наверное, сколько жизней спасти! Рассказал бы мне что-нибудь, глядишь, я через улицу только по переходу стану ходить и лишь на зеленый свет. Так нет же, на тебе — про эмоциональные начала...»

Корреспонденту лень было перечить. Он понимал, что молодой человек в том возрасте, когда на веру берется лишь свой жизненный опыт, а из чужого — выборочно то, что со своим согласно. Похоже, обсуждаемый предмет сильно занимал молодого человека в настоящее время, а возможно,

и требовал какого-то решения, и здесь пример отца был поводом для общих рассуждений, в которых сын все пытался отыскать себе поддержку. Куликов видел это, видел, что Алешка поглощен своим чувством настолько, что перед жизнью в растерянности и, вероятно, делает ошибки. Но корреспондент молчал. Давно зарекался он давать советы, зарекался выводить законы жизни. Разговор был ему в тягость, но приближалась Москва, и вскоре рыболовы расстались.

История Андрея Вадимовича, между тем, произвела на Куликова впечатление столь неожиданного характера!.. Впрочем, корреспондент об этом пока не догадывался. Пока он устало брел к своему трамваю. Но возле телефонной будки остановился, посмеялся над собой, приотворил дверь и вдруг задумался: раздрызганный вокзальный автомат был ненадежен. С вокзала можно позвонить, чтобы сказать «прощай» и больше ничего, так как вся прочая информация будет понята на другом конце провода самым невероятным образом. Куликов осмотрелся и нерешительно пошел по проспекту. У телефонов он не задерживался: на проспекте много народу, всегда найдется человек, который постучит в дверь монеткой «сколько можно?». Самые лучшие автоматы в тихих переулках. Во-первых, здесь мало народу, во-вторых, во всех домах телефоны, так что автоматы здесь для случайных прохожих, то есть для Куликова как раз. И он набрал номер, памятный с юности, назвал имя, сказали, что она давно уже здесь не живет. «И слава богу», — сделал вывод Куликов, покончив со своей нечаянной сентиментальностью.

Но месяца три спустя — надо же такому случиться! — обнаружили вдруг общие знакомые. «Москва большая, она же и маленькая», — удивленно объяснял себе Куликов, хотя, вероятно, дело было не в этом, а в том, что корреспондент, сам того не ведая, искал встречи. Куликов узнал новый адрес, телефон, позвонил, и голос его дрожал, и оказалось, что она давно развелась с мужем, живет одна, то есть не совсем одна, а с дочкой, ну да не важно.

Ах, что тут началось, что случилось! Ну, голову-то он само собой потерял, и «эмоциональные начала» поволокли его цевесть куда. И все никак не удавалось встретиться: то Куликов в отъезде, то вдруг грипп: она с дочкой болеет, а у Куликова вся семья здорова — в конце концов, не через марлевые маски объясняться? Потом они выздоравливают, и в сей же момент заболевает Куликов — тот самый случай, когда судьба находится в руках врачей.

Как всякий или почти всякий человек, проживший полто-

ра десятка лет с женой, Куликов в тайной даже от себя самого глубине души полагал, что выпадет ему фарт, и он готов к серьезной перемене жизни. «Гулять» просто так Куликов не хотел — то ли хватало порядочности, то ли не верил в возможность этого предприятия и вот по какой причине: жена корреспондента в высшей степени обладала тем потрясающим бабьим свойством, которое зовется интуицией. Бывало, подумает Куликов, что назавтра предстоит зайти к такому-то, а у того симпатичная секретарша — в ту же ночь жене снится сон, настолько дурной, что ей все понятно. Тут уж всякий интерес пропадет...

Так что готовился Куликов к шагу решительному и бесповоротному. То вдруг наступит просветление: «Боже мой, с ума я, что ли, сошел?! Такое придумать?!» — И за голову схватится. А то вдруг все к черту летит: «Сын уже взрослый, он меня поймет, а на остальное — плевать».

И было это так тяжело, что в конце зимы Куликов сильно захворал и месяц провалялся в больнице с «осложнением после гриппа».

Выйдя из больницы, корреспондент первым делом отправился отдохнуть в Белорезцкий залив. Ему так хотелось встретиться с Андреем Вадимовичем и в беседе на какие-нибудь отвлеченные темы найти себе успокоение. Хотелось еще узнать, чем кончилась история с донками, да и на рыбалке Куликов давно уже не был. Зима кончалась, лед становился рыхлым, тонким — для клева самое подходящее время.

Но встретил Куликова незнакомый человек. На вопрос об Андрее Вадимовиче помолчал и пригласил за собой. Прошли через столовую, где шла обыкновенная рыбацкая пирушка, столь непривычная и неожиданная здесь. И в той самой комнате, где когда-то Куликов ночевал с Алешей, незнакомый человек представился новым заведующим Белорезским хозяйством и сказал, что Андрей Вадимович умер.

— Как?! Когда?! — корреспондент объяснил, что был приятелем Панюшкина, но в силу обстоятельств с самой осени не мог навестить старика.

— Знаете, — начал новый заведующий, — у Андрея Вадимовича была жена. Первая жена, — уточнил он, — не Елизавета Сергеевна, а первая...

— И что?

— Зимой она скончалась. В декабре. Андрей Вадимович сразу и заболел. Мы с товарищами зимой часто сюда навдывались — налим хорошо брал, — так что все происходило, можно сказать, на наших глазах. Андрей Вадимович буквально

то с каждым днем становился все хуже и хуже. Приехали однажды, а его уже нет — умер. От инфаркта. Ну, похоронили его, и Елизавета Сергеевна уехала к себе. Она вообще из Тамбова. Сын у нее там... А вместо Панюшкина меня назначили... Вы как — порыбачите? Подлещичек исплохо берет, мелкий, правда. И плотвичка иногда...

— Нет уж, спасибо, я поеду домой.

Заведующий проводил Куликова и на прощанье, словно оправдываясь или извиняясь за Панюшкина, развел руками:

— Что поделаешь? Какая-никакая жизнь, а приросли — тридцать лет все-таки...

С тех пор в Белорецкий залив Куликов не ездит. Изредка в рыбацких разговорах вспоминает прежние свои там рыбалки. Добрейшего Андрея Вадимовича, обаятельнейшую Елизавету Сергеевну. И все-то сбивается, рассказывая, все-то останавливается: чудится Куликову, что из этих воспоминаний смотрит на него кто-то, может быть, даже он сам, и говорит мягким голосом: «Так-то, брат» — и с грустным лукавством подмигивает.



ПИЛОТ

Светлеющим осенним утром, разбудив окрест всех ворон, Савин посадил машину в Шереметьево, зарулил на стоянку и выключил двигатели. Полет был завершен. Несложный, обыкновенный почтой полет. Лишь теперь, выведя из работы машину, Савин почувствовал, как тяжелы веки. Сняв наушники, он закрыл глаза.

Второй пилот отворил люк, спрыгнул на бетон и, морщась и прихрамывая от резкой боли в затекших ногах, пошел под крыло. Следом за ним высунулся из люка маленький штурман, осмотрел небо, порт, неступленно зевнул и вдруг заругался хриплым фальцетом:

— Черт! Лестницу лень набросить?

Приволок дребезжащую дюралевую стремянку и, поживаясь, спустился.

— Однако прохладно... А небо — красотища! Как на плакате Аэрофлота. Э!.. Чего там под движком натекло? Второй только рассмеялся в ответ.

— Невежественный ты мужчина,— штурман опять зевнул, помотал головой и вытер слезы.— Ох, прошибает!.. Несolidный ты, говорю, ничуть. И первому отдохнуть не дал..

— Кто? Я? Чья дорога? — Засунув руки в карманы, он картинно вышагивал перед штурманом.

— Дорога была отличная — за семь часов долетели, но чего ты над Уралом выделявал?

— А другого эшелона, как всегда, не нашлось?

— Подходящего не было. Честно — не было! А этот — чистенький, и ветерок — наш. А?! Как шеф прошел!.. «Беломор»? Дай-ка... Шеф, Вася, он король... Может, и спички дашь?.. Благодарствую. Как он сажал тогда в Ухте! Без капли горючего! Шасси, конечно, того, но... понял? Одно слово: король. А знаешь почему? Иди, на ушко скажу по-тихому... У них с машиной любовь! Ну чего ржешь? Я серьезно! А, бестолочь... С машиной, Вася, надо обращаться, как с бабой, чтоб ты знал: тут пожалеть, там приласкать, гостинца какого...

— Какого еще гостинца?

— Дурень! Горючки, маслица разного...

— Ох-хо-хо! — второму пилоту было весело и от разговора, и от свежего, еще не пахнувшего выхлопом аэродромного ветра, и оттого, что под ногами твердый бетон, а не размытая дождями заполярная жижа.

— Да погоди, послушай!

— Ну!

— Она за это все для тебя сделает!

— А насчет битья как?

— Иногда можно, конечно, если необходимо. Ну, дай договорить!

— Валяй, валяй!

— Так вот: почему бабы хуже нас летают?

— Ну!

— Взаимопонимания нет! Они ведь и промежду собой грызутся, и с машиной то же самое получается! — победно заключил штурман.— Мозгуй, Вася, пока молодой. Пригодится. А то, вижу, нет у тебя никакой серьезности.

Штурман вернулся в самолет, сказал что-то понавшемую механику и прошел в кабину, к Савину.

— Может, заскочим?

— В международный?

— Конечно! Коньячку, грамм хоть по сто, да и позавтракать.

— Можно. Как там, плащ надевать?

— Ага, прохладно.

Порт просыпался. Погасли посадочные огни, загудел где-то топливозаправщик. Вдоль стоянки международного к красавице «Каравелле» катился голубой автомобиль техобслуживания.

В таможене собирались первые пассажиры, и какой-то провожающий, дурачась, помогал пограничнику:

— Этого пропусти. И этих двоих тоже... А этого не пускай! Не пускай, говорю! Куда ж он с такой рожей? За границу?!

Пограничник хмурился, сдерживая улыбку, и «помощника» не прогонял: помеха была невелика, а в суровой работе все же развлечение.

Вежливо козырнув, прошли два пилота «Эр Франс».

— Знакомые? — спросил штурман.

— Нет, видят, что мы устали...

Из аэропорта Савин погнал на такси в управление, где утверждались новые графики, сметы, планы, и провел там весь день. Потом поехал домой отсыпаться.

Жил он в коммунальной квартире на Новослободской. Здесь пахло детством, а в ванной цинковыми гробами висели три теперь уже никому не нужных корыта: инженер Люся купила стиральную машину, мать Савина умерла, а Петрович, после того как ушла жена, сдавал белье в прачечную.

Была пятница, и Петрович отмечал ее на кухне.

— Ну, как всегда? — спросил Савин.

— А ты не сердись. Маненечко ведь, ну... Ведь, ежели подумать, так для того и живем...

— Философ, однако.

— Будешь?

— Ну тебя.

— Полстаканчика!

— Устал. Таня звонила?

— Звонила. Сегодня... Или вчера? Не помню. Велела на дачу...

Утром таксист отвез Савина к Коробовым. Отыскав Татьяну на пляже, Савин разделся, лег загорать, но теперь песок не прогревался солнцем, Савин быстро замерз и перебрался на плед. Плед был сложен вдвое, узок, они

лежали рядом, прикасаясь, и, уткнувшись подбородками в скрещенные руки, смотрели за реку.

— Ничего? — спросил Савин, покосившись на соседствующую публику.

— А, плевать.

Он не любил этот пляж, где собиралось «светское» дачное общество. Не любил лица, сияющие самодовольством и уверенностью в завтрашнем благополучии, а таких здесь было большинство. Савин привык жить и работать среди людей более или менее уверенных в собственных силах, ну а насчет фортуны — это ежедневно приходилось выяснять заново.

Рядом какой-то парень собрался купаться и забрел в воду. С берега шумно подбадривали, смеялись, а он, поеживаясь, осторожно ступал в быстром мелководье и вздрагивал при каждом неаккуратном движении, вызывавшем брызги.

— Кто это? — полюбопытствовал Савин.

— Барышев.

— Такой молодой?

— Да не сам он, а младший брат.

На середине реки парень остановился. Вода была по колено. В том месте дно сразу опускалось, но нырять он не стал, махнул рукой и под дружный хохот приятелей бросился назад, к берегу, к теплому полотенцу. Там еще долго не затихало веселье.

В отгоревшем кошениом лугу за рекой пасли лошадей. Двое верховых не спеша правили табун к реке.

— Элиз, кажется, сошла с ума.

— Какая Элиз? — Савин так почти никого и не знал, хотя круг посетителей этого пляжа был постоянен и весьма невелик.

— Лизка, в белом бикини, все на тебя смотрит.

— Ну и черт с ней.

— Хороша девка. Шмагин год на нее потратил и без толку.

— Какой Шмагин?

— Вот стоит, у «фольксвагена».

— А кто он?

— Массажист, кажется. Или банщик. Не знаю.

Пастухи подъехали к реке, оставив недалеко за собою табун. Придержали коней у кромки невысокого обрыва и курили в седлах. Оба — в длинных вислых плащах, маленьких черных кепках, оба небриты и смотрели сум-

рачно. Изредка оборачивались друг к другу, коротко говорили. От солнца или от скуки дремали их кони, отражаясь мордами в воде — там, у берега, был гладкий плесок.

— Как Светка? — спросил Савин.

— Уже лучше. Отпуск взяла, у нас поживет.

— Опять?

— А что делать? Нельзя же ее сейчас одну оставлять...

Табун подходил к берегу, разномастный, пестрый. И один белый конь, удивительный здесь, недалеко от Москвы, теперь, а не давным-давно прежде.

— Знаешь...

Что было Савину слушать? Умер муж ее лучшей подруги. Плохо. Но ведь умер уже?! А Светка... Ничего, это проходит.

Ему случалось видеть искореженные фюзеляжи, мятые кабины, разбитые приборные доски в желеобразных ключьях мозга — ключьях памяти, опыта и надежд. Приходилось ставить дюралевые обелиски на могилах друзей. Слышал он и рыдания черных вдов и знал, что это проходит.

— Ты не слушаешь меня.

— Я искупаюсь, пожалуй.

— С ума сошел?

И зачем он спросил о Светке? Зачем начал этот разговор? А про что говорить? Про то, как завтра лететь? Как садиться на раскисшую полосу? Он вошел в воду. Он был героем пляжа и старался держаться спокойно. «Глушость, конечно, но что делать? Надо же как-то оборвать этот дурацкий разговор». Татьяна оставалась на берегу и отвлекала на себя половину любопытных взглядов. Савин поплыл. Течение уносило его от пляжа, чужих глаз, но вместе с раскованностью пришел озноб.

У противоположного берега желтыми островками мокли сбившиеся листья, принесенные из далекого леса. Как красив лес в эту пору! Как тепл, щедр на золото, какими добрыми кажутся пауки! «Когда же я это видел в последний раз? Давно. Забыл когда». Он успел привыкнуть к другим масштабам и оттого, спускаясь на землю, изумлялся мелочам, невидимым с воздуха.

Дрожая, Савин прошел вверх по реке и снова влез в воду.

— Явился? — Она потянулась и сделала вид, что

зевает.— Господи, да ты совсем синий! Возьми, полотенце!

Растираясь, он все не мог унять дрожь.

— Сумасшедший! Скорее домой!

Но бегство испортило бы впечатление от сносно сыгранной роли. Он медленно оделся и, взяв Татьяну под руку, провел ее сквозь выставку машин, между телами банщиков, зубных врачей, чиновников «Внешторга» и всяких родственников всяких знаменитостей.

Потом опять слушал о похоронах, все старое, только одно новое утешение: «Хорошо, что у них не было детей». Спросила о полете.

— Можно завтра, — отвечал Савин, — но вылетим, наверное, сегодня — надо спешить, пока нет сильных дождей и полосы не очень размокли.

— А погода?

— Нормальная. Над Уралом немножко...

— Опять «немножко»! Лучше б до утра подождали, вдруг что...

Он поморщился:

— Ты знаешь, со мной никогда ничего не случается.

— А в тот раз? Говорила: «Останься», чувствовала, дура, а так и не удержала.

— Ну и что? Ну вывихнул ногу — единственная травма на весь экипаж.

Обедали вдвоем. Коробов-отец уже пообедал и работал наверху в своем кабинете.

За окнами гостиной был сад, ржавели на подоконнике сосновые иголки, и Савин вспомнил, как лет восемь назад, той же порой он впервые приехал на эту дачу, копал ямы, сажал деревья, и вот они прижились, выросли и стоят среди высоких голоствольных сосен и желтеющих берез — зеленые, пышные, все еще не понимающие осени южные красавцы. Названий их, к обиде Коробова, он так и не запомнил.

Потом, в своей комнате уже, Татьяна спросила:

— Савин, мы когда-нибудь поженимся?

— А разве мы... Извини. Можно, конечно.

— Интересно когда?

— Ну, как-нибудь. Выберем время. А что, собственно?

— Дело в том, что... Ладно, — грустно усмехнулась она, — давай хоть обвенчаемся.

Он с удивлением следил, как Татьяна принесла икону, зажгла за столе две свечи, и даже растерялся.

— Что-нибудь нацепить или так можно? — спросил он, вылезая из-под одеяла.

Было торжественно, но ничего не получилось: Татьяна от волнения путала слова, Савин весело пытался правлять, заспорили, и Татьяна расплакалась.

Засветло пошли к автобусной остановке, где обычно ждали пассажиров заехавшие сюда таксисты. Шли через парк.

— Я никогда не спрашивала тебя о любви. Ты жил, как хотел, и там у тебя, наверное, были романы...

«Романы!» — усмехнулся Савин.

— Я никогда не просила тебя, но сейчас, если... если привязан ко мне, прошу...

Паутинка лежала у нее на ресницах.

— Через неделю вернусь, и все будет в порядке. Готовь свадьбу. Или неудобно?

— Ничего, Светка сейчас лучше. Как хорошо, что у них не было детей! — вдруг рассеянно улыбнулась чему-то, но на мгновение.

«А может, вовсе и не хорошо — ничего не осталось?» — подумал Савин и удивился, вспомнив, что уже несколько раз слышал сегодня эту фразу о детях.

— У тебя на ресницах паутинка.

— Осень, — отвечала она, подумав. И в самом деле, не могла же она сказать: бабье лето.

— Ну пока, вон такси.

Он обнял ее и пошел к машине.

— Савин, — вдруг закричала Татьяна, — останься! Нельзя лететь! Нельзя! Я боюсь!..

— Вздор, — сказал Савин, захлопнув дверь. — Шереметьево.

Шофер кивнул, шоссе метнулось под колеса.

Долго сидел он, словно в оцепенении, сжав челюсти и пусто глядя перед собой. Все в голове смешалось: непонятное венчанье, Татьянино дурное предчувствие — все такое неожиданное, внезапное. И какая-то недоговоренность во всем, и эта дурацкая фраза о детях. «При чем здесь дети?»

Между тем погода испортилась. Стемнело, пошел дождь и делался все сильнее. Шоссе намокло, и, когда появлялись встречные машины, огни их с длинными отблесками на асфальте казались Савину похожими то на зажженные свечи, то на перевернутые восклицательные знаки.

Чудак.



ВОСПОМИНАНИЕ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

(Рассказ музыканта)

Здесь все знакомо мне: ворота, крест, рука юродивой старухи, аллея лип и уходящая вправо тропа. Сначала «Зоя Павловна». Так звали и мою учительницу — пианистку редкого таланта.

Она забеременела во время подготовки к конкурсу, который был последним шансом прорваться в круг мастеров. Сейчас, рассказывали мне, учительница жила где-то в пригороде с двумя детьми, подрабатывая в каком-то клубе, что, не-видимому, являлось жестоким, каждодневным самоистязанием. Муж давно оставил ее.

«Полковник, Герой Советского Союза», — вспоминаю отца. Непременные разговоры о политике, войнах, песню, из которой знаю отчего-то только один куплет: «Шел солдат с похода, зашел солдал в кабак, сел солдат на бочку, давай курить табак», — такая песня.

Напротив — «Иванов». Знаменит тем, что не вызывает никаких ассоциаций. Каждый раз удивительно и смешно: полжизни прожил, а ни одного Иванова в памяти. Петровых — два, Киселевых — шесть, а Иванова — ни одного.

Геолог. Это почти упрек: брат уже месяц, как вернулся, а я все не выберу времени навестить его.

Экипаж бомбардировщика. Раньше вспоминал, что в детстве хотел быть летчиком, но четыре года и здесь уже думаю об отце — последней его машиной был бомбардировщик.

Велосипедист. С фотографией. Очень похож на моего тренера по горным лыжам, отличавшегося веселым нравом, грубой решительностью и маниакальным пристрастием к пиву.

«Тайный советник Лужин», «Воробьев», солдат, купчиха, два младенца, плита без надписи, «семейство Кертель» и несколько шагов еще.

Вот черный камень с синими глазами — лабрадорит. И привезен издалека. Я безнадежно долго искал его, обошел все мастерские города, мне предлагали тонны мрамора, габбро, кварцитов, граниты всех мастей; коллек-

ционеры показывали образцы лабрадорита и с конесчными глазками, и с большими, как блюдца; я узнал химическую формулу черного камня и его синих глаз, научился отличать топазы от стекла, шпаты от засохшей извести, печально собрал коллекцию минералов, подарил брату. Но камня в городе не было. Пришлось ехать туда, где его добывают.

...Лето, полдень, только что прошел дождь, и карьер выглядел фантастически: в угольно-черных разломах стей, в отброшенных взрывами глыбах, в камнях и камешках, усыпавших дно, — повсюду холодно искрилась синева.

— Знаете, — сказал начальник рудоуправления, — когда я вот так смотрю вниз, всегда вспоминаю одно и то же: войну, выжженное черное поле, на котором почему-то выросли и цвели васильки. Картина прекрасная, но печальная. Жуткая! Я понимаю вас, я сам люблю этот камень, но что поделасшь? Монолиты продаем только организациям...

Потом завывала сирена, и пришлось уйти, потому что готовился взрыв. Шли молча. У самых дверей конторы спутник взял меня за локоть:

— Вообще-то есть один варпант — я подарю вам...

— Образец для коллекции?

— Нет. Монолит нужных размеров.

— Какой-нибудь, как у вас говорят, некондиционный?

— Зачем. Выберем! Понимаете, за деньги оформить его нельзя, но... Могли бы вы дать концерт? Дом культуры у нас большой, сбор гарантируем.

— Концерт я, конечно, могу дать, но только бесплатно.

— Ну что вы! Продадим билеты, все будет солидно...

— За деньги оформить его нельзя, — пожал я плечами, мы рассмеялись.

По моим чертежам в слесарке сделали подстрочный ключ, и несколько часов я настраивал старый «Бехштейн», вспоминая времена ранних гастролей, Дома культуры с холодными залами, разбитые инструменты, которые приходилось настраивать подолгу и с большой осторожностью — между клавишами частенько обнаруживались лезвия бритв — провинциальная шутка. Ведущий все что-нибудь да напутает, хихикнет, отзовется в зале, жидко поаплодируют, приветствуя, а в паузах слышишь спокойные разговоры о том о сем, идиотские реплики.

Теперь был опытнее: начал с наиболее популярных вещей, рассказывая о композиторах, пианистах, и так прошло без перерыва три часа.

Утром уехал, а вскоре получил пачку бумаг, оформлявших подарок «за шефский концерт». Потом пришел монолит. Идеально обработанный и с пужной надписью.

Я смотрю на него, как в зеркало, смотрю тупо, бесстрастно, надо бы хоть цветы положить, да с собою нет, забыл в машине. «Ах, камень, камень! Что, брат, в тебе толку? Ты ничего не видел и не знаешь, ты не ее, ты мой. А потому на кой ты черт мне нужен?»

Темнеет. Церковный колокол бьет шесть. Пора идти.

Привычно пахнет замшелой сыростью, слабый ветер доносит дым осенних костров — где-то сжигают листья.

— Не прогневи господа, пожалей милосердно!

— Что, мать, не узнаешь?

Она поморщилась, припоминая, и кивнула:

— Не был давно, запомятовала.

— Давно.

Старухе подавали новички, не знавшие, что деньги она сдает священнику — своему сыну.

— Ну, с богом, приходи.

— Приду. Не скоро. Опять забудешь.

Ворота, и над ними крест.

— Куда теперь? — спрашивает таксист.

— В консерваторию.

— Пока тебя ждал, две «Волги» долбанулись.

— Ну и как?

— Ерунда, могли и похуже. За сто метров видел: впритирку идут, а друг на друга не смотрят. Хрясь! — частнику заднюю дверь помяло, а этому, с одиннадцатой базы, бампер. Как люди ездят? Я вот уже пять лет за рулем — ни единой царапины, а до этого на грузовике месяца три — и тоже ничего. Аккуратненько надо! Я даже не представляю... Ты когда-нибудь попадал в аварии?

— Нет. А впрочем... лет пятнадцать назад. Автобус в столб врезался.

— Ну и как?

— Шишек понабивали...

— Повезло! А то, знаешь, бывает как?..

Погибнув тогда, я, наверное, потерял бы столько же,

сколько вовсе и не родившись: все-то нечего было терять. Вскоре начались каникулы, я просился в горы кататься на лыжах, но путевку достать не удалось, и меня отправили в зимний лагерь на взморье. Отправили со скандалом. Когда бы знать!

Там все было — туман. И только один вечер, последний, я помню сейчас, буду помнить всегда и вспомню, умирая: снег, сосны, море... Она остановилась, я прошел еще несколько шагов, обернулся... Так началась моя жизнь.

А когда через два года я опять целовал эти губы, они были лекарственно-горьки и глянцево блестели на неподвижном опаловом лице. Ночью, хотя я не спал, приснилось поле, люди, идущие по нему, и вдруг кто-то падает впереди, и кто-то еще, с каждым шагом их становится больше... И лучший твой шанс — отдать жизнь не за просто так.

Любопытная вещь: с чем ни сравнивай жизнь — все трогательно получается.

— Здесь, что ли?

— Дальше, к служебному.

— Ага. А вот еще случай был, у Савеловского...

Мне встречаются разные консерваторские люди. В гардеробной — суетливый и привстливый старикаш Федя, неизменно интересующийся новой программой.

— Рахманинов? Как хорошо-то! Вот уж послушаю, а? Должно, интересно выйдет, Рахманинов, а? — И глаза его начинают радостно слезиться.

— Ай-яй-яй, Рахманинов, а? — все вздыхает старик, выйдя из гардеробной и провожая меня удивительно ласковым своим взглядом до самых дверей администратора.

В кабинете Анны Михайловны вечный запах табачного дыма и валерианки.

— Ну, голубчик, явились? — спрашивает она с приторной строгостью. — Все в порядке? — Говорит сквозь зубы, не вынимая изо рта папиросы, мундштук которой густо окрашен помадой, и щурит от дыма глаза.

— В филармонии были? С оркестром договорились? Давайте, давайте Рахманинова. Он уже в абонементе стоит. Что-нибудь так декабрь, январь... Да! Приходила музыковед с телевидения — Березовская. Где-то здесь крутится...

На лестнице поджидает меня Борис Львович — настройщик. Мастер и абсолютно бескорыстный человек.

Кроме консерваторских, он настраивал еще несколько наших роялей и никогда не брал денег. Чтобы отблагодарить его, приходилось выдумывать всякие «предпраздничные премии», «памятные подарки», которым он удивлялся, но верил. Не верить не умел.

— В третьей октаве на «ре» одну струну заменил. Держится вроде неплохо, но, черт ее знает, вдруг поползет? Как раз в первом отделении самая нагрузка, вдруг?..

Никаких «вдруг» не случится, но, как обычно, волнуется он больше исполнителя: будет, знаю, стоять у дверей и грызть ногти. Он и сейчас уже шмыгает остреньким носом, часто моргает, трет бровь, приглаживает редкие волосы.

— Спасибо, Борис Львович, большое спасибо.

Кивает, подносит кулачок ко рту и начинает обкусывать мизинец.

В артистической навстречу мне поднимается из кресла стройная женщина с сияющими глазами и необыкновенно подвижной головой.

— Чем могу быть полезен?

— Березовская, из музыкальной редакции телевидения. — Глаза ее то заволакивались ресницами, то вдруг снова вспыхивали восторгом. — Мы хотели бы сделать передачу о вашем творчестве.

— И что?

— Не могли бы вы уделить мне несколько минут? Я уже писала о вас.

— Читал.

— Не понравилось?

— Говорить об этом, по-моему, бесполезно. У вас, как, впрочем, и у ваших коллег, композитор непременно что-то хочет «сказать» своим произведением, передает «мысли», рисует «картины», и вы всегда знаете, какие картины...

— Но...

— У вас есть дети?

— Дочь, а что?

— Возьмите вашу статью, слово «соната» замените на слово «дочь», а вместо фамилии композитора поставьте собственную, тогда, может быть, поймете, почему не понравилось. Я, разумеется, несколько упрощаю, но, видите ли... И потом, вы чрезвычайно восторженны. Впрочем, это тоже общее для всех музыковедов свойство. Ну да ладно.

— У меня остался невыясненным ряд вопросов.

— Только конкретней, пожалуйста.

— В мемуарах вашего учителя дважды говорится о вас. Я выписала. Сначала вот что: «Он поразил меня еще во время вступительных экзаменов, поразил абсолютной, неистовой самоотдачей. Даже в тех фразах, которые можно было играть традиционной, академичней, он буквально выворачивался наизнанку. В другом случае это показалось бы забавным, но здесь — да простят мне читатели выпренность стиля — на клавиатуре лежало сердце... Техники, правда, не было совсем — сказывался перерыв в занятиях». И еще одно, секундочку... «Бетховен... Бетховен... конкурсы...» Ага, вот: «...но существует неопределенная гамма чувств, их оттенков, в проявлении которых он чрезмерно сдержан, и оттого много теряет. Я замечал это в его исполнении самых разных композиторов, особенно чувствовал в шопеновских вещах — в некоторых мазурках и ноктюрнах. Лишь большим усилием воли можно было проникнуть сквозь внешнее оцепенение и установить контакт с исполняемым», — читала она как школьница, до безобразия выразительно.

— Так что же вас интересует?

— Сначала: перерыв в занятиях. — И приготовила блокнот.

— Однажды, решив стать самостоятельным, я бросил музыку и несколько месяцев проработал в типографии. Потом меня разыскала бывшая моя преподавательница и заставила заниматься. Вам это интересно?

— Секундочку...

Отлично помню, как, вернувшись со смены, застал дома сильно располневшую Зою Павлову. Взглянув на мои руки, она заплакала. Мать тоже ревела. Смешно было подумать, что эти вспухшие, изрезанные бумагой пальцы совсем недавно...

— И второй вопрос: о какой гамме чувств идет речь?

— Понятия не имею. У вас всё?

— Еще два маленьких вопроса. Сколько часов в день вы работаете?

— Круглые сутки.

— Ну, а на самом деле?

— Десять, семь, пять, — сколько надо.

— Вы волнуетесь сейчас?

— Не знаю.

— Ну, раз уж вы так любезны и терпеливы, то позвольте...

— Однажды терпение кончается. Простите меня.

Она пытается еще что-то сказать, но тут, слава богу,

в комнату влетает Ниночка — диктор телевидения, удивительно энергичная, вечно улыбающаяся, очаровательная Ниночка.

— Как?! Вы еще не переоделись?! Березовская! Отстань со своим блокнотом — первый звонок дали!

— Ухожу, ухожу. — Но, прежде чем уйти, Березовская долго благодарит меня, отступая небольшими шажками. Наконец сияющая улыбка и восхищенный взгляд скрываются за дверью.

— Замучила?

— Да ну ее.

— А теперь быстрейко переодевайтесь. Изменений в программе нет? Превосходно. Скорей, скорей, я отвернулась.

Сегодня запись. Все бы ничего, но вот слепящий свет, жара, как в бане, а наверху еще ставят прожекторы, в которых иногда взрываются лампы.

— Готовы?

— Да, почти.

— Отлично. Никого не впускайте, никуда не уходите, я позову вас. — И мгновенно она исчезает, чтобы за несколько минут проверить готовность своих телевизионщиков, вызвать меня и открыть концерт.

Теперь наконец я чувствую волнение. Оно подкрадывается незаметно, где-то в дверях консерватории или раньше, быстро растет, и вот я физически ощущаю его: сухость в горле, стук в висках, в груди, руки начинают неметь от холода, и, когда я снимаю телефонную трубку, они дрожат.

— Готовы?

— Да.

— Спускайтесь, объявляю.

Я сбегаю по лестнице, прохожу коридор, открывается дверь. Зал переполнен, можно не смотреть — слышно по аплодисментам. Разминаю застывшие пальцы. В партере кашляют. Шелестит галерка. Становится все тише, тише... Ну! Мир умирает.

А через час является вновь. Огромный, шумный шар, где сразу день и ночь, зима и лето. И каждую секунду где-то роды, где-то смерть, и мир живет всем этим, непрерывно дышит. А я, как проклятый, я обречен идти. Мимо всего, почти не останавливаясь. Лишь иногда антракт: сменить мокрую рубашку, выкурить сигарету.

— Как вы себя чувствуете? — явилась Ниночка. — Устали?

— Да, немного.
— Знаете, было так здорово!
— Спасибо.
— Веселей! Ну! Веселей! Делайте что-нибудь, зарядку, что ли! Встряхнитесь, ну!..

А через десять минут:

— Вы готовы?
— Да.
— Спускайтесь, объявляю.

Теперь волнения нет. Теперь мне просто жарко в душном зале. Вытираю ладони платком, жду тишины. Весь сложный механизм мышц готов к работе. И в мгновение, когда я думаю о том, что клавиатура консерваторского рояля чуть жестче, чем у домашнего «Стейнвея», а точный звук в пианиссимо первых тактов мне чрезвычайно важен, пальцы коснулись клавиатуры, преодолели жесткость, сдержались от провала в форте — они все вычислили, все почувствовали и дали нужный звук.

...И снова шум, снова цветы. «Бетховен. Четыре сонаты» — это немного. Но как я устал!

Я ухожу со сцены, возвращаюсь, снова ухожу. Мне вытирают лицо, вдруг вспоминаю, как потерял контроль над исполнением в «Аллегро», когда капля пота, остывая, медленно сползала с переносицы по мокрой щеке, доведя меня до ярости. Хотелось разодрать щеку, расцарапать. К счастью, удалось ткнуться в плечо. На все это ушло несколько секунд — время, в течение которого руки музыканта могут механически передавать довольно сносное соответствие отрепетированному. Однако сейчас во мне снова шевельнулось раздражение.

— Просят. Придется играть еще.

Четыре сонаты — немного, но я так устал! Под ребрами — пустая пол-литровая банка, которая ни черта не качает, потому что все выкачала, и даже стенки стали прозрачными.

Когда я прихожу в себя, зал тих. Или я не играл? Спай, что ли? Потерял сознание? Как долго это длилось? Начинаю другую мазурку и проверяю зрительно — да, пальцы работают.

И снова тишина. Но ведь я же играл! Свистите, кричите, но ведь я же играл — сам видел?! Что это — бред, галлюцинации? На глазах у тысячной толпы лишаюсь рассудка? Нет!

Нет, неправда, я пройду это черное поле, обязан пройти!

И дорог мне каждый шаг, и нельзя останавливаться. Вот левая рука. Мокрая? Вытру платком. И правую. А теперь: восемь слигованных аккордов в левой, триоль в правой, в левой — аккорд на три четверти, в правой — мелодия... Но ведь играю же? Доиграв, встаю и ухожу со сцены.

— Отчего так тихо?

— Тихо! Голубчик, стены дрожат! Смотрите, цветов-то сколько!

Ах, цветы! Да, есть цветы, вижу. Вот слышу шум... Понимаю: не хотели мешать аплодисментами, ждали, куда же меня хватит. Конечно, всем интересно, вышла книга учителя, и всем известно про «неопределенную гамму чувств» и «оцепенение». Хороший был старик. Гениальный. И не уроки, а прямо-таки концерты — до полусотни человек набивалось в класс посмотреть, послушать. Великий старик. Теперь вот книжка, я в нее попал с той самой «неопределенной гаммой чувств» и «сдержанностью».

Какая, к черту, «гамма»? Просто-напросто воспоминание. Воспоминание для фортепиано.

Меня выталкивают на сцену, начинаю ходить туда и обратно, стараясь не смотреть на рояль — тошнит от него. Все! Закрываю дверь, приваливаю к ней спиной: все.

— Еще, пожалуйста, еще Шопена!

— Гасите свет.

— Еще! Ну, пожалуйста!

— Все.

Но они не расходятся, а из зала слышны аплодисменты. Я подхожу к шкиту и выключаю рубильник. Под которым написано «Сцена». Все.

— Как жаль, — за спиной тот же голос, Березовская, — но я поняла, я почувствовала — ваш Шопен просто смотрит в окно, а пальцы сами что-то играют. И не надо искать здесь всяких привычных открытых чувств: любви, ласки, нежности, легкой печали — всего, что обычно связывают с именем Шопена, да? Здесь совсем другая какая-то жизнь, вы меня слышите? Я говорю, что здесь другая какая-то жизнь: прошлая, навечно потерянная. Эта жизнь сама и создает музыку, да? Я правильно поняла вашу интерпретацию?

— Оставьте...

— Хорошо, но ведь я права?

— Нет.

Но отчего же — нет? Да! Да, милая черноволосая девушка с синими глазами — ты сделала меня музыкантом.

Твоя смерть. Мир сразу превратился в выжженное черное поле. Осталась музыка — работа. И я иду, я обречен идти, коли родился, и жизнь отдам не за просто так. Вот и все, что я могу для тебя сделать.

У подъезда незнакомые люди, называют по имени и отчеству, благодарят, смотрят, несут ли я цветы. Их цветы. Цветы каждого, кто мне дарил. Нет, ничего нет в руках. Где-то оставил.

Такси.

— Куда? — спрашивает шофер.

А у меня нет сил ответить.



ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛИНИЮ ФРОНТА

Ток прекратился. Я свистнул, услышал ответ и выбрался из шалаша.

Солнце поднялось и пригревало. Поляна, совсем недавно еще седая от инея, теперь блестела, и, когда мы сошлись покурить, сапоги наши были до колен мокры.

— Ни черта не осталось, — вздохнул полковник. — Что значит бесснежная зима! Померзли, о наст побились...

Сняв очки, он протирал платком стекла и, устало сощурился, разглядывал их на свет.

— В прошлом году здесь до двенадцати штук токовало, а сегодня, — снова вздохнул, — пара... ленивых, — нацепил очки и спрятал платок. — Идемте полем, может, случайно какого... Там где-то бормотали...

Я тоже слышал на заре еще два тока, один тетерев и сейчас «чуфыкал».

Вышли из леса, сразу увидели на дальнем взгорке подпрыгивавшего косача. Второй сидел метрах в полустах от него.

— Ну, к этим не подойти.

— Без толку, — согласился полковник. — Экая беда — ни черта не осталось. На глухарей, что ли, попробовать?

— Место знаете? — спросил я с надеждой.

— Есть неподалеку. Но вдвоем там не развернуться.

Я кивнул: глухаринные тока, известно, хранят в секрете. Но ведь полковник сам уговорил меня сойти в Рысцове. Не окажись этого случайного попутчика, я бы охотился в своей Можарке, где худо-бедно, а вальдшнепов настролял бы.

— Да и погода дурацкая. То вроде ничего, а то дождь, как вчера. А в дождь они не поют, сами знаете... — Полковнику стало неловко, и он замолчал.

Я тоже молчал, завидуя полковнику, понимая его и все-таки назвав про себя «жмотом».

Прошли еще немного. Вдруг он остановился.

— Вот, кстати, тот сарай, вон развалюха, видите? — И даже как-то обрадовался оттого, что нашел тему для разговора. — Вот там нас и «накрыли». Двоих сразу — у немцев там пулемет был. Мы — к лесу. Пока бежали — еще двоих: Пряхина и сержанта, который из другой роты прибил к нам. Помните, я рассказывал?

— Помню, помню. — Я все еще обижался на полковника.

— Ну а мы с Емелей удрали. Вечер уж был — они в лес не решились. Добрались мы, значит, до Мшаны... Вот где глухарей, между прочим! Но далеко, черт возьми, и места жуткие!

— Сколько?

— Да километров двенадцать будет.

— Двенадцать — ерунда, — возразил я.

— Километры бывают разные, — многозначительно указал полковник и продолжал: — Ну вот, сидим у болота, дальше идти нельзя — через Мшану не перебраться, а утром наверняка за нами придут... Да, брат, тебе ничего этого не досталось. Ты даже не видел их...

Я промолчал, хотя я видел «их». Правда, были они без погон и строили дома на Хорошевке. Иногда стучались в дверь, просили воды. Отец приносил воды, хлеба, они смотрели на его пустой рукав и тихо говорили: «Данке».

— А ночью еще в передрыгу эту попали: немцы летели бомбить, наши встретили, те побросали бомбы — и назад. Представляешь: темень, рев, бомбы сыплутся, деревья трещат, из болота грязь! Емелю там и зацепило. Осколком. В живот! — неожиданно зло сказал полковник и поморщился, словно от боли.

Я подумал, что в моей жизни не было, да и едва ли могло быть такое, о чем и через тридцать лет я вспомнил бы с похо-

жей горечью и болью. Это счастье, наверное. И даже вполне определенно — счастье. Однако во мне шевельнулось чувство вины, словно... нет, конечно, мы не сами выбираем себе год рождения, и все-таки...

— Пришлось податься на юг вдоль болота. Утром слышал стрельбу — лес прочесывали. В общем, на третий день выкарабкался.

— А потом?

— Что?

— Во время наступления?

— Это уже на другом фронте. Здесь потом никого не было — немцы сразу большой кусок отдали. А я довоевался до упора, дважды ранен. В грудь — удачно, а в ногу... Хоть и стараюсь не хромать... После войны приехал, четверых нашел, позарыты были кто где. Вот они-то как раз на станции теперь похоронены: Пряхин, сержант и те двое. А Емелю отыскать не удалось. Каждый год приезжаю, па Мшану ходил, местных все время спрашиваю, по редко кто там бывает. Это раньше когда-то старики охотники хаживали, даже на другую сторону перебирались, а теперь...

Мы разрядили ружья, миновали крайнюю избу, и чей-то гончий пес, завидев нас, взвыл от тоски и зависти — ему-то до поздней осени не бывать в лесу.

Набравши наставлений и советов, в полдень я ушел искать тока. Держал все на восток, к Мшане. Километры и впрямь были нелегкие: бурелом, мхи, сырые низины, потом попался гнилой березняк: земля — месииво, кабанами изрыта. Березняк шел в болото. Перебираясь с кочки на кочку, огибая большие, правильно-круглые окна воды, я медленно продвигался вперед к старому лесу и, казалось, вот-вот должен был выбраться, но кочек становилось все меньше, воды больше, дважды я срывался, проваливался по пояс, и вдруг, когда до леса оставалось метров сто — сто пятьдесят, передо мной открылся поток. Назад идти не было сил. Я спрятал спички под шапку, патронташ поднял повыше на грудь, шагнул в красновато-бурую воду и, не достав дна, отчаянно заработал ногами, пробиваясь к противоположному берегу. Вскоре мне удалось ухватиться за ветки куста, торчащего из воды, я подтянулся, влез на кочку и через полчаса, преодолев еще сто метров топи, добрался к лесу. Сапоги у колен были перетянуты ремешками, так что воды попало немного, но одежда вымокла, и, чтобы не простудиться, я побежал через лес, благо это был чистый сосновый бор. Однако он тут же и кончился: огромное, рыжее от мха

болото расстилалось на многие километры вперед и по сторонам. Вспомнив рассказы полковника, я сообразил, что заблудился и перешел Мшану — «непроходимую топь». От осознания происшедшего почувствовал смертельную усталость. Развел костер, кое-как высушил одежду, почистил ружье и, достав из ягдташа крепкий плащ, взятый специально для почлега в болоте, привязал его на манер люльки к нижнему сучку дерева, забрался и заснул. Засыпая, заметил неподалеку развороченный муравейник, но возможное соседство с медведем несколько не беспокоило меня — охотился я не первый год и знал, в какой страх вогнал человек природу. А кроме того, я выпил перед сном сто пятьдесят граммов водки — весь НЗ.

Проснулся ночью и огня не разводил. Услышал вскоре глухарей, тетеревов — все рядом, на опушке. Сорвался с места, чтобы красться, — вдруг все затихло, и начался дождь. Я прошел вдоль мха, свернул к Мшане, раздумывая, как бы перебраться, и тут наткнулся на Емелю. Он лежал, укрывшись многолетней хвоей, и только выржавевшая каска оставалась наверху. Я отпрянул, хотел бежать в деревню к полковнику, но неожиданное соображение остановило меня.

...Возвращался я тем же неудобным, но, по-видимому, единственно возможным образом: вплавь, потом соскальзывая с кочек, потом пробираясь между правильно-круглыми окнами воды. Я понял, что это затянувшиеся болотной жижей ворожки.

В деревню пришел часам к двенадцати. Полковник завтракал. Был «с полем», но не слишком радовался: глухарь достался случайно: сел над головой — и все. А без песни глухарь — не глухарь.

Я медлил, сомневался, говорил все не о том: как шел к Мшане, как вышел на кабаньей березняк.

— Ну, это ты сильно вправо взял. Самые тока левее, севернее, а ты вправо, — полковник показал рукой, где вправо, и пожал плечами: сам, мол, виноват, тебе ж говорили, куда идти. — А березняк южнее. Там где-то мы и сидели. Там где-то Емеля и остался... Я ведь там все излазил! И никаких следов, ни черта не нашел!

— Я нашел.

— Что?

— Емельянова.

Лицо его сделалось серым:

— Где?

— За Мшаной. — И рассказал...

— Все правильно,— прохрипел полковник и откашлялся. Помолчал, шепотом повторил: — Правильно.— Закрыв лицо руками.— Он был еще жив, бредил... Я не решился тащить его ни через Мшану, ни к железной дороге. Мы бы оба погибли, понимаете?! — Сжал виски.— Застрелить его я тоже не мог. И ушел... Все равно, думал, до утра не дотянет. А он, стало быть, дотянул.— Полковник опустил руки и внимательно посмотрел на меня.

«И даже хватило сил через Мшану перебраться», — промолчал я. Полковник, словно угадав мои мысли, кивнул.

— Все эти годы я мучился, не мог простить себе... Я воевал, я дрался! — отчаянно воскликнул он и затыл.— Погибнуть надо было... вместе,— сказал он, кажется, одному себе.— Должны были оба погибнуть.

Я вытащил из ягдташа проржавевший ТТ.

— Его пистолет,— согласился полковник, несколько сосредоточившись.

— А что,— спросил я,— Емельянов левша?

— Вроде,— сказал он, припоминая.— А откуда вы знаете?

— Дырка в левом виске.

Он кивнул, взял пистолет, подержал на ладони, потом достал из кармана нож и расковырял ржавую рукоятку — ни одного патрона.

— Полная обойма была,— заметил он, убирая нож и поднимаясь.— Вот так-то... Значит, как перейдешь, вверх по Мшане?

— Да метров двести. Я там нацепил на сосну кольцо бересты.

Он подошел к окну:

— Удивительный день — похож на тот. А была осень. И, между прочим, красивая осень. Любоваться времени не было, но помню: сказочная! И сегодня прекрасный день!.. Ты вот что,— сказал он, не оборачиваясь,— оставь меня.— И тихо повторил:— Оставь.

Я почувствовал неопределенную тревогу:

— Полковник, вам, как и Емеле, я обязан жизнью.

Он обернулся:

— Ну и что?

— Надеюсь, вы не станете предпринимать...

— Мальчишка! — сказал, будто ударил меня по щеке.

Я попрощался с хозяйкой — глухой старухой и вышел.

Да, был по-осеннему призрачен и прозрачен этот апрельский день. Изумрудная озимь, умытая росой, сияла, на сире-

невые бревна изб ложились черные тени сырости, но, как бывает и осенью, даль туманилась, покрывая лес тусклым, темнеющим серебром. Я запомнил все краски нарочно, потому что полковник назвал день сказочным и прекрасным, «похожим на тот».

Через два часа был на станции. Подошел поезд — паровоз, два вагона, — я забился в пустое купе, и, чем дальше от линии фронта, тем мучительнее становились мысли о предстоящей встрече полковника с Емельяновым.

Да как же так получилось, что обида за Емельянова и желание восстановить справедливость — чувства, в правоте которых я был уверен, — вдруг соединились с чувством горькой моей вины? Где был я прав? Где не прав? Проклятый случай... Нет уж! Не дай нам бог судить не наше время!



ШЕЛ ТРЕТИЙ ДЕНЬ...

И аленький этот институт, из тех, что в профессиональной среде зовутся шарагами, занимал первый этаж старого арбатского дома. Собственно, институт давно уже был присоединен на правах филиала к другому, значительно более солидному, но, благодаря, вероятно, территориальной автономии, сохранил свой уклад и свою вывеску с длинным названием.

Человек, впервые попавший сюда, скажем, новый курьер из министерства или провинциальный командированный, распахнув двери, застывал обыкновенно на месте, пораженный богатством и разнообразием флоры: цветы пышно вздымались на подоконниках, гирляндами ползли по стенам и потолку, свисали со стеллажей и шкафов.

Спросив прощения, новичок выходил на улицу, вновь вчитывался в облезлую вывеску и, пожав плечами, решался на вторую попытку. Когда, еще раз поздоровавшись, он робко интересовался, не здесь ли находится институт с тем самым названием, шестеро женщин, которых он впервые

в этих джунглях и не углядел, наперебой начинали заводить его в том, что он действительно не ошибся.

Гостя усаживали в продавленное кресло, тотчас же включался электрический самовар, извлекались из сумок конфеты, сухарики и печенье. Гость порывался было объяснять, зачем он здесь, но на него махали руками: потом, потом!

Тут появлялись еще какие-то женщины, начинали рассказывать про дела магазинные, кто-то исчезал, потом возникал вновь... И скоро уже гость совершенно путал сотрудников института с жильцами дома, его уже кормили домашними пирожками, сырниками, винегретом, в который раз поили свежесваренным чаем, приглашали в двенадцатую квартиру «на собственную наливочку», в двадцать восьмую — «принять под грибки», а пудель с четвертого этажа уже плясал на задних лапах лезгинку... Тут вдруг призрачным видением из-за лиановых зарослей являлся мужчина, передавал пачку бумаг машинистке и вновь исчезал. «А это кто?» — изумлялся освоившийся гость. «Это же Карцев!» — с меньшим изумлением объясняли ему.

Посетитель, подумав несколько, вспоминал, что именно к этому Карцеву он и приехал, что именно этот Карцев и должен завизировать какую-то важную бумагу: сводку, справку или отчет. Продравшись к месту, где только что промелькнуло видение, гость обнаруживал традиционнейший коридор: прокуренный и, несмотря на казенное украшение в виде доски Почета, неизмеримо голый.

Найдя дверь с нужной табличкой, он виновато стучался, входил, и взору его предстал усталого вида мужчина лет сорока пяти — Владимир Иванович Карцев, директор филиала, иначе — шараги. Оторвавшись от бумаг, Владимир Иванович здоровался, снимал очки, мял отекавшие веки, выслушивал посетителя, вновь надевал очки и, просмотрев поданные документы, расписывался.

Карцев служил в этом учреждении с тех пор, как оно стало филиалом: начальник главка уговорил отложить докторскую и года два, пока будет проходить реорганизация, «посидеть в кресле». Карцев проработал два года, проработал третий — замены не находилось. Он жаловался, ругался — его просили, умоляли «ну хоть чуточку, хоть немного совсем», устанавливали «крайний» срок, потом «последний», потом «окончательный». Так время и шло. И всё дальше за спиной оставалась не доведённая «до ума» докторская, все труднее становилось Карцеву устоять на ногах в бумажном ворохе отчетов, сводок, справок и отчетов об отчетах.

Нельзя сказать, что руководимый Карцевым филиал не делал совсем ничего. Делал. Приносил какую-то пользу. Так, по крайней мере, полагали вышестоящие инстанции. Они же, надеясь, что польза полагаемая может превратиться в осязаемую, и проводили перманентные реорганизации: то, скажем, отнимут у филиала собственную бухгалтерию, то наоборот — возвратят, то упразднят должность инспектора по кадрам, то восстаноят. Однако сколь-нибудь заметного роста полезности добиться не удавалось.

Карцев же, воспаряясь иногда мыслью к интересам общегосударственным, всякий раз обнаруживал, что контора его более всего принесла пользы, когда б закрылась. Но, понимал он, рассуждения эти из области утопических: за три года он, как ни бился, не смог уволить и одного бездельника, что уж тут говорить о закрытии целой конторы — так, грезы... Словом, служилось ему безрадостно.

Семейные обстоятельства Карцева были такими, какими они, к сожалению, куда как часто бывают: дети становились все более любимыми, жена — все более раздражающей.

И нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что подчас жизнь делалась для него попросту невыносимой. Случалось, в тяжкие минуты прихватывало сердце, и Карцев подумывал о скором инфаркте; случалось, сильно болела голова, лопались в глазах сосуды — Карцев начинал подумывать об инсульте; бывало, что и голова и сердце болели сразу. «Интересно, — гадал он, — от чего же все-таки помру — от инфаркта или от инсульта?»

Отдыхалось Карцеву лишь на рыбалке. Причем уставал он сильнее всего зимой, и оттого, по-видимому, рыбалку предпочитал зимнюю.

Заранее наметив день, Карцев тщательно готовил удочки, укладывал их в ящик, собирал продукты, правил лезвие коловороты, запасался на «Птичке» или на Тишинском крупным мотылем по полтиннику за спичечный коробок и мелким — «рубль кучка» — и в яростной, угрюмой сосредоточенности устремлялся к какой-то богом забытой речке, на льду которой по выходным дням собиралось меж тем такое значительное множество подобных Карцеву беглецов, что лед, случалось, и не выдерживал.

Как-то среди зимы, в глухую, по рыбацким понятиям, пору, когда рыба ловится совсем плохо, Карцев оказался километров за триста от Москвы на маленьком полустанке, какие теперь редко где встретишь: с одиноким домиком смотрителя, с полуразрушенной — вероятно, еще в годы

войны — водокачкой, с железным, вручную переключаемым семафором, с занесенным снегом полотном тупика, с ненешним фонарем стрелки, за стеклом которого неровно и тускло мерцал керосиновый фитилек.

Железная дорога пересекала здесь незначительную речушку, на которой Карцев и предполагал порыбачить. Приехал он ночью. Спрыгнул в снег — поезд сразу же тронулся — дождался, когда скрылись вдаль красные огоньки хвостового вагона и стихла поднятая метель, прошел на лед и еще затемно насверлил лунок, установил брезентовый тент-шалашик, словом, вполне угнезвился. Стал ждать.

Время от времени проползали вверх по реке лесовозы. Метровый лед сухо и неопасно потрескивал, свет фар выхватывал из темноты берега, где — пологие, заснеженные, где — обрывистые, с частоколом сосен.

Рассвело. Поклевок не было. Карцев взялся сверлить новые лунки, пробовал на блесну, на поплавочную удочку, на мормышки: светлые, темные, тяжелые, легкие, «капелькой», «дробинкой» — весь арсенал перебрал. Менял насадку, прикармливал мелким мотылем, панировочными сухарями — безрезультатно. Он, однако, был рыболовом со стажем — знал, что не ловится рыба куда чаще, чем ловится. Унынию не поддался — свернул брезент, спрятал его в рюкзачок и отправился искать рыбу. Шутки ради просверлил лед под мостом — а у быков давление обычно повыше, — из лунки ударил фонтан, вода разлилась широким озером, а Карцев пошел себе дальше, насвистывая какую-то песенку, благо не было рядом жены, которая враз бы: «Не свисти! Денег не будет!»

«Ну и черт с ней, — думал Карцев о рыбе, — пусть не клюет. Все равно домой только в воскресенье поеду». А пока была лишь пятница, отгуливаемая за работу на овощной базе.

Сорок девять дыр насверлил Карцев: на глубине, на отмелях, на фарватере и в заливах. Из пятидесятой — «юбилейной» — извлек меленького прозрачного ерша. Подержал на ладони: «Ежели с полусотни лунок по штуке, то, чтобы на ущицу, — коловорот до рукоятки сточится», — и отпустил рыбешку.

Тут возник на берегу мужичок. Подошел, поздоровался, поинтересовался уловом. Карцев представил исчерпывающие объяснения и узнал, что «рыбы ноне совсем в реке нет, совсем: летось с фермы навоз спустили, дак рыба вся и нарушилась».

— Теперь весны ждать надо! — заключил мужичок. — Как повая вверх пойдет.

— Понятно. — Карцев огорчился всерьез, и вовсе не из-за того, что весны надо было ждать долго, а из-за того, что опять, в который уже раз за последние годы, попал он на водоем, загубленный сбросами с ферм ли, с заводов, стоком с полей.

— А ты сходил бы на озеро, — предложил мужик.

— Так это опять возвращаться, поезда ждать...

— Зачем? Поезд крюка дает, на поезде аж сорок километров будет, а напрямиком, — махнул он рукой, указывая направление, — километров семь-восемь.

— А там есть где переночевать?

— Поселок там, я и сам там живу. Ты вот что: как дойдешь, попадетя тебе завод спервоначалу — забор, проходная, ветка железнодорожная — увидишь. Балки там делают, ну... вагончики блескучие для лесорубов. В четыре часа рабочие домой пойдут, ты поспрошай, пустит кто-нибудь, народ у нас добрый, приемчивый. Я бы тебя к себе пригласил, да в деревню иду за лошадью, в деревне, видать, и переночую...

К четырем часам Карцев добрался до поселка, нашел завод. Из проходной вышли несколько женщин. Выбрав симпатичнее, Карцев с ненатуральной игривостью в голосе попросил:

— Хозяйка, не дай замерзнуть приезшему человеку, возьми переночевать!

Она в ответ лишь усмехнулась и покачала головой. Но приостановилась.

— Да я серьезно, — сказал Карцев, сердясь на самого себя — Из Москвы на рыбалку приехал, а переночевать негде. Я заплачу.

— Дело не в этом, — снова усмехнулась она, но на сей раз, как показалось Карцеву, уже мягче, добрее. — Семья большая, детей полон дом... Валь! — остановила она проходившую мимо женщину. — Кто у нас рыбаков пускает?

— Максютиха, — ответила Валя, — Катюха Фролова, кто еще? Зойка Пальникова... Во, Зойк! Поди сюда!

— Подошла еще одна женщина.

— Зойк! Возьми рыбака, — попросила ее симпатичная, — а то у меня, сама знаешь, детский сад целый, да у Колюшки еще и ухо болит — настыл, черт, где-то...

— Да где ж? — возразила Валя. — Говорю тебе, в хоккей гоняли, он шапку сбросил — запарился, видать, — а на озере вестер... Я уж кричала, кричала ему, а он — ноль внимания.

— Приду щас, устрою ему «ноль внимания», черту! Карцев, глядя то на разговаривавших, то на Зойку, ждал.

— Идемте, — хриловатым голосом сказала она.

Сначала шли вчетвером: женщины наперебой рассказывали о своих ребятишках, Карцев молча тащился сзади. Потом оказалось, что им с Зойкой сворачивать. Карцев поблагодарил женщин за заботу. Попрощались.

Зойка жила на втором этаже бревенчатого коммунального дома. Войдя в квартиру, она зажгла свет и, не оборачиваясь, устало проговорила: «Раздевайтесь, разувайтесь, мы с дочерью — в маленькой комнате, вы — в большой: хоть на кровати, хоть на тахте», — повесила пальто и пошла растапливать печь.

Карцев снял тулуп, валенки, заглянул в большую комнату, которая оказалась совсем в общем-то не большой, и обнаружил порядок невероятный: занавесочки, покрывала, салфетки — все чистенькое, беленькое, отутюженное...

— Мне б лучше всего на пол, — рассудил он, — у меня вот и тулуп есть...

— На пол — это когда много народу, — все тем же усталым голосом сказала хозяйка, — а один — чего же?

— А дочка у вас вырослая? — поинтересовался Карцев лишь для того, чтобы хоть что-нибудь говорить.

— В детском саду. Ужин приготовлю и схожу за ней. Да что вы там стоите? Проходите, садитесь — небось намаялись. Чайку щас вскипятим — на газу быстро. Печку — это я для тепла.

Карцев вытащил из рюкзака продукты, прошел на кухню:

— Я вот тут... — он стал вытаскивать из пакетов задубелый хлеб, каменно твердую колбасу, сыр, консервы.

— Да пригодится вам еще, — мельком глянув на стол, сказала хозяйка.

— Тут хватит. К тому же — ледяное все.

— Ну, пускай остается, — согласилась она.

Потом Карцев искал место, где можно было бы пристроить до утра мотыля: чтобы и не замерз, и не запарился. Пристроил на лестнице ближе к первому этажу. Хозяйка уверила, что жильцы в доме «нащет рыбалки» грамотные и мотыля не тронут.

Наконец пили чай. Карцев вспомнил про пакет пастилы и угощал пастилой хозяйку.

— Жена небось положила?

— Нет, — возразил Карцев, — сам. — Понял, что сказал

это зря, что теперь могут последовать какие-то новые вопросы, и свел все к шутке: — Она фигуру мою бережет, — неуверенно улыбнулся, — так что это я сам себя побаловал... Да вы ешьте, не стесняйтесь, пожалуйста, — тут он смутился совсем, — я ведь терпеть не могу сладкого, это — так... подвернулось перед отъездом — взял. Девочку угостите, — и отодвинул пакет от себя подальше, к другому краю стола.

Пока хозяйка ходила за девочкой, Карцев изучил последние номера районной газетки, зевнул, осмотрелся и машинально, без всякой цели, определил: «Мужика, пожалуй, и не было — страшенькая. И девочку, наверно, так прижила, без мужа... Девочка в детском саду, хозяйке — за сорок, родила она, значит, лет в тридцать восемь — тридцать девять... Последний, можно сказать, шанс использовала...»

Книг в доме не было. Карцев еще раз пролистал газеты, почитал о методах борьбы за увеличение зимних надоев, о ремонте сельхозтехники, об успехах местного леспромхоза, поискал какой-нибудь материал о заводе, но о заводе в попавшихся ему номерах ничего не нашлось.

«Страшненькая... Волосы патлами, нерасчесанные, рот большой, двух верхних передних зубов не хватает, да и нижние не все. И уж, похоже, давно так: почти не шепелявит — приноровилась... Какой уж тут муж?.. Живет теперь для дочери — в доме порядок, чистота, и дочка, скорее всего, аккуратненькая, чистенькая девочка. Ну и все правильно, молодец мамаша... Жаль только, что про завод ничего не написано. Может, она еще и передовик производства, на доске Почета висит? — Карцев представил, как ее фотографировали: фотограф требовал улыбнуться, а она все крепче сжимала губы. — Может, она лучшая работница на своем заводе?»

И вдруг вспомнил: «Черт возьми, а у меня водка есть! Надо бы маленько с устатку...» Достал из рыбацкого ящика поллитру, открыл баночку килек, выпил стопочку — стопочку отыскал сам, в кухонном шкафу, — и пошел смотреть телевизор.

В Москве Карцев пил крайне редко — здоровья хватать не стало, но на рыбалке организм переносил выпивку почему-то абсолютно спокойно. Возможно, еще и поэтому Карцев любил рыбалку. Однако, что здесь причина, что следствие, решить он так и не мог. Впрочем, не особенно и старался.

Чай, тепло, водка, телевизор разморили его, он прилег на тахту, уснул и проснулся только тогда, когда все передачи кончились: хозяйка выключила телевизор и легонько тронула Карцева за плечо. Он смущенно поднялся: «Вы уж изви-

ните, пожалуйста» Она попросила говорить тише, Карцев сообразил, что уже поздно, что девочка спит.

— Идите пока на кухню, покушайте, я вам постелю.

Он вспомнил, что до сих пор так и не ужинал, сел к столу. Тут пришла и хозяйка, занялась мытьем посуды.

— Что ж вы вино-то не пьете? — кивнула она на откупоренную бутылку.

Карцеву попросту не хотелось спросонья, но он, все еще смущаясь того, что проспал несколько часов на глазах у совершенно незнакомых людей, да еще и в их доме, кинулся в джентльменство:

— Без вас не могу.

— Дак ведь непьющая я.

— К столу, к столу! — бодро пригласил он, с тоскою поглядывая на бутылку, которая, по всей вероятности, давно уж прогрелась насквозь.

— Да что вы, вы уж сами...

Но в конце концов, демонстрируя галантность, Карцев уговорил хозяйку сесть к столу, после чего ему, сдерживая отвращение, пришлось выпить стопарь теплой водки. Однако хозяйка, как вскоре определил Карцев, присела к столу тоже вовсе не из желания выпить, а лишь чтобы соблюсти ответное приличие, чтобы «уважить». Поэтому ужин продолжался недолго.

Завалившись в кровать, Карцев слушал, как хозяйка прибирается на кухне, моет посуду — слушал, задремывал, но не засыпал: «А что, если она, домыв посуду, разделется да и ко мне, а?.. Страшненькая, конечно, ну да в темноте не видать... А вообще-то бабешка спокойная, добродушная... Душевность какая-то в ней, конечно же, есть, так что... И потом: что я — не живой человек? Сколько можно жить монашеской жизнью?..»

Супруга его принадлежала к числу тех женщин, для которых мужчина — не более чем компаньон в деле продолжения рода. Обрушив когда-то на Карцева поток страсти, она благополучно произвела на свет двоих детей, а затем, отметив, что Карцев накрепко к сыновьям привязался, стала решительно пренебрегать своими обязанностями. Карцев иногда робко интересовался, намекал, но жена отвечала ему так, как, наверное, отвечала бы в людном месте на домогательства чужого мужчины. «Как не стыдно?!» — восклицала она с гневным недоумением и, поостыв, начинала рассказывать об очередном профсоюзном собрании. В конце концов Карцеву действительно стало стыдно, он переселился на раскла-

душку и полюбил книги о монахах и схимниках. Время от времени задавался целью найти «бабешку», но для этого необходимо было хоть ненадолго вырваться из круга суетной каждодневности, но где там! На рыбалку бы раз в год попасть! И вот попал: и рыбалка тебе, и женщина...

«Отличное место! — думал он, засыпая. — Рыбы — навалом, вино — яитарная лоза, женщины — писанные красавицы... Однако, если ляжет под бок... Вернусь в Москву, главный инженер в понедельник начнет про очередную подружку рассказывать: грудь — во! ноги — во! руки, плечи, глаза, все прочее, а я ему: у тебя беззубые были? И не просто без какого-нибудь шестого или седьмого, это я бы даже и во внимание не принимал, а без двух верхних резцов и двух нижних клыков — слабо?..»

В этот момент она и явилась. Карцев сжался, отодвинулся к стенке, но хозяйка прошла мимо, в свою комнату, и прикрыла дверь. Карцев подождал, подождал и вдруг, к стыду собственному, обнаружил, что раздосадован...

Среди ночи возник непонятный шум, зажегся свет. Карцев встал: все двери настежь. Оделся, вышел на лестницу. Оказалось, что худо стало старухе соседке. Хозяйка побежала за фельдшерницей, Карцев сел возле старухи — присмотреть. Вид у нее был безжизненный.

Явилась заспанная фельдшерница, сделала старухе укол, та очухалась. Вздохнула и, ни к кому не обращаясь, тихо произнесла: «Всего-то и жизни было — три дня. День — в девчонках побегала, день — в девушках погуляла, день — все остальное: работала, растила детей...» Слова эти произвели на Карцева тягостное впечатление: он давно уже — лет в тридцать — понял, что жизнь коротка необычайно; частенько, словно из-за угла подсматривал он быстротечность времени. Он засекал его стремительность прежде всего по изменениям в лицах знакомых, родных, в своем лице; по тому, что все чаще и чаще вспоминал в разговорах о событиях, происшедших двадцать пять, тридцать, а теперь уж и сорок лет назад; но более всего изумляли Карцева старые настенные часы: в детстве ему казалось, что бьют они чрезвычайно редко, теперь же они молотили почти без перерыва. Да, но чтобы всего три дня?..

— Я ведь уже оттуда гляжу, — прошептала старуха, обращаясь, как и прежде, ни к кому. Карцев понял, откуда она глядит.

— Позавчера — девчонка малая, — продолжала старуха, — вчера — с Колюшкой своим миловалась... Колюшка,

он уж сколь годов в земле лежит, меня дожидаясь... А потом — сёнешний день — и все, — она закрыла глаза. — И все...

Между тем приближалось утро, Карцев отправился на озеро.

Он прошел мимо огромной проруби, возле которой лежал черпак с длинной ручкой — здесь, очевидно, местные рыбаки намывали себе мотыля; прошел мимо одинокого рыболова, устроившегося не иначе как возле прикормленных с вечера лунок; прошел далеко и в каком-то непонятно почему приглянувшимся месте остановился: «Нет, я все понимаю, — поставил ящик, снял с коловорота чехол, — но чтоб три дня...» — и начал сверлить.

Вяло поклевывали мелкие окуньки — «матросики», изредка брала небольшая плотва — Карцева это вполне устраивало. Оказалось, однако, что в других местах не клюет, к Карцеву стали сползаться рыбаки, его «обсверлили», засветили через множество лунок воду, и сторожка рыба ушла. Пришлось перебираться еще дальше. Поначалу его преследовало несколько человек, полагавших, наверное, что он знает удачливые места, но, постепенно, разочаровавшись, отстали. К этому времени он оказался уже на противоположной стороне озера.

Погода стояла тихая, пасмурная, клева не было. Карцев от нечего делать решил посмотреть, что творится подо льдом, лег на брюхо, сунулся в лунку и замер, увидев опухшее и обрюзгшее свое лицо. «Тьфу, рожа!» — плюнул в лунку, поднялся, побродил вокруг, гася вспыхнувшее раздражение, потом допил взятые с собой остатки водки, прилег, благо был в тулупе и ватных штанах, и уснул нездоровым, тяжелым сном.

Проснулся от холода. Стало сумеречно, задувал ветер. На озере не было видно ни одного рыболова. Вдалеке неспешно трусили по льду две собаки. Следовало бы возвращаться, но Карцевым овладело гнетущее, мутное безразличие: «А ну их всех...» Никого не было рядом, никого — вокруг: «И хорошо, здесь и останусь. Вот он мой третий день... Какая разница — длиннее он или короче будет, важно, что старуха права: всего три дня, третий — последний... Никого... А никого мне и не надо...»

Приподнял голову — собаки подошли ближе и теперь стояли, повернувшись к Карцеву. «У меня и угостить-то их нечем. Небось на гулянку... или с гулянки...» И вдруг он, не успев еще осознать происходящее, рывком поднялся, схватил коловорот и замер в животном страхе. Хотел крикнуть

и не сумел — горло, челюсти свело, словно параличом. И только теперь Карцев услышал бешеную скороговорку крови в висках: «Вол-ки, вол-ки, вол-ки...» Только теперь смог осмыслить и оценить ситуацию.

Звери стояли неподвижно: спокойно и терпеливо выжидали. Карцев, опустив руку, наклонился — это движение всегда безотказно отпугивало бродячих собак, — но волки не пошевелились. Подняв пустую бутылку, он швырнул ее в сторону волков. Не долетев нескольких шагов, бутылка глухо шмякнулась на слежавшийся снег и скользнула вперед. Волки чуть отпрянули и снова остановились. Тогда Карцев, захлебываясь в истошном крике, бросился на волков. Оставалось совсем немного: он уже замахнулся коловоротом, готовясь крушить налево и направо, куда хватит сил... Потом он понял, что зверей не напугал — они не вздрагивали, не поджимали хвосты, но, похоже, яростное желание защитить свою шкуру произвело на волков впечатление: отвернувшись, они легкой рысцой — шаг в шаг, след в след — направились к поселку. Карцев вздохнул было с облегчением, но тут же сообразил, что делает это преждевременно, что угроза столкновения вовсе не миновала. Становилось уже совсем темно, надо было двигать в поселок, но именно туда пошли и волки... Взяв ящик, Карцев зашпешил вслед за ними. Шел он быстро, почти бежал, сжимая в руках полутораметровую железину коловорота. Опасаясь нападения сзади, оборачиваясь, озирался по сторонам. Запыхавшись, остановился, сел на ящик отдохнуть, отдышаться и услышал вдруг:

— Тырру! Здорово, рыбак! Дня не хватило? — Подъехали сани, в санях — вчерашний мужик.

Карцев торопливо и сбивчиво стал рассказывать.

— Да знаю я! — отвечал мужик. — За собаками ходят. У меня и ружье всегда с собой взято, — он откинул рогожу, показывая ружье, — да вот не попадают, стервецы! Залезай, вместе поедem... Прямо на мешок и садись — в нем рыба мороженая, не раздавишь.

— Откуда столько рыбы?

— Да эт мы сетью для райпо ловим. Хошь — покупай: рубль шестьдесят кило... Да не у меня — вот сдадим сейчас в магазин, там и возьмешь. Сел?

Посхали. Карцев, не переставая, рассказывал и рассказывал, как он принял сначала волков за собак, как бросил бутылку, как бежал. «Ну совсем не испугались: отвалили в сторонку, и хоть бы что...»

— Чего им бояться? Хозяева! На ферме скольк телят поре-

зали, сколь собак — всем кранты вышли! Одна Мурка их не боится — кошка, стало быть. На ферме она живет. Сама черная — жуть! А башка белесая, вроде как седая. Тракторист, что навоз выгребает, Муллером ее прозвал. «Семнадцать мгновений» смотрел? Муллера помнишь? Ну вот... Волки придут, а она по крыше носится, вост: дразнит, значит, их, бармалеев. Они обсердятся и тоже, значит, взбрехивать начинают. Ну, сторожиха, бывало, услышит да трансформатор, что для электродойки, как включит! А он ревит, будто много бомб сразу падают... Ты под бомбежку не попадал? Не?.. Ну да, малой еще совсем был. Хотя и малым доставалось. Стало быть, повезло... А волки, значит, и утекают. Такой Муллер... Случалось, с крыши и слетал — по печальности, конечно. На волков прямо. И ничего, сберегался, а как — черт его знает.

— Вы бы покараулили волков, — предложил Карцев.

— Караулили, — махнул рукою мужик. — Пока караулишь — их нет, только уйдешь — тут как тут...

Въехали на берег, на улицу. Сдали рыбу в магазин, и Карцев купил пять килограммов. «Будет теперь с чем в Москву возвращаться, — весело говорил он, укладывая окуней в полиэтиленовый пакет. — А то обычно: пустым приедешь — жена спрашивает, где был; мелочи привезешь — говорит: «Возись сам». Мужик еще и довез его до Зойкиного дома. Там началось: «ах», «ох», да «где ж это вы пропали», да «мы уж переволновались тут». Карцев снова определял мотыля, снова смотрел телевизор, ужинал.

Но в этот вечер прекраснодушие ни на минуту не покидало его. Он любил сейчас всех: не только детей своих, жену, хозяйку и ее дочь, не только спасителя-возницу и оклемавшуюся соседку, но даже главного инженера, известного как слабостью до женского пола, так и пробковой глупостью. Любил Карцев и бухгалтершу, которая регулярно опаздывала на работу из-за того, что дорогою ей неизменно встречались либо знаменитейшие экстрасенсы, либо, на худой конец, НЛЮ. Любил и машинистку, которую еще в четверг уговаривал написать заявление «по собственному желанию», так как вместо «одобрить» у нее всегда получалось «добрить», а вместо «выполнить» — «выпить».

Он любил всех. Любил безоговорочно, безоглядно.

Укладываясь спать, увидел в трюмо свое отражение: глаза блестели, щеки пылали, губы расплывались в улыбке. «Вот что значит свежий воздух, вот что значит рыбалка!» — выключил свет, лег и в темноте: «Особенно если

с волками», — не удержался от соблазна осадить самого себя.

И тут же почувствовал, что кровь начинает отливать от щек, глаза становятся суше. «Интересно, как выгляжу я теперь», — с холодной иронией подумал он, но встать и зажечь свет поленился.



ШЛЮЗ

Еще три недели назад, когда судно возвращалось из Швеции, топливозаправщик стоял по левому берегу канала, а теперь вдруг оказался на противоположном.

Капитан поискал объяснений, но так и не понял: на левом берегу — леспромхозовский поселок с магазинами, кинотеатром, людьми, на правом — болото, и, значит, кроме неудобств для рабочего заправочной станции, эта перемена никому больше ничего принести не могла.

Однако стой дебаркадер хоть с левого борта, хоть с правого — горючее было на исходе, и капитан приказал швартоваться. Вместо привычного старика, с несколько запущенной и тем не менее вполне определенной бородкой, выдававшей в нем отставного шкипера, судно встретил незнакомый парнишка, замасленный и чумазый — лишь белобрый вихор светлел.

Разглядев бедолагу, которого, казалось, держа за вихор, окунули в бочку с мазутом, капитан покачал головой и вздохнул: судно из-за туманов отстало от графика, надо было наверстывать, экономить время и гнать, гнать, а тут... Как мастер, изучивший дело до мелочей, капитан, столкнувшись с неопытностью, испытывал раздражение.

— Где старик-то? — спросил он парнишку, надеясь, что отставной шкипер где-то поблизости, спит, например, или ужинает и его можно позвать и быстро, без проголок и суеты заправиться.

— Ушел, — словно извиняясь, ответил парень, — на пенсию — ревматизм у него.

— Жаль,— капитану и впрямь было жаль. И просто по-человечески, и по служебным соображениям.

— Вот я теперь...

— М-да. Жаль... А кто ж придумал дебаркадер перетасать?

Ожидая услышать жалобы на какое-нибудь начальство, совершившее это нелепое действие, капитан даже поморщился, выразив готовность посочувствовать пареньку.

— А я,— простодушно ответил рабочий. Настолько простодушно, что капитан принял ответ как нежелание говорить о чем-то разумеющемся и понятном, и не стал расспрашивать дальше.

— Куда идете? — поинтересовался парнишка.

— В Финляндию.

— А-а, в Финляндию! — повторил он значительно.

— Долго будешь? — капитан кивнул на цистерны.

— До-олго — компрессор совсем не тянет,— он лукаво сощурился, и капитан подумал: «От горшка — два вершка, а туда же: власть свою надобно показать — ишь, темнила!»

— Вы б пошли пока погуляли.

— В болоте?

— Зачем? Тут такое!.. — глаза парнишки восторженно округлились. — Тут шлюз! Старинный!

— Ну? — удивился капитан.

— Законно говорю! — Матросы окликнули, он заторопился. — Тут когда-то сам Петр Первый был, трассу прокладывал.

— Ну ежели Петр,— капитан улыбнулся.

— Честное слово! — И бросился к механизмам.

Капитан перешел на дебаркадер, остановился у суеящегося рабочего, окинул взглядом и покачал головой:

— Ты бы на всякий случай держался поближе к огнетушителям, а то самовозгорись, не ровен час.

Компрессор затарахтел, потом, набирая ход, взвыл и, наконец, загудел мощно и ровно. Шланг дернулся — пошло горючее. Парень радостно просиял, и капитан подумал: «Зря я на него... Симпатичный малый, не похоже, чтоб хитрован».

— Куда идти-то?..

Простым и недолгим путем — километр по прямой — он вышел к зарослям ивняка, в которых лежал обрывок старой Мариинки: десять шагов шириной, полсотни в длину, стенки из сгнивших бревен, покрытых плесенью, мхом, и на дне — вода.

«Тоска,— рассудил капитан.— Хотя... Впрочем...» —

И поднялся на холм посмотреть продолжение русла. Среди широко раскинувшегося болота в двух местах зияли окна воды — все, что осталось. За болотом, где почва была пригодна для земледелия, голубело льняное поле, и крохотная деревенька весело отвечала закату ярким бронзовым блеском стекол.

Капитан посмотрел на деревню, на одинокую березу, стоящую у крайней избы, и вновь оборотился к шлюзу.

«Впрочем... Странно... — мысль то погружалась в вековую глубину, то возвращалась, но толком ничего определить не могла: — Шлюз не шлюз, хламада какая-то, а вот... Когда-то здесь барочки разные швартовались, плоты. А по берегам матросы ходили, купцы, прочие авантюрные люди... Теперь вот, понимаешь, берега заросли, ветви сомкнулись, и под ними сырость одна. Естественно, все проходит, и ничего удивительного, хотя...»

Это был вполне серьезный и в меру задумчивый капитан. Он много плавал, много видел и, стало быть, кое-что понимал. Но сейчас от нехитрых своих рассуждений почувствовал вдруг растерянность — состояние непривычное — и встревожился:

«Дался мне этот шлюз! Наматывается, понимаешь, со своею историей, как водоросль на винт...»

Ничто с такой легкостью не переносит наше воображение в иные времена, как развалины и осколки: капитан подумал о том, что здесь наверняка бывал и отец — шкипер баржи-песчанки, и дед — матрос парусника, а по берегу запросто мог идти бечевой прадед. «Вот те и на!» — осторожно ковырнул землю носком ботинка и, смутившись своей сентиментальности, огляделся — не видит ли кто.

Когда, пообщавшись со временем, мысль потерялась, а ее место стали неотвратимо занимать графики, километры, лодия и навигация, капитан глубоко вдохнул земной воздух, сладкий, с множеством запахов, и пошел к своему «Волго-Балту», водоизмещением пять тысяч тонн.

Заправка окончилась. На дебаркадере пахло свежим соляром. Миновав серебристые цистерны с надписями: «Масло», «Мазут», «Диз. топливо», капитан заметил парнишку и подозвал:

— Кто ж все-таки надумал заправщик перетащить?

— Я, — удивился тот повторению вопроса.

— А зачем?

— Дак ведь шлюз зазря пропадает! Разве ж можно? Это ж музей! Исторический!

— Чудак ты, братец,— рассеянно сказал капитан,— туристов здесь не бывает...

— Да хоть кто-нибудь поглядит — все польза, думаю.— И, почесав затылок, безжалостно довершил малярные работы над своим обликом.

— Ты здешний?

— Здешний, а вы?

— Не знаю. Я на барже родился.

Вахтенный осторожным гудком сообщил о готовности к отправлению.

— Ну, будь здоров! — капитан перешел на палубу судна.— Поди, намыкался? Это ж надо небось разрешение инспекции получить, одних бумаг собрать кучу...

— А! Дело прошлое!

«Волго-Балт» вспенил воду винтами и пошел, рассекая розовеющую в отвесах облаков гладь канала.

Не ведал еще капитан, что шлюз теперь будет сниться ночами, а то и вовсе средь бела дня вырастать из воды — озерной, речной, морской — непосредственно по курсу судна; каждому человеку, даже родившемуся на барже, необходим пусть небольшой, пусть уместающийся во взгляде, кусок отчей земли, который живет с нами до последнего нашего часа и который, собственно, зовется родиной.

«Скоро вахта,— сказал себе капитан, когда топливозаправщик скрылся из виду,— надо бы и отдохнуть».



В ТИХОМ ГОРОДЕ

Повесть

I

Солирецк — город действительно тихий. В этом убедится всякий чужой человек, который по недоразумению или какому-то случаю здесь окажется. Я оттого говорю о случае и недоразумении, что судьба, при всей своей неисповедимости, может сделать подобный выбор лишь по ошибке, нелепой, обескураживающей. А так ведь, сколько с завязанными глазами в карту пальцем ни тычь, сколько бумагу ни мусоль — в иных местах, кажется, вот-вот дырки проткнутся, а в Солирецк не угрожает, нет: так и останется он зеленеть темной лесною глушью.

Впрочем, глушь на земле появилась со строительством железных дорог, то есть в общем недавно, а прежде, скажем, лет около шестисот назад, Солирецк пользовался столь очевидной известностью, что наиболее знаменитые люди, похоже, жизнь свою полагали потерянной и напрасной без того, чтобы хоть как-то не примазаться к этой известности, а еще лучше — вписать и свою, пусть малую, страничку в историю Солирецка.

Так, braveй черемисский князь Никита Байборода пришел да и сжег город. Как только Феникс возродился из пепла, то есть как только вновь появилось что жечь, «прииде рать велие четырнадцать тысяч, — здесь, возможно, преувеличение, — и дойдоши варвари до града Соли Рецкия, зело величахуси и хваляхуси град той взяти» — последние слова сказаны не без злорадства; да, город устоял. «В котлах железных грели воду и кипятком на поганных плескали» — так и было.

Но в других летописях сохранилась пронизательная мысль татарского хана, имеющая отношение как к исходу битвы, так и к нашему повествованию: «За градом Соли Рецкия земля кончашися» — то есть непосредственно за Солирецком можно и сверзиться. Кому охота?

Что ж говорить тогда о более поздних временах, когда появились «чугунки» и ближайшая пролегла в ста двадцати верстах от города? Да просто богом забытый город! Причем касательно бога — вполне буквально, если, конечно, он

и существовал на позднем этапе истории Солирецка. А если нет, тогда бога забывший. Это уже буквально не вполне. Но вещь поразительная: игуменья Селивестра, настоятельница Авраамиева монастыря, названного так в честь некоего монаха — первого человека, которого судьба в эту наименее удачную точку забросила и который в сердцах заложил город, дабы и другим того же досталось, так вот: игуменья Селивестра в конце прошлого века от безделья ли, а может, от образованности или по своей доброте наряду с общепринятыми стала вдруг проповедовать почти Кампанелловы мысли (разумеется, в пределах православного вероучения). И они прижились: всей своей многовековой уединенностью, замкнутостью город был подготовлен принять их в том виде, в котором они в общем-то из него самого и проистекли.

Думаю, окажись Кампанелла в Солирецке (что возможно представить лишь нашим высокоразвитым сознанием, способным на реализм с приставками сюр, нео и прочие фантазмагории), он бы обрадовался воплощению своей мечты. Город жил для себя, сам себя обслуживал, «даже с избытком». Жил в согласии, счастливом покое, правда, подозреваю, что происходило так не от торжества справедливых идей, а скорее от лени. Да и крестьяне близлежащих деревень, сдаются мне, несколько нарушали своим существованием стройность теоретических построений игуменьи, хотя сами о том и не ведали. До поры, разумеется, и до времени.

Однако историю интересуют лишь факты, а предположения мои... — кто из нас не подвержен соблазну сомнений?

Следует заметить еще, что прегрешения перед верой не прошли для Солирецка бесследно: молнией сожгло церковь. Одну из четырех. Правда, это могло быть и чистой случайностью.

Изложенное дает представление о характере города, об обстоятельствах жизни. И характер, и обстоятельства совершили как будто все для того, чтобы шесть веков пролетели бесцветно. И никакой тебе биографии. Грустно. А пройди железная дорога через город, глядишь, что-нибудь наконец и образовалось бы. Ведь грезилась уже эпоха социальных потрясений... Но фарт, стукоча колесами и затворяя дымом едва ли не половину небесного свода, промчался со скоростью почтовой кареты в долгих ста двадцати верстах от Солирецка.

Жалкой заменой ему стал телеграф — штука в общем-то

хитрая и полезная. Когда проводов — верста. Ну а когда — сто двадцать верст да столбов, почитай, три тыщи?! Одного, глядишь, половодьем смыло, другого ветер с корнем выворотил, третий по самую перекладину в болоте увяз, там проволока порвалась, там на нее сосна рухнула, там кузнец ее вовсе на гвозди пустил... Нет, что ни говори — телеграф сильно хлипче «чугунки».

И вот пришла эпоха потрясений. Россия взорвалась, гремела и негодовала, переполнялась яростью и болью. А в городишко наш известия докатывались так не скоро, что смысл, великий смысл великого момента истории терялся. Например, подумает город о том, что надо подумать о роспуске Государственной думы, как раз окажется, что император уж отрекся от престола. Только ахнут — вышло «Положение о земельных комитетах». А еще про прежнее ничего не понято. Тут вдруг — бац: худо на фронте...

«История! Повремени, что ли!» Куда там! Махнул город рукой: не уgonишься.

Но утверждать, что Солирецк остался вне политики, несправедливо. Преисполненные уважения к законности горожане снимали как в своих домах, так и в казенных, портреты всех самодержцев. Всех, кроме Александра II «Освободителя». Последнее, очевидно, должно было являться знаком понимания новых веяний. Впрочем, не берусь объяснить. Но Павлы, Николай и два Александра были поснесены в чуланы, а накопившиеся за ними тенета убраны: в Солирецке вообще болезненное отношение к чистоте. И не только внутри домов.

Если когда-нибудь вам доведется попасть в Солирецк, то есть если ваша судьба, к ее же собственному изумлению, и совершит над вами подобное, то обнаружите, что в городе метут без исключения все и, кажется, непрерывно. Для пущей художественности я, конечно, несколько преувеличиваю, однако знаю наверное, что идти по улице придется не иначе как через шаркающие метлы и шикающие вееники.

Кроме экзекуции над царями, город, совсем уже в духе времени, избрал Совет. Жест безболезненный, поскольку административная власть всегда была здесь институтом номинальным. Но Совет избрали. В составе полицейского по фамилии Кошкин, бывшего городского головы, учителя Шведова, придерживавшегося, кстати, эсеровских взглядов, и студента, некогда сосланного «за политику».

Студент этот по каким-то тайным причинам не признавал

ни государства, ни государственности, иначе говоря, был анархистом — обстоятельство, не имевшее для жителей Солирецка существенного значения: «А кая, черт, разница?»

В тот день, когда избрали Совет, пришло известие о новой, большевистской революции. Но еще три месяца городом правил студент. Собственно, что значит правил? Устраивал митинги по воскресеньям, кричал о свободе полной и абсолютной, и горожане в общем-то соглашались, недоумевая при сем, от чего еще должно освободиться.

Через три месяца в Солирецк приехал Семен Лузгунов. Земляк, работавший на петербургском заводе. Большевик. Прислали его с полномочиями организовывать Советскую власть.

Вываченный из самой драки, замахнувшийся на великое переустройство мира, он обрушился на Солирецк. И что же? Город повиновался. Кто с большей, кто с меньшей охотой. Некоторые, озаботившись грядущими временами, бежали. Но открытого сопротивления никто не оказывал. Как, впрочем, и активной поддержки. И постепенно ярость Лузгунова увязла в безответной тиши. Ну да и бог с ней, с яростью. Неповторимость времени в том состояла, что перед каждым человеком везде, даже и в Солирецке, встал выбор. Вариантов, как известно, предлагалось несметное множество. Но в основе их неизбежно: за или против большевиков. А поскольку разногласия грозили неизвестно чем, город наш не спешил.

Однако у истории свои законы, и ей на темперамент Солирецка, а заодно и на успокоенность Лузгунова было плевать. В какие-то пять-шесть дней... Но эти события требуют рассказа более обстоятельного.

И других слов.

II

Перед крыльцом старой деревянной усадьбы в привычной покорности лежал горизонт. Солнце зашло. Холодно, зелено-вато-бело сияло небо над ним. В другой стороне, озаренная этим светом, высоко поднялась луна, большая и совершенная, как солнце. С сиреневым пологом вечера, опускающимся в черное небо ночи. А там уж и звезды видно.

И земля, покоящаяся под тихим февральским вечером, зацвела множеством неожиданных, неярких красок. Лесные опушки, снега под ними, ствол близкой сосны, заросли ольшаника вдоль реки, рассыпанная у стога солома — все было призрачным, нежным. Но таял вечер...

Сидя в мертвенном оцепенении, Микушин уже несколько часов тупо рассматривал проходящий день, не видя его и не задумываясь о дурацком своем состоянии. Закат померк, и лунный свет вмиг передвинул тени, переиначил на свой лад. Ночь потянулась в долгий зимний путь.

Неожиданно перед Микушиным явился мужик. Заговорил что-то, испуганно замер и осторожно прикоснулся рукой — не мертв ли? Поручик вздрогнул, мужик, отпрянув, успокоился и ждал.

— Куда? — спросил Микушин, сообразив, что за ним пришли и надо идти.

— Отец диакон зовут.

Поручик нехотя встал, скрипнули под ним доски, глухо отозвалось промерзшее здание. С заиндеветых бревен сорвалась снежная пыль.

— Что ж Настыка-то — али не топит? — поинтересовался мужик.

Возвращаясь из забытья к сложной реальности существования, Микушин пропустил намек — не до мужика и не до Настыки было.

— А бог ее... — он откашлялся: — Бог ее знает, где она есть — Настыка.

— Оно конечно: дурочка, — примирительно согласился мужик.

Щупая ногами тропу, пошли в город. Шли молча. Кое-где горели в окнах огни, но на улицах ни души не было. Лениво таякали по всем дворам собаки, взвыл где-то волк, собаки, словно по команде, стихли и вновь залаяли, теперь уж злобно. Поручик обернулся, прислушиваясь.

— В усадьбе, — подтвердил мужик. — Один воёт, другой на фортепяне подсобляет, — и прыснул, сдерживая смех. Поручик молчал.

Отпирая калитку и пропуская вперед Микушина, мужик, которому давно хотелось выказать причастность к большим делам, но молчание поручика казалось пренебрежительным, не сдержался:

— Там, между прочим, человек приехал.

Поручик остолбенел.

— Что ж ты сразу-то не сказал?

— А секрет! — Мужик развел руками и, довольный произведенным впечатлением, победно посмотрел вслед взбежавшему на крыльцо Микушину. Оглядев пустынную улицу, вошел во двор и запер калитку.

В гостиной отца диакона, не в меру натопленной и ярко

освещенной дюжиной алтарных свечей, поручик увидел обещанного человека. Это был мужчина лет сорока, с коротко стриженными черными волосами, гладко бритый, в дорогом штатском платье. Откинувшись в кресле, он внимательно и добродушно рассматривал вошедшего.

— Поручик Микушин! — отранпортовал, вытянувшись «смирно», поручик.

Тот молча кивнул.

— Алексей Панкратович! — добавил Микушин, слегка подумав, и щелкнул каблуками.

Тот снова кивнул и указал на свободное кресло напротив. Обескураженный таким оборотом знакомства, поручик посмотрел на отца диакона, который сосредоточенно размешивал чай в полупустом стакане, потом на улыбающегося незнакомца и нерешительно сел к столу.

— Ну-с, молодой человек, каковы же дела? — весело поинтересовался приезжий, уперев в поручика неизменяющийся — добрый, все готовый понять взгляд. Микушин, обретя под этим взглядом уверенность, солидно откашлялся, расположился поудобнее, а диакон, вздохнув про себя, что, слава господу, миновали скользкое место, по-хозяйски приостановил разговор, разлил из самовара чайку, успев мимоходом представить выставленные угощения, и только тогда позволил начать:

— Прошу, милостивый государь, Лексей Панкратыч, спаситель вы наш, прошу, рассказывайте.

Приезжий, дернувши головой, усмехнулся, Микушин нетерпеливо кивнул.

— Значит, так: к настоящему моменту в нашем распоряжении две сотни сабель. Ребята отчаянные...

— Верю, — живо согласился приезжий. — Что ни верста — могила, да все купеческие...

— Это прежде, — недовольно признал поручик. — Мне удалось организовать их, а кроме того, влились новые силы — хорошо обученные солдаты.

— Уж не из резервного ли полка? — полюбопытствовал приезжий с усмешкой.

— Именно! — разолился поручик. — Из расквартированного на станции резервного полка его императорского величества!

— Вон оно что, — покачал головой приезжий. — А мы с Кисляковым все думали и гадали: куда ж полк подевался?.. К сожалению, милостивый государь, этот полк, сформированный на бумаге в 1914 году, даже в лучшие свои времена не

превышал численностью полутора сотен солдат. Причем половина из них приняли большевистскую власть и остались в казармах... — Зная, что возражений не последует, он сделал паузу и, вдоволь насладившись молчанием собеседников, удовлетворенно кивнул: — Ну да не в этом дело. Что же вы все-таки предполагаете далее?

— Простите... — поручик нарочито замешкался, рассчитывая, что приезжий назовет себя.

— Сударь, — подсказал тот. Пришлось довольствоваться.

— Простите, сударь, мы ждали вас, ждали ваших распоряжений.

— Какие еще распоряжения? Берите власть, снаряжайте отряд и отправляйтесь к станции. Вас, кажется, должны были обо всем предупредить, — и вопросительно посмотрел на диакона. Дьякон согласно крикнул. — Каждая минута дорога, а вы все ждете распоряжений. Не сегодня-завтра кадровые части Кислякова подойдут к станции. Вот там-то вы и пригодились бы со своей сотней — в двести человек я не верю.

Поручик пробовал возразить, но приезжий жестом остановил его и продолжал рассуждение:

— Конечно, раньше времени на станции появляться не следует: вас разобьют солдаты того же самого резервного полка. Но и запаздывать не советую: Кисляков вас дожидаться не будет, а без него вы, простите, неинтересны. Так что не рассусоливайте. Надобно обмундировать людей, накормить, запастись провиантом — в России, милостивый государь, голод, и, когда вы в следующий раз попадете за такой стол, — он обвел рукой диаконовы угощения, — неизвестно. А кроме того, — добавил приезжий несколько утомленным от затянувшегося поучения голосом, — нужны кони, подводы... И люди. Вам следует явиться на станцию с двумя сотнями или хотя бы с полутора, а если менее, Кисляков, пожалуй, и без нас подобрал бы их. Так что необходимо провести в городе мобилизацию. А вы все ждете распоряжений... — И пожал плечами.

— Да-да, виноват, — торопливо согласился поручик. — Касательно военных действий мне все понятно. Все ваши замечания справедливы. Но вот, знаете ли, каким образом взять власть? Я не хочу опозорить себя жестокостью, кровопролитием.

— Именно, — вставил дьякон, — как бы это помягче — город наш благонравен, тих...

— Боюсь, и монастырь не даст ни гроша, если люди мои ворвутся в город и устроят погром. Они будут хороши где-то далеко, где их никто и не знает, а здесь... Ведь они — первейшие враги нашего города! Вот от чего, собственно, у нас и происходит замятка. — И Микушин развел руками.

— Ну ладно, — произнес приезжий самому себе и рассудил: — Диакону так говорить положено по службе, а... — посмотрел на поручика, перевел взгляд на диакона. — А что, друг мой, менее бездарного полководца у вас не сыскалось?

Поручик, потрясенный оскорблением, вздрогнул. Диакон опустил голову.

— М-да, — загрустил приезжий, — жаль все-таки, что штабс-капитан Шведов...

Диакон вздохнул и пожал плечами.

— Как же он так? — продолжал горевать приезжий.

Микушин, едва сдерживая обиду, глядел в сторону и ждал перемены разговора. Он знал, что ставка делалась на Шведова, который пользовался авторитетом и в городе, и у солдат, и, очевидно, где-то в генералитете. Но ранние, полученное на фронте, вдруг парализовало ногу, и Шведов выбыл из военной деятельности.

Микушин менее подходил на роль организатора разбро-санного по лесам воинства, хотя был здоров и к большевикам относился с ненавистью. Однако, пустив имение по ветру и проявив энтузиазм, он, как ему самому казалось, сумел подчинить себе весь этот разношерстный сброд. И поэтому теперешнее упоминание о Шведове оскорбило поручика. Но он терпеливо ждал, подавленный раздражающим превосходством приезжего, который, собственно, неизвестно кем и являлся. А тот, как будто понимая состояние Алексея Панкратовича, все говорил и говорил о штабс-капитане, жалел. Поручик не сдержался.

— Так что же делать? — резко спросил он, опустив глаза.

— Как? А! Да не волпуйтесь, ничего. Город сам свергнет Совет. Совет-то, понимаешь, — он поморщился, — три чело-века. Вы получите деньги, оружие, продовольствие. — При-езжий говорил словно о пустяках, наперед известных, беспспорных.

— А соль? — с издевкой поинтересовался Микушин.

— Что — соль?

— Я забыл вам сказать, — извиняясь, вступил в беседу диакон. — В городе совсем нет соли. То есть она есть, но вся у Шалаевой — ей солеварни принадлежали. А теперь их

нет. То есть они есть, — диакон покраснел, запутавшись, — но нарушены. Мужики ноне землю вокруг них копают и соль выпаривают.

— А это? — приезжий указал на солонку.

— Ну, своих-то Анна Сергеевна не обижает, дает понемногу, а вот... — Диакон исподлобья посмотрел на поручика и пояснил: — Еенный супруг, светлой памяти Тит Афанасьич, — перекрестился на образа, — хороший был человек, убиен разбойниками. Оттого опасаемся, что соли она не даст.

Сообщение про Тита Афанасьевича не произвело на приезжего никакого впечатления.

— Странно: в Солирецке нет соли — глупость какая-то?! — И как о разумеющемся: — Придумаем.

Поручик усмехнулся, покачал головой. Приезжий добродушнейшим образом с минуту полюбовался поручиком и вдруг сказал:

— А знаете, это даже лучше, что вы, а не Шведов...

Микушин недоуменно ждал продолжения фразы, последовало:

— А сейчас, отец диакон, велите человеку отвести господина поручика в надежное место, дабы он день-другой... отдохнул.

Это было уже совсем неожиданно.

— На каком... На каком основании вы позволяете себе абсолютно распоряжаться мною? — вскочил Микушин. — Я — дворянин! Офицер!

И тут впервые взгляд приезжего потускнел, лицо побелело, сделалось плоским.

— Потому что хочу, — сказал он твердо. — И никуда вам, молодой человек, от этого не деться. — И спокойно добавил: — А что до вашего офицерства, так по дороге на фронт вы, милостивый государь, бежали со станции Кузенково и за дезертирство военно-полевым судом разжалованы в рядовые: дело ноль семнадцать дробь два. Ваше счастье, — он улыбнулся, — что произошло это до введения смертной казни в войсках и что время такое — не до вас... Отправляйтесь, поручик, вам, кстати, и ночевать негде. Диакон, дайте ему харчей каких-нибудь, а то он настолько голоден, что есть постеснялся.

Отец диакон слушал, понуро опустив голову. Он слабо понимал происходящее, но в отличие от поручика видел рекомендательный документ приезжего с печатью патриарха и догадывался, что человек этот из людей, которые занима-

ются делами особыми. В среде монахов и церковнослужителей ходили слухи о таких людях, но мало кто видел их в лицо. Следовало повиноваться.

Вошел мужик.

— Отведи Алексея Панкратовича к себе, — сказал диакон. — Пусть день-другой поживет у вас. Да накорми.

— А потом возвращайся, — добавил приезжий. — Ты мне понадобишься.

Оставшись наедине с диаконом, он устало сказал:

— Что за люди у вас — дерьмо...

Диакон виновато пожал плечами:

— Надеялся на Шведова, а он...

— Сколько оружия? — оборвал приезжий.

— Где?

— У баб.

Диакон перекрестился:

— Как можно, сударь, называть их так? Господни слуги! — И зашептал, оборотившись к образам.

— Да перестаньте, — закричал на него приезжий. — Я ведь предупреждал, что не терплю, — брезгливо поморщился, — дешевого поповства. У нас деловой разговор, а не проповедь! Будьте любезны без причитаний!.. Так сколько оружия?

— Привозили на двух подводах, — хмуро отвечал диакон.

— Какое оружие?

— Я, право, не смогу сказать наверняка.

— Блистательно! — всплеснул руками приезжий. — Две подводы неизвестно чего. Может быть, там снаряды для корабельных орудий?! Может быть, у вас и бронепосец имеется?! На вашей... вшивой речке!

— Нет, нет, — поспешил успокоить его диакон, — там наганы и ружья.

— Ружья или винтовки? — несколько успокоившись, переспросил приезжий и вытер платком мокрые от слюны губы.

— Винтовки, винтовки!

— Игуменя вас послушается?

— Должна бы, а что?

— Завтра же надобно раздать оружие всем желающим для защиты города от разбойников.

— Так ведь оно для этих самых разбойников, ну... для похода и припасено.

— Это я уже слышал. Свергнете власть — возьмете оружие обратно.

— А какой же резон?

— Оружие, как известно, и само стреляет, ну а, — приезжий улыбнулся, — «где труп, там соберутся и орлы» — так, кажется?

— Истинно так, — смягчился диакон. — «Двое будут на поле: один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему: где, господи? Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы» — так. Кровопролитие случится, — грустно подытожил диакон и вздохнул. — Такая тишь... Живем спокойно, друг для друга аки братья. Я, скажем, поп, он — фельдшер, третий там цирюльник, булочник... Ни бунтов у нас никогда прежде не было, ни недовольства. Даже теперь... И Лузгунова-то Семку я крестил. И с батюшкой евоным рыбку лавливали, — диакон уж готов был проследиться. — Батюшка их у Шалаевой на солеварнях работал. Почитай, годов десять, как помер, или боле? — задумался, припоминая.

— Вам, отец диакон, должно, в церковь пора?

— Мы зимой вечерню не служим — по темноте никто в собор не идет.

— Отчего так?

— Волки, — простодушно ответил диакон.

— Экая глушь — волки в городе...

— Да, по улицам бегают, по дворам. В амбары залезают, в йзбы.

— Экая глушь, — повторил приезжий, кажется, несколько потрясенно, минуту молчал, но потом во взгляде его вновь появилась улыбка. — А что мужик-то ваш отъявленный мерзавец?!

— Он верный и послушный...

— Собака!

— Ну зачем вы? Он верой и правдою служил игуменье, а сейчас, когда супруга моя преставилась, — перекрестился, тронул глаза, — я попросил его. Он хорошо готовит и по двору все справно помогает...

— Да, ценный человек, — сказал приезжий самому себе. — Я с ним поговорю. Конфиденциально.

— Да-да, — не поняв, диакон согласился на всякий случай. — Поговорить можно.

III

Работный двор с жильем наемных работников находился в пределах монастыря, но был обнесен забором и вход имел

отдельный. Микушин не знал этого, потому даже испугался, когда, миновав главные ворота, мужик повел его вдоль кирпичной стены. Но вот остановились, мужик отворил калитку и между штабелями дров провел Микушина к дому. Это были монастырские палаты в один этаж, с двумя рядами келий. Проводив поручика к свободной келье, мужик нарочито услужливо распахнул дверь, старательно и долго зажигал свечи, загадив при этом стол воском, поклонился в пояс и вышел, всей своей шутовской угодливостью показывая уездному полководцу, кто здесь истинный хозяин положения.

«Холуй», — раздраженно сплюнул поручик и, не раздеваясь, лег на кровать. Напряжение, в котором держала его беседа с незнакомцем, медленно уходило, и тусклые мысли полезли в голову.

«Нескладно все. И поужинать печем. У диакона, дурак, постеснялся, а этот черт, конечно же, специально забыл. Как все нескладно, плохо! Господи! Застрелиться, что ли? Дворянин, офицер... Бессмысленный конец. А кто узнает, что меня убило?! Боже, как смешно...»

Поручик вспомнил станцию Кузенково, где формировался эшелон, грязную ресторацию, где перед отъездом на фронт генералы давали прощальный обед. Вспомнил испуганный вопль дамы, увидевшей что-то на его лице, вспомнил, как долго спяну рассматривал себя в зеркале и как протрезвел, заметив на виске вошь. Ночью поручик бежал во встречном поезде, и жизнь пошла наперекосяк.

«А этому все откуда-то известно. Мефистофель без бороды... Откуда? Не диакон же ему рассказал? Диакон не знает ни названия станции, ни номера дела. Номера, впрочем, я и сам не знаю... И зачем он приехал? Да полно, тот ли он человек? Хам, наглец, лицо беспородное... Боже! Никто никогда со мной так не разговаривал... Под арест посадил! Боится, что я помешаю перевороту... Все равно ему без меня людей не собрать. Господи, скорее бы все! Мужики злые: жрать нечего, грабить некого. Именья хватило на месяц. Накапливалось десятилетиями, а я за месяц на ветер пустил. Если бы батюшка был жив, наверное, застрелил бы меня. Господи! До чего же тоскливо, до чего несчастно! И ничего не съел за весь день, а теперь уж точно не принесут... Да вообще: был ли я счастлив когда-нибудь? Нет... А впрочем... Был! — И вспомнил, как мальчишкой удил карасей в пруду. — И вправду счастье!» — И заснул горячечным, беспокойным сном.

Когда, проводив поручика, мужик вернулся, диакон уже почивал.

— Как тебя, брат, зовут? — спросил приезжий.
— Сова, — смущенно гоготнул мужик.
— Отчего так?
— Рожей схож. Нос, вишь, крючком, башка круглая, глаза опять же. Не иначе от этого.
— Возможно. Слушай, Сова, ведь ты монастырский?
— А то как же! Семнадцать годов верой и правдой игуменье отслужил. Это вот счас еще и диакону маненько помогаю — их благоверная померла...
— Ну а в монастыре что?
— Ежели насчет политики — страшно! Все отдадут против Советов, а запасов — не сосчитать!
— Ну а так — что за жизнь?
— Жизнь как жизнь: они все молятся, а я дрова рублю, воду таскаю.
— Только-то и делов? — улыбнулся приезжий. — Бабеночки, поди, и пошаливают?
— Иногда, конечно, случается. — Сова помолчал и, словно проверяя приезжего, перешитительно добавил: — Бывает, что детишки в пруду оказываются...
— Ну?! — с неподдельным любопытством воскликнул тот.
— А то как же! — обрадовался Сова. — Каждый год притапливают. Иногда меня просят.
— А на кого детишки похожи? — приезжий подмигнул.
— А, почитай, на всех, — махнул рукой Сова.
— И на отца диакона?
Сова пожал плечами.
— А на тебя?
Сова разгоготался в смущении: «Ну чо уж?»
— Послушай, братец, ты мне нравишься! И знаешь что, — приезжий посмотрел серьезно, — пожалуй, главным в этом деле будешь ты.
— В каком? — насторожился Сова.
— Да в нашем, в скором.
Тот, изобразив понимание, согласно кивнул.
— Но чтоб о наших делах...
— Само собой. — И выпучил глаза.
— А для начала так: вот записка от диакона для игуменьи. Завтра утром монастырские револьверы надо вывезти на базар. Завтра воскресенье — базар должен быть. Пусть разбирают, кто хочет. Потом, когда дело кончится, все обратно вернем.
Сова отупело посмотрел на приезжего и вдруг заметил оценивающе:

- А ведь, пожалуй, резон.
- Я говорил, что мы пойдем друг друга.
- Резон,— повторил Сова.
- Только чтоб зря не изводили патроны, к каждому шагану не больше десятка: в тряпочку и привязать.
- Понятно! — обрадовался Сова сообразительности приезжего.
- Ну вот и порешили.
- А ты, божий человек, не промах. Глядишь, и впрямь кашу сварить,— льстиво, но уже по-свойски проговорил Сова, сощурился при этом глаз, сколько умел.

IV

И заскрипели ворота монастыря, и благословила игуменья сестру Серафиму, и долго смотрела вслед. И поползли сани через заснеженные поля в город. А на Крестовоздвиженской площади, у торговых рядов, Серафима вышла из саней, поклонилась народу и молвила:

— Матушка игуменья милосердно дарует вам для защиты от лесных ворогов,— и откинула с саней рогожу.

Народ сбегался, бабы заругались, мужики хватили за индеевские, колючие револьверы, прятали по карманам и, довольные дармовым приобретением, расходились, пока кто-то не передумал и обратно не попросил. Налетела откуда-то молодежь, гимназисты: доклевали остатки. И укатили опустевшие саночки.

Подивившись недолго внезапной щедрости матушки игуменья, город вернулся к тихому своему существованию, не ведая, что между тем история его, впервые после черемисов и татар, окрашивалась кровью.

Гармонь меняли на муку, горох на мыло, бродили пьяные, к девчонкам приставали парни — все как всегда. Вот разве соли не было. Ну да и без нее полегче, чем в остальной России, где мерли с голода и от болезней.

Не искушенный в большой игре, уравновешенный от лени и привычки к покою, город наивно шел к трагедии. Она игралась по канонам, как по нотам...

«Шведова убили!» — вот и кончилось равновесие. Убили Шведова на крыльце его дома.

— Порядка нет! — кричал Лузгунову бывший пристав.

— Соль давай! — кричали Лузгунову все. — При студенте соль была, а при тебе нету!

— Не иначе большевистских рук дело, — заметил кто-то.

Лузгунов растерянно смотрел на убитого, не понимая, что вдруг произошло.

— Молчишь?!

Вяло отвечая, что террор большевики не приемлют, что виновного он найдет, соль будет, Лузгунов отчаянно напрягал мысль, пытаясь отыскать пропущенный момент последних дней.

— Что ж я проглядел? — не обращая внимания на толпу, досадовал он. — Не оружие — раньше...

— Что он бормочет?! — орали из толпы.

— Да подождите! — отмахнулся Лузгунов.

...Когда Сова рассказывал об этом приезжому, тот слушал без всякого интереса, зевая и как будто даже задремывая. Сова обиделся:

— Вам вроде неинтересно?

Приезжий вскинул голову. Словно спросонья, удивленно посмотрел и сказал:

— Скучно, голубчик. Я это наперед знаю.

— Коли знаете, так сами и рассказывайте, — недовольно буркнул Сова.

— Ну и что? И расскажу. Потом Лузгунова начали бить и насмерть забили.

— А вот и нет! — обрадовался Сова.

— Разве? — не поверил приезжий.

— Его поначалу поволокли на площадь — суд совершать, а уж на площади кто-то стрелил, вроде из гимназистов. Тут все испугались и побежали.

— Какая разница? — пожал плечами приезжий.

— А все-таки!

...«Убили Лузгуна!» — толпа зашевелилась и врассыпную. Два вверенных Семену милиционера, сумевшие за день найти и конфисковать всего десяток паганов, выбежали из проулка на площадь и, не целясь, разрядили оружие. Вопль, крики, стоны... Потом в темной глубине Крестовоздвиженской полыхнули огни ответных выстрелов, и милиционеры полегли, где стояли. Все стихло. «Боже!» — раздался чей-то истощный крик.

Но город знал еще не все свои потери.

— Какая разница, — повторил приезжий и, нажимая на «о», поддразнил Сову, — поволокли его на площадь или не поволокли. А остальных?

— Телеграфиста по-тихому, как договорились, а кузнеца — в каталажку.

— Это еще почему?

— Надобно с десяток лошадей перековать. Сделает, тогда...

Приезжий недовольно покачал головой.

— В лес ездили? Дороги перекрыты?

— Все перекрыты!

— Ну да, ну да... Что ж, давайте мне вашего полководца.

— Поручика, что ли?

— Именно.

— Какой, к черту, он полководец? — скривился Сова. — Вот в лесу есть один человек — бежавший с солдатами.

— Знаю: прапорщик Собенников. Ты прав. Но Микушин нам понадобится еще. — И, глядя куда-то мимо Совы, приезжий, словно выверяя мысль, сказал:

— Поручик будет первым. Вот и, — он улыбнулся на мгновение, — Лузгунов был первым. Первые погибают, — развел руками, мол: «что поделаешь?» — Вторые строят, а за ними приходят третьи, брат, и четвертые. Вот они — гуляют и правят, понял? — посмотрел на Сову и подмигнул.

— Понял, — прошептал тот, тупо вытаращив глаза.

— Ну, веди полководца!

«Господи, каков мерзавец! — вслед ему усмехнулся приезжий. — И как похож на сову: шеи нет, уши высоко, брови вверх... Скучно, однако. Опять все получается. Все как всегда. Опять все пойдет, как по маслу, а в последний момент...»

Вошел диакон, дрожа словно от лихорадки. Утомленно взглянув на него, приезжий хмыкнул. Диакон, насупившись, стоял на пороге, pokrutil головой и направился к печке.

— Но отчего тем не менее они выигрывают, а? При всех прочих равных...

Диакон, потрясенный случившимся и не понимая вопроса, молчал.

— Отчего они выигрывают? — повторил приезжий. — В Березовце, в Елизаровке, в Георгиевском — все было сделано! Но потом... А ведь у большевиков на пять волостей только один отряд. Да и тот не отряд, а так себе: с миру по нитке... В Георгиевском — офицеров семнадцать человек набрал, полсотни монахов да сотню народу вооружили... На колокольне пулемет, не монастырь — крепость! И все развалилось... Еще до появления отряда. Черт знает что: офицеры стреляются на дуэлях, монахи повесился, и пошло... Только в Ярцеве получилось. Но там Кисляков уже в двенадцати верстах был — конечно!.. А? Что скажете, отец диакон?

Батюшка глянул исподлобья и отвернулся к печке.

— А впрочем, что это я? Велите водки подать...

Однако Сова ушел, повелевать было некем, и диакон принес водку сам.

— Что вы на меня так смотрите, отец диакон?

— Да как же?.. Ваша затея.

— Моя? — изумился приезжий. — А разве не вы докладывали патриарху, что «весь Солирецк предан богу, царю и отечеству», что вокруг города скрываются по лесам «люди нечистые, но могущи быть пользительны противу антихристовой власти», а?

— От усердия, — диакон вздохнул. — От усердия все, не во злобу.

— Отчего, почему — дело десятое, а пенять вам, друг мой, на себя. Более не на кого. Ну да ничего: кто теперь не убивает — разве дети?

V

В этот самый час к городу подошел охотник. Он приподнился оттого, что, едва не столкнувшись в лесу с разбойниками, вынужден был дать большого крюка. Выйдя теперь на Крестовоздвиженскую, истоптанную до торцов, охотник снял лыжи, отряхнул их от снега, положил на плечо и направился напрямик к центру площади, где лежал человек.

Все эти действия совершал он спокойно и деловито, без торопливости и суеты, как обыденные и привычные. Единственное, что выдавало в нем настороженность, так это ружье, которое было в руке, а не за спиною.

Охотник, конечно же, слышал пальбу и догадывался, что произошли события чрезвычайные, но, встретив испуганно зияющие чернотой окна города, который по случаю воскресенья мог бы лечь спать и попозже, понял, что город сам в ужасе от происшедшего, и никто теперь до утра носу за ворота не высунет.

Однако осторожность не мешала, оттого ружье было либо в руке, либо, когда охотник укладывал Лузгунова на лыжи, — под рукой, чтобы в любой миг можно было воспользоваться.

Продев веревку через отверстия в мысках лыж, охотник повез раненого Семена в больницу. Убитые милиционеры остались на площади.

Ночь была темная, облачная, мороз несильный, но снег скрипел, и собаки провожали охотника лаем. На Пятницкой в окошке почтового ведомства слабо горела копилка. Охотник

оставил на улице Лузгунова и зашел спросить о случившемся. Телеграфист сидел за столом, уткнувшись разбитым черепом в изуродованный аппарат. Охотник задул коптилку, чтоб не вышло нечаянного пожара, и вернулся к раненому Лузгунову.

И снова под собачий лай по Пятницкой, а затем по Дворянской, в конце которой светилось окно больничной дежурки.

Дернув проволочное кольцо, охотник услышал за дверью дребезжание колокольчика и тотчас же быстрые шаги. Дверь открылась, на пороге показался фельдшер Вакорин с керосиновой лампой в руках, глянул на охотника, потом ему за спину, поставил лампу и выскочил на крыльцо. Приподнял Лузгунова, обхватив плечи и грудь. Скомандовал: «Правой рукой под колени, левой — под спину, взял? Понесли!» А когда раненого внесли в кабинет и уложили на кушетку: «Принеси ложки и лампу. Дверь на засов».

Охотник, подчиняясь решительному голосу фельдшера, исполнил все в мгновение ока и стал у кушетки с лампой в руке, ожидая дальнейших распоряжений.

— Лампу на тумбочку в изголовье... Снимаем фуфайку... Здесь что-то в кармане... Уберите в железный шкафчик — ключи на столе... А теперь не мешайте.

Уйдя к двери, где он оставил ружье и ягдташ, охотник тяжело опустился на пол, выкинув перед собою ноги в высоких кожаных сапогах, стянул шапку, взъерошил мокрые волосы и затих.

Поблескивали и позвякивали скляночки и железки, плыли по кабинету лекарские запахи, то едкие и раздражающие, то дурманящие голову. Из-под рук фельдшера один за другим вылетали окровавленные куски марли. Охотник смотрел на все из своего угла и, кажется, совсем не понимал происходящего.

— Что, умотался? — не оборачиваясь, спросил фельдшер.

Охотник промолчал, соображая, к кому вопрос: если к раненому, тот, вероятно, сам должен ответить, а если к нему, чего отвечать — и так ясно.

— Сколько верст-то прошел?

Охотник понял, что это к нему:

— С полсотни.

— Сколь? — не расслышал Вакорин.

Охотник откашлялся, чтобы сбить хрипоту, и повторил громче:

— Верст пятьдесят.

— Эк угораздило! Добыл чего-нибудь?

— Ерунда. На конных нарвался, пришлось стороной, без стрельбы.

— А-а...

Подойдя в разговоре к неизвестным ему событиям, охотник, несколько сосредоточившись, спросил:

— Что же стряслось-то?

Фельдшер пожал плечами:

— А то и стряслось, что Семка-от раненый, Шведов убитый, да девчоночка еще маленькая, а что стряслось? — фельдшер обернулся, снова пожал плечами. — Не знаю. — И вновь склонился над Лузгуновым.

— А девчоночку-то за что?

— Нечаянно вроде. Милиционеры...

— Они тоже на площади, мертвые. Да котомка при них с револьверами.

Фельдшер, не оборачиваясь, кивнул.

— И телеграфист, — добавил охотник.

— Что — телеграфист? — не понял Вакорин.

— На почте, в кресле сидит. Череп расколотый.

Фельдшер резко выпрямился, держа перед собой согнутую в локте руку с какими-то щипчиками, и замер. Стон раненого вывел из оцепенения.

— Ну вот и хорошо, — вздохнул фельдшер. — Вот мы и очухались. У нас, брат, черепушка в порядке. Ребро у нас сломано, дак оно заживет, — вытер рукавом пот со лба. — А пульку мы вытащим, вона она под ребром-то. Счас, брат, в момент! Погоди в сознание приходите — больно будет, — и снова занялся делом.

Потом Лузгунова перенесли на второй этаж в палату, предназначавшуюся для сумасшедших, где окна были зарешечены, а дверь запиралась особым ключом. Фельдшер сказал, что это самое безопасное место.

К удивлению охотника, в палате обнаружился человек — Настька-дурочка. К еще большему удивлению, Вакорин поручил Настьке не спать и присматривать за Лузгуновым.

Вернувшись в дежурку, фельдшер объяснил:

— Она не дурочка вовсе, только что немая, а так — просто забитая. Сирота, понимаешь, с детства попрошайничала, странничала... Предыдущий дурачок — Алешенька-кислый, тот и взаправду идиот был, я его в губернию свез. Кого-то надо — вот Настьку безответную и назначили. А счас, понимаешь, беременная она — от Микушина, не иначе, — последнее время у него на хлеб зарабатывала. Вчерась-от приползла вся в синяках да в шрамах — плетью, что ли, он се

отхлестал? Уходить отсюда не желает, а я — сколь ее могу продержать? День-два? Более не положено: больница все-таки, не уют... Ну что, брат? Плохую новость ты мне про телеграфиста-то рассказал. Мы с детства ведь... — И мотнул головой.

Задрезжал колокольчик.

— Открыть?

— погоди, — остановил фельдшер.

— Иван Фомич! — донеслось с улицы.

В заиждавшееся окно невозможно было разглядеть, кто стоит у крыльца.

— Кто там?

— Я!

— Кто — я?

— Открывай! — раздался другой голос.

— Бери, брат, ружье, — кивнул фельдшер охотнику.

Сам быстро отворил одежный шкафчик, взял ружье, патронташ: «Бежим наверх!»

На втором этаже, над крыльцом была неотапливаемая веранда с балконом. Здесь в летнее время отдыхали больные. Поднявшись, Иван Фомич приказал охотнику стать в сторону и наблюдать через выбитое оконце, а сам, распахнув застекленные двери, шагнул в снежный сугроб балкона.

— Что вам?

Внизу стояли трое: Микушин, монастырский мужик и еще кто-то незнакомый Вакорину, по-видимому, из лесных.

— Давай совдеповца! — скомандовал незнакомый. Микушин что-то шепнул ему, но тот отмахнулся.

— Не могу, — возразил фельдшер.

— Эт еще почему? — изумился все тот же.

— А потому, что у меня больница. Вылечу, выпущу, тогда войте, а больного или раненого не отдам. Я, брат, на двух войнах сильно этому обучался. Пока ты в лесу гулял...

Незнакомец опешил.

— Значит, живой, — сердито сказал Микушин. — Не могли сразу?..

— Да он и так помер бы! Кто ж его с площади выволок? — раздосадованно произнес Сова.

Незнакомый не слушал их, осмысливая ответ фельдшера:

— Значит, не выпустишь? — И снял винтовку с плеча.

Фельдшер поднял ружье.

— Вы б поспокойнее, граждане, — обратился охотник, просовывая стволы в черный ромб выбитого оконца.

— Кто еще?! А-а! И этот здесь,— сказал Сова.— Стало быть, его рук дело.

— А вам-то что до Совдепов? — удивился поручик.

— Не трогайте фельдшера!

— Да мы и не собирались.

— Что вы, Иван Фомич? Или мы сами себе враги? — Сова повернулся к лесному, пытавшемуся возразить, и зло оборвал: — Заткнись!

— Пошли! — сказал Микушин.

— Куда еще? — не понял лесной.

— Да пошли! — заорал Сова, взял того под руку и потащил, на ходу выговаривая.

— Простите, Иван Фомич,— извинился поручик.— Простите, Плугов,— сказал он вышедшему на балкон охотнику.— Эти лесные мужики совершенно неуправляемы.— Развел руками, вежливо козырнул и поспешил догонять.

— Что ж это? — пробормотал фельдшер, рассматривая ружье, словно диковинку.— Я был готов убить человека! Как на войне... Убить человека!.. Русского?! — изумился он неожиданному открытию.

Спустились в кабинет.

— Что ж это? — продолжал недоумевать фельдшер.— Как можно? Да неужели я выстрелил бы в Микушина или в тех? А? — обратился он к Плугову.— Вы могли бы убить русского человека?

— Отчего ж нет? — устало ответил Плугов.— Если этот человек — сволочь, то... — И тут глаза его настороженно сузились. Фельдшер заметил и сразу перевел разговор.

— Ну ладно. День сегодня тяжелый. Надо бы перекусить.

У него было несколько вареных картофелин и горшочек соленых грибов, а охотник достал из ягдташа тетерева, которого фельдшер вмиг обработал и затолкал в печь.

Плугов тем временем прибрал кабинет: сгреб в ведро окровавленные бинты, вытер пол мокрой тряпкой.

— Вы вообще-то как перебиваетесь? — ощупью спросил фельдшер, не зная, обидится ли охотник.

— А что? — тот не понял.

— Ну, с харчишками-то?

— А-а! — Плугов отмахнулся, словно это и не заслуживало разговора.— Слава богу, настрелять дичи да рыбы наловить всегда можно. Сегодня, правда, не повезло: какое-то движение всюду — конные, пешие, куда ни сунешься — крики, галдеж... А так ведь у меня по лесам и капканы, и петли, да и ружьишко способствует.

— А вы, видать, серьезный добытчик, — мгновенно оценил фельдшер.

Плугов долго молчал, и Иван Фомич решил уже, что разговор окончился, вот так ни на том, ни на сем, но:

— Вы, Иван Фомич, стреляете лучше меня. Может, правда, у вас ружьецо получше... Только, думаю, дело не в этом: стреляете вы определенно лучше, чем я, — опустив голову, отвечал Плугов.

— Когда же вы видывали мою стрельбу? — удивился Вакорин.

— Видывал, — горестно ухмыльнулся Плугов и поднял голову, мол, смотри на меня, хочешь — смейся, хочешь — жалей, а живу я вот так: от людей прячусь, а сам с них глаз не спускаю. — Видывал, и неоднократно.

— А коли так, — не принимая вызова, легко продолжал Вакорин, — не изволите ли составить охотницкую компанию?

— Эх вы великодушны...

— А я лекарь, — просто сказал Иван Фомич.

Плугов улыбнулся, ощутив радость оттого, что его приняли: впервые за долгие годы другой человек спокойно принял его такого, как ему казалось, корявого и неудобного для людей. Плугову даже дышать захотелось вольней, и он растегнул ворот рубашки.

— А вы ведь ни разу у меня в больнице и не были. Что, не жалуетесь на здоровье?

— Как не жаловаться? — ответил он. — Глаза побаливают, стрелять стал хуже.

— Это, наверное, от каменной пыли. Вы, поди, без очков работаете?

— Да, очков у меня нет.

— Я подберу. И микстурку еще дам, чтоб после работы обязательно глаза промывали. Лучше, конечно, крепким чаем, да где ж его взять, чай-то? — фельдшер развел руками. — Ну а еще чего?

— Еще? Ноги еще болят — в дождь или когда намаюсь сильно.

— Ну это, братец, охотницкая болезнь, — заявил фельдшер.

Плугов согласно кивнул.

— Поди, на уточек хаживаете?.. То-то. Часами в воде стоять приходится — сам знаю, у самого ноги загублены. Все на уточках да на токах...

И тут согласный разговор был прерван новым звонком.

— Кто? — спросил фельдшер.

— Иван Фомич! Иван Фомич! — запричитала под окном баба.— Таньку-от привела, рожает Танька!

Фельдшер бросился в коридор открывать двери, Плугон на всякий случай взял ружье, но из дверей, подталкиваемая сзади, выкатилась, словно шар, маленькая бабенка, закутанная в платки, душегреи, салоны и черт знает во что еще, и, придерживая руками живот,— мимо фельдшера, мимо Плугова — плюх на кушетку! Следом влетела причитающая баба постарше, должно, мать или свекровь:

— Господи! Спаси и сохрани, господи! Что ж происходит?! Кто убивает, кто рожает, господи!

Подмигнув фельдшеру, Плугон пошел на второй этаж к Лузгунову.

Настька сидела на кровати раненого большевика и при свете коптилки поила его с ложечки какой-то жидкостью, оставленной фельдшером. Увидев Плугова, шмыгнула на свою кровать и затаилась под одеялом. Лузгунов уже пришел в сознание, но был очень слаб — потерял много крови. Едва связывая слова, он пытался что-то объяснить Плугову, но тот понял лишь, что виноват в перевороте чужой; свой до такого не додумался бы.

— Отдыхай, отдыхай,— успокаивал его Плугон.— Очуаешься — разберешься; наладишь еще свое правительство.

— Мо-е? — задыхаясь, переспросил Семен и сам же ответил:— Не мое — ваше. Или не понимаете?.. Ты кто?

— Артельщик я, ювелир.

— А! — вспомнил Лузгунов.— Рудознатец, про тебя еще всякие слухи...

— Ты б отдохнул, что ли,— остановил его Плугон.

— Извини, извини... Где ж я проглядел? Где ошибся? — В груди его захрипело, забулькало.— Пить! Пить дайте!

Плугон взял с тумбочки кружку и, придерживая голову раненого, дал отпить.

— Спасибо, мне уже легче... Что ж я пропустил? Кому понадобилось убивать Шведова? Кто приказал раздать оружие? — обращался он к самому себе, требуя ответа и не зная, как отвечать.

Снизу донесся истошный вопль, мужики вздрогнули.

— Что это? — спросил Лузгунов.

— Баба... рожает,— испуганно отвечал Плугон.

Всю ночь кричала и стонала роженица. Всю ночь Настька неподвижно сидела на кровати, свесив босые ноги. Лицо ее, и без того выразительное, как это всегда у немых, было одухотворено теперь чем-то необыкновенным. И мужики, с

тревогой прислушивавшиеся к каждому стону, доносившемуся с первого этажа, точно ища объяснений или утешений, всматривались в женский лик, вознесенный над жизнью, над временем. И под величественной скорбью закрытых Настькиных глаз, под смертельным отчаяньем криков мужики, как малые дети, беспомощно тыкались в происходящее. А войны, революции, перевороты — все, все исчезло. До утра.

Утром бабенка благополучно разродилась мальчиком.

— Ну что будешь делать? — всплеснул руками Иван Фомич. — Мальчик за мальчиком — видать, снова война!

В семь часов, передав дежурство молодому врачу-практиканту Ермилову и предупредив его о возможных посягательствах на жизнь Лузгунова, Вакорин отправился отдыхать. Ушел и Плугов. Настька исчезла чуть раньше, до прихода врача.

Дорогой фельдшеру встретились больничные дровни, на которых, укрытые простынями, лежали милиционеры и телеграфист. Вакорин хотел откинуть простыню, чтобы взглянуть на друга, но санитар, болезненно покривившись, помотал головой: «Не надо, Фомич, — жуткое дело». Фельдшер кивнул и опустил руку.

— Куда везти-то: в анатомичку или сразу на кладбище?

— В анатомичку, — вздохнул Вакорин. — Пусть доктор составит заключение... Кошкина позовите... Кто у нас теперь вместо полиции?

— Они, наверное, и будут, — пожал плечами, — боле некому.

— Ну да, ну да... Конечно. А! Все равно в анатомичку, все равно заключение падо. Когда-нибудь какая-нибудь власть да образуется, — не то пояснил, не то спрашивал фельдшер. — Глядишь, документы понадобятся... — Постоял минуту, махнул рукой и пошел.

Иван Фомич был единственным оплотом медицины верст на тридцать кругом. Случались в городе и врачи, но приезжали они ненадолго: попрактикуются — и уедут. И доверия к ним нисколько народ не испытывал. А уж к Ивану-то Фомичу!.. Словом, водки было выпито за здоровье его несметно, и «многая лета» служилась ему в солирецких церквях чуть ли не каждый день.

Профессиональное кредо фельдшера сводилось к определению: «болезнь — дерьмо». «Отчего на войне никто не болеет? — рассуждал он и отвечал: — Некогда. Или взять раненых: у того, который на фронт спешит, рана быстрее заживает. Конечно, ранение ранению рознь: в ключья разорвет —

делать нечего. Да и болезни есть такие, что нас не спрашивают, но тоже: сколько я по тифозным госпиталям работал — ничего, демобилизовали — загремел с сыпняком».

Недостаток знаний, нехватку лекарств фельдшер восполнял презрением к болезни, верой в выздоровление, умением передать эту веру своим пациентам.

Было Ивану Фомичу за сорок, выглядел он так, что и без документа можно было угадать: фельдшер. Сухой, высокий, стриженные бобриком русые волосы, остро торчащие усы, взгляд строгий и одновременно поощрительный, пенсне. Такими фельдшеров изображали в журналах, и, когда солдатам на фронте попадались эти картинки, солдаты удивлялись: «Гляди, наш Фомич нарисован!» Как и подобает лекарю, был он человеком добрейшим, всякого умел успокоить. Любил детишек, коих супруга приносила так часто, что, несмотря на смерти, мелкота в доме не переводилась. Хаживал на охоту, однако не столько из баловства, а чтобы проведать народ по деревням — не заболел ли где кто. Денег Иван Фомич не брал. Да вообще единственным способом отблагодарить его было незаметно принести что-нибудь на крыльцо дома, а это дело мудреное: то ребятишки бегают по двору, то собака. Но иногда удавалось. Конечно, обнаруживая на крыльце крынку с творогом или короб брусники, фельдшер сердился, выбегал за ворота, грозил пальцем неизвестно кому, ругал жену и детей, что просмотрели, но подарок приходилось принять — выбросить было бы совсем уж безнравственно.

Словом, Ивана Фомича крепко любили. А уж верили в него так, что он сам изумлялся. Придет, бывало, кто-нибудь на прием, посмотрит фельдшер и вздохнет: «Нет у меня сейчас такого лекарства».

— Иван Фомич, дай порошок! Какого ни на есть!

И вот пререкается Иван Фомич, пререкается, а потом и не вытерпит: «Черт с тобой! — сходит в другой кабинет, мелку натолчет. — На!» От мела, известно, вреда не будет. А через день встретит на улице:

— Как здоровьишко?

— Во! Как рукой сняло!

— Тьфу, господи! — удивляется фельдшер.

Таков был Иван Фомич. И, наверное, спроси любого в уезде: «Бог или Фомич?» — «Фомич!» — заорут без раздумий и еще руками замашут, мол, что тут спрашивать. Вот почему поручик и Сова оставили в покое Лузгунова. Но ненадолго.

Вакорин еще и спать не ложился, когда прибежал санитар: «Скорее, скорее, там...»

Однако спешить уже было некуда. Заколотый штыками, Лузгунов умер. Фельдшер понял это, не проверяя пульса. Во фронтовых лазаретах ему приходилось видеть много штыковых ран, и он знал, что штык, к сожалению, почти всегда молодец, в отличие от пули, которая, к счастью, немного дура.

— Мерзавцы,— прошептал фельдшер, опускаясь на соседнюю койку, потом вскочил:— Как? Кто? Где Ермилов? Что же творится?!

Но санитар развел руками: все было сделано без шума, незаметно, и Ермилов скрылся. Должно, вместе с убийцами.

— Кликни кого-нибудь, снесите в анатомичку. Сам займись.

Санитар кивнул. Вакорин спустился вниз и только теперь заметил, что в коридоре толкутся люди. Все стали говорить здравствия, и в шорохе голосов фельдшер слышал привычное: «Спаситель ты наш», «Помилуй», «Храни тебя господи».

— Что плачешь, мать? — тихо спросил он старуху, по одежде судя, из самых нищих.

— А как не плакать, как не плакать-то? За что, скажи на милость, нас боженька-то наказал? Ты глянь-ко, глянь-ко-от! — Откуда-то из-за себя она вытащила мальчонку лет семи-восьми, внука, наверное.

— Какой из него кормилец-то будет?

Фельдшер, задрав рукав куценького пальтишка, увидел бугор неправильно сросшихся костей.

— Когда сломал?

— Да летом еще — с лошади упавши.

— Домой езжай, мать. Сразу надо было везти.

— Дак как сразу? Сразу-то сенокос был!

— Ничего уж тут не поправишь,— горько улыбнулся Вакорин. — Да ты не реви, не реви, мать: с такими мослами его в рекруты не возьмут.

Старуха на мгновение притихла и вдруг снова заплакала:

— Господи, спаситель ты наш, Иван Фомич, родненький! Счастье-то! Счастье-то какое! Господи! Век не разблагодариться! — схватила фельдшера за руку.

— А! — отдернул руку Иван Фомич.

Внимательно молчавшая очередь радостно зашевелилась, но тут же и стихла под строгим взглядом Вакорина, направившегося в кабинет.

Прибежал санитар: «Все сделано». Фельдшер, спимая усталость, ладонью провел по лицу, потом достал из верхнего кармана жилетки пенсне, завернутое в платок, и, протирая стекла, сказал:

— Не могу я сегодня...

Санитар понимающе кивнул.

— Так что давай лучше больных принимаем.

— Как скажете.

— Зови.

VI

А теперь самое время поговорить о погоде. Или почти о ней. И не оттого, что более говорить не о чем — это, смею заверить, не так. И не с целью придать голубизну своей крови — это попросту невозможно, ведь генеалогия моя уходит корнями в такую глушь! В Солирецк, собственно. И даже дальше: в деревню Медведиху, что в тридцати верстах за Солирецком. Жители Медведихи, хотя и числились в известные времена микушинскими холопами, ни одного дворянина своими глазами в жизни и не видали. Путь от города до Медведихи проходит по таким гиблым местам, что кто-то из моих предков, выбравшись однажды в Солирецк, назад вернуться уже не сумел.

В настоящее время сам факт существования Медведихи под сомнением. Спросишь — ответят: деревня как будто и есть, но чтобы туда дорога была — невероятно. А потому деревни, может, и нет совсем.

Так вот: рассказывая о характере и лице города, я как-то отвлекся и не упомянул его нарядов.

По ночам, при свете настольной лампы перебираю тайное богатство свое... Четыре эпохи, из которых, говоря честно, три — не мои. Люди — живые и ушедшие: перевидал их великое множество, а оставил лишь нескольких — беда, право, с людьми. Но зато пейзажей больше, чем во всех музеях мира. Главное — картины и делать-то совершенно несложно! Пусть художник обидится, мол, краски несметно истратил, четырежды счищал и начинал по новой, пил неделю и однажды едва не повесился. И пусть фотограф говорит, что «Кодака» извел рублей на двести, пока отснял необходимый кадр. Все ерунда! Надо только заметить и посмотреть, и останется в памяти.

Скажем, зима...

Нет зимы лучше сибирской. И оттого, паверное, что сибиряк — человек вольный, смелый, лихой — уж больно хорош

среди многометровых снежных навалов, тяжело повалившихся на его землю, деревья, дома. Он, черт, как будто расцветает под этой жуткой толщей снега. Играючи таскает ее на плечах, и что ему мороз! Ворот распахнут, грудь открыта, знай, хохочет себе, только иней с бороды осыпается. Зима ему как будто для забавы: баловство да игрища устраивать. Оттуда ведь и «Снежный городок» пошел...

Конечно, Сибирь красива всегда, и красотой, и каким-то неодолимым могуществом. Но лучший ее наряд — зимний день.

Весна уж больно хороша на Волге, когда река разливается в такую ширь, что приборы на спутниках запросто путают ее с Атлантическим океаном. Так вот, весною, глядя на Волгу, спокойно и беспредельно величественную, думаешь: еще поживу! Взошедшее солнце опускает на воду золотой меч, и говоришь: а что? И возьму этот меч! И развернусь! И понаделаю дел светлых и солнечных. И уверен, что это человеку под силу, — до того хороша Волга вешней порою.

Лето — лучший наряд средней России. Жарким июльским днем ляжешь в траву на курском или тамбовском пригорке, не боясь, что зашибет жарой, как бывает на юге; сквозь дремоту, наваянную пением жаворонка и шмелей, разглядишь уходящие перелески, речушку, меченную ивняком, тонкий ствол близкой березы, и ощущение святого единства с этой землей напоит тебя. И душу можешь пустить погулять в этой земле, не боясь, что заблудится или ее неправильно поймут. Здесь, даже умерев, с землей сольешься, прорастешь, дашь корни и побеги, превратишься в куст, в березку. Можно в елку, кедр, лиственницу — все равно. Здесь остро чувствуешь, что и за каждую дубину стоеросовую на своей земле ты будешь драться. Прекрасные места! Я хоть родом и не отсюда, но отчего-то именно в этих краях люблю летнюю пору.

А вот, скажем, осень, пора таинственная, призрачная, пора, в загадочности своей для русского человека сравнимая разве что со вселенной.

Ах, художник! Владея осенью — владеешь всем...

Так вот осень, если взять позднюю, холодную, с облетевшим листом, более всего впечатляет на землях низких, сырых, где-нибудь в новгородских или тверских лесах, в какой-нибудь прибитой дождями, вымокшей до черноты деревеньке с жалобным блеском плачущих окон — льются, льются слезы, и вот уже дорогу в грязь развезло, и лужи поблескивают горемычно. И во всей этой черноте жилья и земли, в тусклом слезливом блеске столько безысходности, столько щемя-

щей тоски, что сердце сжимается, и такая боль давит горло, что жить неохота. Но вцепишься взглядом и не оторвешься, и так бы стоял под дождем и смотрел до конца своих дней.

Человек рождается с географией своей страны в душе, оттого-то любому клочку родной земли душа и отзовется. Но тогда сколько ж должно быть наворочено в душе русского человека!

Однако...

Солирецку более всего к лицу всякое поганое время, а уж февральские метели — просто ах! Жители тогда прячутся по домам, запираются на все замки и засовы и жмутся к печкам — так уютнее. А уют в городе всегда ценился превыше всего. Чистоты даже. И чем противнее погода, тем слаще спалось за четырехсаженными воротами, подпиравшими низкое февральское небо.

Так вот, в день после происшествия случилась метель. Засыпала она Крестовоздвиженскую свежим, колючим снегом, намела сугробы у ворот, стен, заборов, и будь это в другую историческую эпоху, город бы крепко затих, а тут... Нет, в общем-то гимназии бездействовали, церковные службы не отправлялись, на улицах — ни единой души, но по задворкам и клетям сосед встречался с соседом, судили-рядили, и получалось, что без чужого человека перевороту не быть: уж больно складно все само собою произошло — свой до такого бы не додумался. Эта верная мысль исходила не из проницательности граждан, а, к сожалению, всего лишь из боязни признать кого-то своего и, значит, свой уклад, себя — виновными. Еще бродил твердый слух, что Лузгунов в момент убийства штабс-капитана был занят розыском монастырского оружия совсем на другой улице и прибежал, услышав выстрел.

Неладное это оружие!

Ездил по городу сестра Серафима, собирала нагаши и рассказывала, что матушка игуменья, «премного осерчавши за глупость людскую, коей сила направлена была на бездумную шалость».

Из лесу в усадьбу Микушина ночью перешли тридцать человек для подготовки обоза.

Поручик, выполняя распоряжения приезжего, занимался организацией власти. Дело это, к неожиданности, складывалось затруднительно. Бывший городской голова наотрез отказался принимать какое-либо участие в новом правлении. Студент обещал подумать. Прочие кандидаты соглашались, но лишь на второстепенную роль.

Оказия получилась и с выпуском новой газеты, на которую приезжий возлагал значительные надежды.

Типографию в город привез Лузгунов. Дело в том, что бывший солирецкий житель, кстати, дядя Микушина, ставший крупным издателем, признал Советскую власть и осчастливил городишко газетой. И вот поручик явился в типографию — маленькую комнатенку, где круглосуточно обитали печатник Михеев и наборщик Оляпкин.

— Что, бездельники, большевистские книжки почитываете? — заорал с порога Микушин.

Рабочие лежали на нарах и впрямь почитывали большевистские книжки.

— Ты ж всю редакцию истребил, вот мы и бездельничасм, — объяснил Михеев, подразумевая под «всей редакцией» Лузгунова.

— Да я велю вас в тюрьму! — заорал еще громче Микушин.

— Вели, — пожал плечами Михеев.

Напарник его послонявил палец и перевернул страницу.

— Да как вы смеете? — побелел поручик.

— А что нам сметь? — рассуждал Михеев. — Кто ты нам? — И задумался. — Никто. Ежели власть Советская, начальник нам — Лузгунов. Он убит, и нового пока не назначили. Ежели власть прежняя, начальник нам — ваш дядюшка, а он типографию покедова в наследство вам не передал, так что...

— Смотрите же, — прошипел поручик, открывая дверь, чтобы уйти.

— Гляди! — произнес вдруг Оляпкин.

Поручик обернулся, полагая, что это к нему.

— Гляди, как интересно, — Оляпкин ткнул Михеева в бок и указал пальцем строчку. — Тут написано, что...

— Черт бы вас! — Микушин хлопнул дверью и побежал.

Когда вернулся с Совой и двумя мужиками, на дверях типографии, приклеенная олифой, висела записочка: «Бастуем».

— Что значит «бастуем»? — поинтересовался Сова.

— Сейчас они тебе сами ответят! — обещал Алексей Панкратович.

Но рабочих на месте не оказалось. Мужики и Сова сразу скисли, повернули обратно. Микушин остановил:

— Без них разберемся — я видел, как это делается.

Открыл и закрыл станок: «исправно», посмотрел в кассу... Лишь в трех ячейках лежали буквы. Мужики подошли, лю-

боытствуя, взяли буковки, повертели, складывая их так и сяк, и вдруг Сова, мало-мальски знакомый с грамотой, изумленно прошептал: «...» Мужики заготовали, Сова повалился на нары, Микушин вылетел из типографии, и над пустынной улицей пронесся вопль: «Разыскать! Под арест!»

Мужики, вздрагивая от смеха, неохотно пошли исполнять приказание.

— Мерзавцы! — раздосадованно бросил поручик, вытер платком мокрый лоб и брезгливо посмотрел на Сову, появившегося в дверях. — Хамское поведение большевистских холопов вам дороже священной борьбы...

Сова, смущенно опустив голову, ухмыльнулся «хамскому поведению».

— Я выбью из вас всю дурь! — Поручик сжал кулак с такой силой, что перчатка треснула. — Выбью! — грозил он Сове.

Вытаращив глаза, тот удивленно посмотрел на микушинский кулак и для сравнения приложил к нему свой: без перчатки, но с фигою. Сравнение оказалось не в пользу поручика, он отвернулся и быстро зашагал прочь.

— Как раз с твою голову, вашбродь, — вслед ему разъяснил Сова.

Едипственно, что удалось в тот день сделать поручику, так это договориться с бывшим жандармом Кошкиным о захоронении Лузгунова. Кошкин молча выслушал просьбу поручика, молча оделся и пошел в больницу.

— Слушай, Иван Фомич, — сказал Кошкин. — Дело такое, что большевиков надобно срочно захоронить.

— Чего вдруг спешка?

— Да тут, понимаешь, завертелось все... Диакон анафеме их предал, на погосте захоранивать не разрешает, велел у больницы. Завтра уж назначено гимназистов заместо урока божьего вести на могилу, чтоб плевали.

— А с остальными что? — спросил фельдшер.

— А остальных счас развезем по родне, а потом как положено: с панихидой и с почестями.

— Ладно, — вздохнул Вакорин, — срочно так срочно, им уже все равно. У тебя есть люди могилку-то выкопать?

— Есть.

— Занимайся. Только давай сперва заключение какое-никакое составим.

— Можно, конечно, только хорошо бы без вскрытия, а то надолго получится.

— Без вскрытия — так без вскрытия. И так в общем-то

все понятно. — Взял лист бумаги. — С Семена начнем?

— Давай... Ты только не думай, — Кошкин, смутился, — хоть он мне и обидчик... словом, не его затея. Хоть, конечно...

На первом же заседании Совет постановил за взяточничество конфисковать у Кошкина оружие и форму и на три дня посадил под арест.

— Вишь, что пришил? — вспомнил обиду Кошкин. — Поручика мне пришил! Мол, я за деньги не стал доносить начальству, что поручик скрывается у нас! Экая глупость! — воскликнул полицейский, ища поддержки.

Фельдшер отвел взгляд и кивнул.

— Я ж не за деньги! — продолжал доказывать Кошкин. — Просто по доброте!

— Понятно, понятно, — торопливо соглашался Вакорин.

— Да и время тут наступило такое — не поймешь, кто прав, кто виноват.

Фельдшер снова кивнул и снял пенсне, чтобы не видеть заискивающих глаз полицейского.

— Я, конечно, не жалею о шашке, о шинели, о папаче — ничуть. Что у меня — другой, что ли, одежды нету? Из-за ареста обидно. А шашка... Мне с нею сейчас даже совестно и ходить было бы, — искренне признал Кошкин. — Так что...

— Ну ладно, — перебил его фельдшер, — скажи лучше, на кого гресишь за эти... события?

— Черт его знает, — вздохнул полицейский, потом вдруг сощурился и спросил: — А кому из этого будет корысть?

— Какая корысть из братоубийства. Мы ж не на японской, не на германской... Неужели свои своих постреляли?

— Откедова у нас чужому взяться? Свои и постреляли. А из-за чего — непонятно. Дурь какая-то на город нашла — так я думаю.

— Не иначе, — согласился с ним фельдшер и нацепил пенсне.

Закончив писать бумаги, Иван Фомич вышел в коридор, где среди больных понуро стояли родственники Шведова и телеграфиста. Кошкин предусмотрительно пригласил из родни лишь мужчин, чтобы не было никаких помех трудному делу. Фельдшер тихо со всеми поздоровался, сказал больным: «Я устал на сегодня, граждане», и, не дожидаясь, когда начнут выносить трупы, отправился домой спать.

VII

Неурядица вышла и с солью: в отличие от игуменьи купчиха Шалаева ничего не отдавала бесплатно и заломила такую

цену, что Микушин с отцом диаконом от изумления минуту молчали, а когда опомнились и взялись увещевать купчиху, мол, как же это она отказывается помочь борьбе с Совдепами, Анна Сергеевна равнодушно ответила, что ей без разницы, какая власть: «Жрать захочут — все одно к купцам с поклоном придут».

Грозить не решились, памятуя, как Лузгунов, пригрозив, заставил Шалаеву вывезти из тайных хранилищ десять пудов соли для раздачи крестьянам. Ночью купеческие работники вывезли, да при переезде через реку над самою быстринной у телеги отчего-то сломалась ось. Соль оказалась на льду, и, когда рассвело и жители Солирецка обнаружили посредине реки горку соли, толпа народу бросилась на лед. Лед в этом месте был тонок; соль быстро разъедала его, и, хотя принесены были лестницы, веревки, шесты, соль исчезла, прежде чем люди сумели добраться. Счастливым удалось зачерпнуть в пригоршни холодного соленого месива. На том дело и кончилось. Хорошо еще никто не утонул.

Так что, поломав шапки перед Анной Сергеевной, Микушин с диаконом ни с чем и ушли.

— Говорил я ему! — недовольно поминал Микушин приезжего. — А он: «Все будет». Пусть теперь сам и достает.

— Пусть, пусть, — соглашался диакон.

На следующий день до Солирецка докатился слух, что в одном месте крестьяне, недовольные свержением Лузгунова, напали на засаду и вырезали разбойников. Рассказали об этом раненые, сумевшие удрать от расправы. Они же сообщали, что, сняв засаду, мужики пропустили по дороге розвальни.

— Кто еще? — недоумевал Сова. — Лузгунов и телеграфист убиты, кузнец и в кузнице и в тюрьме под охраной — кто еще?

Сообщение о том, что кто-то сумел вырваться из осажденного города, страннейшим образом подействовало на приезжего: сидя в своем кресле, он вдруг задрожал, закашлялся и, опустив голову, прикрыл руками слезящиеся от смеха глаза. Потом жалостливо взглянул на поручика и весело произнес:

— Плохи ваши дела, милостивый государь!

— Вы только пугаете да пророчествуете! — вспыхнул поручик. — А сами положительно ничего не предпринимаете для общего дела! Где соль, которую вы нам обещали?

— У Шалаевой — так, кажется, ее зовут?

— А на какие деньги мы купим соль? Да и вообще, — махнул рукой, — какие сейчас деньги?

— Ну, золото и драгоценности пока из цены не вышли, — возразил на это приезжий.

— Где я возьму золото? — взвизгнул поручик. — Монастырь дает одно продовольствие...

— Да хотя бы вот здесь, — спокойно ответил приезжий, указывая на угол с иконами.

Диакон покраснел:

— Оклады эти недороги, да и камушки все фальшивые...

— Значит, надобно достать, — удивляясь несообразительности, приезжий поморщился.

— Где?! Где?! — отчаянно воскликнул поручик. — Кто даст мне золото? Не пойду же я грабить?!

Приезжий недовольно покачал головой:

— Диакон, велите поручику уйти. У него еще столько дел, а мы отвлекаем...

Диакон хмуро кивнул, Сова взял Микушина за локоть.

Просидев несколько минут в задумчивости, приезжий сказал:

— А что, друг мой, вы рассказывали о человеке, который уволок большевика с площади? Он, кажется, ювелир! Или даже что-то вроде хранителя артельных запасов?

— Да Плугов-то здесь при чем? — настороженно спросил диакон, боясь, что затевается новое бедствие. — Конечно, характеру человек невеселого, про него всяческое болтают, но...

— Не волнуйтесь, диакон, никто не собирается убивать вашего ювелира, я просто хотел поинтересоваться его запасами.

— Он хотя человек и не политический, боюсь, ничего не захочет дать...

Отцу диакону было неизвестно, что ночью, когда Сова, занимаясь приготовлением обеда, сообщил приезжему о первом, неудачном, походе в больницу, вышел разговор и о Плугове:

— Он что — сочувствует большевикам?

— Не, ему все без разницы. — Сова запалил лучину и сунул в печь. — Его даже хотели в Совет к студенту подбавить. Нет, говорит, не хочу политикой заниматься. Политика, — Сова поднял глаза в потолок, припоминая, — политика, говорит, это борьба за выгоду — во как! И мне, говорит, это совсем ни к чему.

— А-а, — понимающе протянул приезжий.

— Вообще-то он ювелир. Не то чтоб ювелир, как наши, — ни золотом, ни серебром он не балуется и скань не умеет делать. Чернить тож...

— Тогда какой же он ювелир?

— Камушки разные обрабатывает — для колец там, для брошек.

— Где ж он берет камушки?

— А сам находит. Все лето прошатается незнамо где, прищипывает камушков, а потом точит... Блестят! Жуть просто!

— Да где ж он находит камушки? У вас ведь тут ни одной горы нет!

— Далеко! Весной уходит, а вертается, когда уж снег выпадает — не иначе на Урал шастает.

— Что же он — рудознавец?

— Не знаю. Только хаживает он далеко. И вообще — человек смурый. У нас его побаиваются, говорят, ежели кто кладами промышляет — непременно убийца. — Сова вздохнул и пожал плечами. — Говорят, без убийств в этом деле нельзя.

— Ай-яй-яй! — приезжий, глядя на Сову, рассмеялся.

Тот сначала не понял, а потом:

— Ладно вам! Чай, сами затеяли!

— Да я ничего, ничего, — поспешил успокоить приезжий.

Печь разгоралась.

— Однако, мяса сегодня батюшка совсем мало дал — щи получатся постные, — и грустно склонился над чугуном.

— Слушай, а золота ваш рудознавец не находил?

— Находил. Артельные с его золота много безделушек работали.

— Откуда он знаком с делом, не скажешь?

— Черт его знает. Книг у него, говорят, тыща. Может, через те книги?.. Или вот, ежели где колодец рыть — сразу место угадывает. Нюх, что ли?

— А скажи, много ли он камушков делал?

— Почем мне знать? Сколь надо, столь, значит, и делал.

Спросите лучше у батюшки — ему ювелиры на сохранение какой-то леестр оставили. До спокойных времен.

Отец диакон теперь, конечно, догадывался, что один лишь Сова мог сообщить приезжему об артельном реестре, но, догадываясь, не сердился, понимая, что мужик так же, как и сам диакон, да и весь город, страннейшим образом попали под власть приезжего.

Человек ленивого ума, диакон был из людей, привыкших,

не задумываясь, решать вопросы денежным мешком, и, встречая наделенных большею властью или большим богатством, так же, не задумываясь, повиновался. Однако события последних дней повергли диакона в такой испуг, такую растерянность, что он с нетерпением ждал отъезда внезапного гостя.

— У Плугова, наверное, мало что сохранилось, — просительно отвечал батюшка.

— Не важно. Отправьте кого-нибудь и дайте мне реестр. А когда ювелир придет, будьте так любезны, оставьте нас.

Через полчаса в комнату тяжело ввалился неимоверно заросший, бородатый человек. Без шапки, в холщовом, перетянутом веревкою зипуне, который с одинаковым успехом можно было назвать и зеленым, и белым, и рыжим. В лоснящихся валенках, обшитых понизу кожей. Длиннорукий, сутулый, виду необыкновенно угрюмого.

— Зачем понадобился? — недовольно спросил он вместо приветствия.

— Вот тут... господин приехал, — указал диакон, поднимаясь из-за стола.

Плугов без приглашения сел в кресло:

— Чем обязан?

— Я, собственно, по поручению патриарха занимаюсь восстановлением торговли с поставщиками дичи.

— Стало быть, и патриарху жрать нечего.

Приезжий смущенно кашлянул, не зная, как перейти к нужному разговору: настолько мрачным и безразличным был ювелир.

— Я понимаю, что вы в этом плане интереса не представляете, то есть в первую очередь вас самого едва ли это заинтересует.

Плугов недоуменно посмотрел на приезжего, мол, что тогда говорить? Закрыв глаза и глубоко вздохнул, как будто засыпая.

— Устали?

— Не выспался. Разбудили, сволочи...

— После охоты?

— Ага, — промычал Плугов, не открывая глаз.

— Охота была удачной?

Ювелир не ответил.

— Я говорю: хорошо поохотились?

— А? — словно очнувшись. — А! Плохо.

— Не повезло?

— Вам чего? — поинтересовался Плугов сквозь дрему. Отец диакон, который подслушивал разговор за дверью,

хотя мало чего расслышал, но по интонациям угадал: «Этот-то лебезит перед нашим! А нашему ювелиру вроде и наплевать! Коса на камень!» Испугавшись наступившего молчания, он осторожно прошел в дальнюю комнату. И вовремя — гость высунулся проверить. Правда, не из подозрительности, а потому, что мрачная грубость Плугова совершенно разрушила тщательно продуманный разговор. Постояв на пороге, он нерешительно произнес:

— У меня к вам дело. — И вернулся за стол.

— Какое? — лениво полюбопытствовал ювелир.

— Я мог бы купить ваши камни.

Плугов поморщился:

— Я работаю на Фаберже.

— Знаю, знаю! Я даже встречал в Петербурге камни вашей работы.

— Ну? — несколько оживившись, удивился Плугов.

— Да. Изумруд...

— Который? — перебил ювелир. — «В крапан» или «в каст»?

— Что, что, простите?

— В какой оправе?

— В золотой.

— Да не об этом я. Как прикреплен? Лапками?

— М-м... похоже, но точно не скажу. Ривьерку видел -- серебро, сапфир.

— Была такая, что из того?

— Я просто хотел высказать свое уважение и предлагаю услуги. Компания Фаберже развалилась, и если у вас что-нибудь в наличии...

— Ну, есть кое-что, но там не только моя работа, надобно спрашивать мастеров.

— Боюсь, что расспросы окажутся долгими, а я спешу.

— Дело хозяйское.

— А не найдется ли у вас какого-то своего товара?

— Своего нет.

— А карты?

— Карты?

— Да! Ведь вы путешествуете, ищете камни и, наверное, обозначиваете места?

— Вам-то что с этих карт? Вы ж не попретесь ни на Урал, ни к северным морям.

— Я, положим, и не «попрусь», как вы сказали, а кто-то другой...

— Кто именно?

— Ну, скажем, американцы с англичанами.

— Эвона! А почему верста? Нет, милейший, я уж дождусь какого-нибудь постоянного правительства. Худого, но своего. Пуцдай оно пользуется.

— Мысль хорошая, но дело в том, что не сегодня-завтра американцы высадятся на севере, чтобы принять сторону воюющих с большевиками, и в случае разгрома большевиков вам придется передавать карту правительству, весьма обязанному иностранцам. Так что не откладывайте на завтра...

Весть о скором вторжении настолько потрясла Плугова, что он забыл думать о картах, золоте и камнях, машинально сказал: «Посмотрим», собрался встать, но:

— Ну а как, собственно, вы живете? Чем питаетесь? — полюбопытствовал вдруг приезжий.

Плугов усмехнулся, вспомнив, что за сегодняшний день второй уже человек спрашивает его об этом.

— На охоту хожу.

— Ну а если охота неудачна, как, например, вчера?

— Значит, завтра снова пойду, — пожал он плечами и поднялся.

Приезжий проводил его до дверей.

— Ни пуха ни пера!

— К черту!

— Жаль, однако, что у нас дело не сладилось. Я понимаю: в столь короткий срок трудно завоевать доверие. К тому же времена нынче смутные, и зла всякого по земле — тьма! Даже у вас черт знает что творится: стреляют, убивают, а такой, казалось бы, тихий город! Как, кстати, вы ко всему относитесь? Или вас это не интересует? «Политика — борьба за выгоду» — ваши слова?

— Может быть, и мои — не помню. Прощайте.

«Держись теперь, патриот!» — вслед ему подумал приезжий, вернулся в кресло, закрыл лицо ладонями и долго сидел так, не шевелясь и почти не дыша, словно боялся спугнуть случившееся... Успокоившись, кликнул диакона.

— Дорогой мой диакон! Отшельник мой, схимник мой драгоценный, прошу к столу! — И, отведя руку, картинно преклонил голову. — Да велите водки подать.

Диакон, находившийся еще под впечатлением безрадостных событий, растерянно шагнул к столу, обратно к двери, не соображая, с чего начать: то ли за стол садиться, то ли водки просить? Позвал Сову, дождался в дверях, подозритель-

но глядя на ошалевшего гостя, попросил водки. И лишь когда накрыли на стол, сообразил сесть.

Гость тут же разлил водку, чокнулся — диакон еще и рюмки взять не успел.

— За удачу! — И залпом. — Пей, пей, — подбодрил он диакона.

Тот послушался.

— Дорогой ты мой! Слуга ты господний, царев и отечества! Кажется, у меня кое-что может выгореть... Наливай, не спрашивай ни о чем и пей, пей!

Приезжий, конечно же, знал, что американцы и англичане готовили рудознатческие экспедиции по северным землям. Несколько экспедиций, снаряженных на заграничные деньги, летом еще были отправлены из Петербурга, и связанной от печорских старообрядцев, с которыми патриарх поддерживал тайные связи, сообщил, что в верховьях Пижмы неизвестные люди «колют камень». А реестр ювелирной артели хранил записи о находках, привезенных Плуговым «с горного кряжа, что лежит между речками Мезень и Пижма». Так что плуговские карты дорого могли стоить теперь.

VIII

Иван Фомич проснулся поздно — было уже светло. Вышел из дому покормить собаку и столкнулся с соседом — хозяином двухэтажного каменного особняка, лесопромышленником Авдеем Текутьевым. Оставив миску с заячьими потрохами на крыльце, Вакорин свистнул — знак говчему, и провел гостя в дом.

— Ну что, мать честная! — заорал Авдей, вваливаясь в горницу. — Каки дела?

— Али не знаешь? — удивился Вакорин.

— Как не знать — знаю! Приехал вот посмотреть. А! Чебуха все! Мальчишки побаловались. Счас обратно воеду

— А тебя дорогой-то не задерживали? Говорят, кордоны-то по дорогам.

— Ме-ня? Да я... «Задерживали»! Да я их кнутом засеку! «За-дер-живали»! — И с неотвратимой тяжестью падающего дерева он обрушился на скамью, захохотал: — «Кордоны»! Ох, ты даешь!

Привыкший к жизни не лесоповале, Авдей был размашист и груб в движениях, говорил громко, и сейчас то ли от его хохота, то ли оттого, что, раскачиваясь, он приваливался к стене, дом пошел ходуном, посуда на полках звенела

и дребезжала, а иконы были готовы слететь со своего места в красном углу.

— Тише, да тише ты,— попросил фельдшер, беспокойно оглядывая горницу.

— Да кто им, сволочам, землянки строил, а? — продолжал лесопромышленник. — Мои ж плотники! Из моего ж леса!.. «Задерживали»!

— Ну ладно, ладно,— успокаивал его фельдшер.

— А теперь еще денег просят. Этот, как его... начальник ихний... А, вот: Микушии! Заходил ко мне, заходил.

— Ну ты дал денег-то?

— Хрена! — И снова расхохотался. — Говорит, Шалаиха соли не дает. Вот стерва! — восхищенно гаркнул Авдей. — Сколь ее, паскуду, стращали — ничего задаром не отдает, молодец баба! Я, конечно, выручил офицеришку. Хоть он, конечно, дурак. Все ж таки евоный отец лес мне тогда по дешевке продал. Это я помню. Выручил: пообещал Шалаихе тесу да двух мастеров — она, вишь, собирается весь дом деревянными кружевами обделать. Хрен с ней — пушай делает. Мне эти мастера сейчас не нужны, а тесу вообще не жалко. — И снова расхохотался: — Да, Фомич, чего я к тебе пришел: дай порошочков — животом маюсь!

— Ладно, дам. А ты, стало быть, все рубишь?

— Такая уж моя доля.

— Тебе ж вроде Совет запрещал?

— Ох-хо-хо! — взорвался Авдей. — «Запрещал»!.. Весной этот лес должен быть у Миронова, а он, подлец, ох-хо-хо, он его давно уже американцам продал. — И сделавшись серьезным: — А ты: «Совет», «Совет»... Я, брат, велел и кузнеца отпустить. Хоть он и с Совета. Вишь, додумались, дураки, такого кузнеца в тюрьму спрятать!

— Мужики-то у тебя не бунтуют?

— У меня нет. По деревням смута, а ко мне придут — тишина. Я ведь хотя хреново, но кормлю, а по деревням голод... Ты дашь порошочков?!

— Сейчас, сейчас... Ну а если Совет наладится?

— Да брось ты ерунду городить! Какой еще, к черту, Совет? Я сплавляю Миронову, он — в Архангельск, оттуда — за границу — вот все это, брат, и есть настоящая власть. А что мужики пошаливают — так они завсегда. Давай порошки!

— Даю, даю, а что у тебя с животом-то?

— Жратва, понимаешь, дрянная, иногда так скрючит — хоть помирай!

— Язва, наверное,— покачал головой фельдшер.

— И ладно. Ты мне, главное, порошков. С запасом. Я думаю до самой весны на даче оставаться. Так что с запасом. А тебе хороших дров привезут.

— Не возьми,— тихо пригрозил фельдшер.

— Слушай, сосед, я знаю тебя как облупленного. Я ж не денег тебе предлагаю — дров! Их вокруг на тыщи километров полно. Дак ведь тебе напилить, нарубить некогда, а моим мужикам час работы — ну? Ты теперь вообще один остался у нас. Хрыч этот... Верзилов? Перфилов?

— Ермилов.

— Во, сбежал, паскуда? Мне, конечно, от большевиков проку нет, но дохтур этот — паскуда! Дашь порошков-то?

Иван Фомич ушел в свою комнатку и вернулся со склянкой. Сказал, как принимать порошки, и велел соблюдать правильное питание. Текутьев сразу же попросил воды, сыпанул на язык порошку, скривился, запил и, тяжело вздохнув, прислушался к своим внутренностям:

— Во черт! Полегчало!

— Что хоть вы там едите?

— Муки у меня немножко да соль, а остальное — в лесу: дичины всякой — без счету. Мы и ружьем не пользуемся, все силками да петлями.

— Слушай,— обрадовался Иван Фомич,— возьми с собой одного человека. Голодный он, а у нас сейчас на охоту не сходишь — разбойники всюду.

— Кого?

— Да Тимофея Плугова — ювелира.

— А! Знаю! — И выставил кулак с аметистом.— Вот он — твой ювелир. Еще в пятнадцатом у него куплено.

— Возьми, пожалуйста.

— Пушай едет, что мне, жалко, что ли?

Фельдшер кликнул сынишку и послал за Тимофеем Плуговым.

Проводив Текутьева до калитки, Иван Фомич остался дышать свежим морозцем. От дымков, поднимающихся над трубами, от сугробов на крышах изб веяло спокойствием и уютом. «Слава те, господи! — мысленно перекрестился фельдшер.— Пролетела беда, как метель». Гончий, который давно уже съел заячьи потроха, а заодно и снег вокруг миски, подошел к хозяину. Тотчас из калитки напротив выскочила рыжая Муха и злобно залаяла.

— Свидание у вас, что ли? — спросил фельдшер.

Гончий вильнул хвостом.

— Тогда пойду. Я, брат, всю жизнь боюсь твоей подруги...

Муха и впрямь отличалась стержовностью. И людям от нее доставалось, и собакам, и кошкам, и лошадям. И наверное, кузнец — хозяин сучонки — сам давно бы ее прикончил, да солирецкие охотники не разрешали. Очень уж хороша была она на медвежьих берлогах. Обыкновенно охоты эти проходили в пору собачьих свадеб. Кузнец брал Муху, пользовавшуюся необъяснимым вниманием ухажеров, и целое сонмище кобелей, настроенных в дневное время миролюбиво, увязывалось за охотниками. Муха пулей влетала в берлогу, пулей выскакивала обратно, а кобели, как настоящие рыцари, бросались встреч проснувшемуся медведю, чтобы и красавицу защитить, и друг перед другом не осрамиться. Однако собачонка свирепствовала так, что готова была разорвать всякого кобеля, мешавшего ей вцепиться в медвежью гриву.

Красно-белый гончак Бушуй был ее наилюбимейшим другом. Дружба эта началась в щенячьем возрасте и не прекращалась, благо Бушуй и Муха были соседями. Великое множество детисек наплодили они. Все эти дети, вырастая, специальностью шли в отца, а мастью смешивались. Может статься, что именно от Бушуя и Мухи произошла знаменитая порода красно-пегих гончих собак. И вот сейчас, когда они обнюхались посреди улицы, к дому фельдшера подъехали розвальни: Ермилов в сопровождении двух вооруженных приехал за ключами от больничного склада, где хранились медикаменты и перевязочный материал.

Разговор был коротким: фельдшер схватил полено и погнал доктора из ворот. Увидев вооруженных людей, остановился, но продолжал кричать на Ермилова.

— Взять его! — приказал доктор.

Лесные зашевелились. Иван Фомич кинулся было к дому за ружьем, но тут ход событий изменился самым неожиданным образом: гончий пес подлетел к человеку, указывавшему рукой на хозяина, и в прыжке достал эту руку.

— А-а! — доктор повалился вслед за собакой, которая не выпускала из клыков раздробленную кисть.

Мужики шуранули прикладами, зацепили Муху, и она тотчас оказалась в санях: раздался еще один вопль, потом винтовочный выстрел, кони понесли, люди попадали в снег, собаки снова набросились.

— Бушуй! Ко мне! Ко мне! — звал фельдшер.

Куда там!

На крики и лай сбежались еще несколько псов. Бывший

городской голова, высунувшись в калитку, пустил своего Туза. Распахнулись двери дома Текутьевых, и страшный — с мордой летучей мыши — текутьевский волкодав ринулся довершать дело.

— Трави, Полкашка, трави! — гоготал Авдей.

— Тузко! Тузко!

— Куда твоему Тузке?! — через всю улицу орал Текутьев. — Он и пестуня забойтся!

— Ату их! Ату! — не унимался городской голова.

— Трави, Полкашка, трави!.. Фомич! А твой тоже не промах! Ай да Бушуй! Так их! Жми, старый... — И добавлял непристойную рифму, которая всю жизнь сопровождала вакоринского гончака.

Вдруг собаки затихли и разбежались. Захлопнулись калитки и двери домов. Бушуй, поджимая хвост, шмыгнул во двор и, тыкаясь окровавленной мордой в снег, стороной обогнул крыльцо, на котором с застывшим, словно в параличе, искривленным лицом сидел хозяин.

Очнувшись, фельдшер побрел на улицу, осмотрел изуродованные трупы и вернулся. Жена, собрав детишек вокруг себя, стояла посреди комнаты.

— Иван! Что ж теперь с нами будет?

— Не знаю. В больницу пора. — И стал одеваться.

Авдеев возница вывел со двора сани и, искоса глядя на середину улицы, ждал хозяина. Лошадь вздрагивала, храпела, мужик с трудом удерживал ее. Появился вакоринский паренек. Прижимаясь к забору, добрался до калитки и юркнул. Подошел Тимофей Плугов. Остановился.

— А! — с крыльца заорал Текутьев. — Мы тут немножко это... Вишь, сволочи, захотели Вакорина заарестовать. Да чего смотришь? Садись!

Плугов, не поднимая глаз на Авдея, сел рядом с ним. Поехали. Полкан бежал следом. У дома диакона Текутьев велел остановиться.

— Отец! — заорал он. — Выходи!

На крыльце показался диакон:

— Авдеюшка, дорогой! Сколь мы тебя не видывали!

— Ладно! Там мой Полкашка трех мужиков порвал, дак гляди, сукин сын, чтоб фельдшер остался в целости! Ежели кто пальцем тронет, так я и на тебя кобеля спущу. Гони! — приказал он вознице, Полкан рывкнул на отца диакона, лошадь понесла.

— Чего грустишь?! — Авдей хлопнул Плугова по плечу и заорал песню.

Какая-то старушонка, выбравшаяся было разгрести снег перед окнами, тут же и исчезла, где-то испуганно замычала корова, сидевшие на рябине снегири бросились в рассыпную, с забора свалился кот.

— Го-ш-и!

Дорога на текутьевскую лесную дачу шла через холмы невысокого водораздела, за которым начинались притоки северных рек. Близ Солирецка холмы были большею частью голыми — микушинские предки некогда выжгли лес под посевы. Снегу на открытых местах понамело, и лошадь, хотя угадывала вчерашний свой след, тащилась медленно — два часа прошло, а солирецкие колокольни так и маячили за спиной. Путникам иногда приходилось даже слезать с саней, чтобы подсобить лошади. Авдею эта работа правилась: он сбрасывал шубу, прыгал в снег и, уцершись плечом, командовал:

— Навались! Еще навали-ись!.. Полкашка, сволочь! Поди прочь! Навали-ись! Пошла-а!.. Тирру, черт! — осаживал он возницу. — Ты что, решил нас с ювелиром тута и бросить?! Каков злодей? А, Тимоха! — обращался он к Плугову. — Каков злоумышленник?!

Возница довольно улыбался и, придержав лошадь, ждал, пока и люди выберутся из заноса.

Когда поля кончились и дорога ушла в лес, сани покатали живее: здесь намело совсем немного, а кое-где и вчерашний след был виден.

Устроившись поудобнее, Авдей завел разговор о том о сем, но Плугов отмалчивался: он болезненно переживал вынужденную свою зависимость от Текутьева, от его воли и власти. Да и небрежная жестокость Авдея к тем, оставшимся у дома фельдшера, вызвала в Плугове ответную злобу. Но есть было нечего, и Плугов, сдерживая негодование, терпел благосклонность лесопромышленника.

— Ты вроде бобыль?

— Да.

— Ну счас я тебя своей Софке на откуп дам. Ей, поди, Гришка, приказчик-то, надоел?

— В точности — надоел, — подтвердил возница.

— Вот обрадуется!

— Как так? — не понял Плугов.

— А чо? Мы по-заграничному: она с Гришкой, я — с солдатками. У меня, брат, их цельных шесть штук!

Плугов недоуменно посмотрел на Текутьева, тот подмигнул:

— Ничего, это непадолго. Скоро я крутой разворот возьму — такая, брат, невеста у меня на примете — пупсик!
— Танька, что ли, Миронова? — полуобернувшись, спросил возница.

— Ха! Бери выше! Чисто миллионщица, бестия! Из России — сразу в Париж или еще куда. И будем кутить, а здесь только дело останется. Пожалуй, всю губернию на корню скуплю. А чо? Губерния хорошая — сосняги такие, что за сто лет не вырубись.

— Да как же? — не понимал Плугов. — Вы же с Софьей Александровной-то обвенчаны?

Текутьев махнул рукой:

— Наплевать. Живем в лесу, а в лесу, брат, всякое случается. Бывает, что и деревья на голову падают.

Плугов изумленно посмотрел на Авдея: верить или нет? Тот понял, что сболтнул лишнего:

— Это я пошутил, конечно, но... В общем, ладно.

Некоторое время ехали молча, вдруг Плугов попросил остановиться.

— Нужда замучила? — рассмеялся возница.

Но Тимофей указал на цепочку следов, уходящую с дороги в лес.

— Волки. Нас почуяли и свернули. Где-то рядом...

— Чего ж стоим! Гнать надо! — рассердился Авдей.

— Пустое дело: сани перевернутся — и конец.

— Что ж делать?

— Ждать будем. Лошадь выстрелов не боится?

— Не должна, — испуганно отвечал возница.

— Привяжи ее к дереву. А вы привяжите собаку, не то бросится в лес.

— Полкан, Полкашка, иди сюда! — подозвал Текутьев собаку, которая уже почуяла волков и насторожилась.

— Какое-нибудь оружие есть?

— Револьвер! Если не потерял... Вот он, в кармане. — Текутьев достал наган.

— В случае чего — орудуй кнутом, не подпускай к лошади, — сказал Плугов вознице и зарядил ружье.

Ждали недолго. Полкан вздыбился, зарычал, рванулся вперед, лошадь, пытаясь оборвать вожжи, судорожно задергалась.

Плугов знал, что перед неубегающей жертвой хищники обязательно остановятся, можно будет спокойно выцелить и перезарядить, но боялся прозевать нападения со спины и то и дело оглядывался.

Но стоя от голода, а может, от долгой безнаказанности шла напрямик. Вот промелькнул среди деревьев один, второй... Текутьев собрался стрелять.

— Погодите! Пусть выйдут шагов на десять, а то спугнем, потом снова ждать, и будем тут сидеть целый день.

Подошли и остановились, словно для того, чтобы проверить: нет ли в убегающей жертве какого подвоха? И подвох оказался: двое были сражены зарядами крупной картечи. Текутьев высадил вслед убегающим весь барабан и, наверное, зацепил кого-то, потому что собака, порвав ремень, через минуту затеяла в лесу возню. Плугов, перезарядив двустволку, ушел в лес и помог собаке.

— Вот теперь можно ехать, — сказал он Текутьеву.

— Ну нет уж! — возмутился Авдей. — Опосля таких приключений надобно дух перевести. Тут, кстати, и кордон недалеко, наверняка мужики слышали и счас подъедут.

— Зачем нам мужики?

— Пущай колею торят — потом куда легче будет скакать.

Он достал трубку, кiset и закурил, развалившись в санях. Плугов, прислонясь к дереву, ждал.

— Говорят, у диакона какой-то новый человек объявился, — ни с того ни с сего сообщил Авдей ослабевшим после волнений голосом. — Ты не видывал?

— Видел.

— Ну и как?

— Не знаю.

— Насчет леса не интересовался?

— Нет.

— А по каким делам?

— Вроде дичь закупают. Спрашивал еще насчет самоцветов да карты просил.

— А-а, понятно... Продал ему что-нибудь?

— Зачем?

— Чтоб заработать, наверное.

— Это я как-нибудь в другой раз...

— И правильно, — вздохнул Авдей, глядя в низкое небо. — Неча спешить. Скоро на этих картах можно будет посолиднее куш хапнуть. Американцы придут — большие дела по всей России начнутся, а для больших дел завсегда кредит надобен. Его, брат, за просто так никто не отпустит.

Плугов недоуменно и сердито смотрел на Текутьева, а тот пускал себе вверх колечки и провожал задумчивым взглядом.

— Хорошо спрятал-то?

— Чего мне прятать — чай, не краденое.

Авдей приподнялся на локтях, удивленно и с недоверием взглянул на Плугова:

— Врешь!.. Так слушай, братец, — он сел, — ведь тебя, братец, ограбят... Непременно ограбят! — И расхохотался.

— Как это?

— А очень просто, — заорал Авдей. — Придут в дом да и ограбят! Все ж видели, как ты со мною уехал, — вот и ограбят!

Тимофею вдруг вспомнились расспросы приезжего о жратве, об охоте — удачной вышла или неудачной, и когда снова в лес...

— Я ж, брат, этих людей знаю-понимаю! — весело продолжал Текутьев. — Тут, брат, законы свои... О! Мужики едут!

Тимофей перекинул ружье за спину. Подъехали дровни, в них двое вооруженных.

— Авдей Данилычу наше почтение!

— Здоровы, здоровы!

— Что за пальба тут у вас?

— Волков стреляли.

— Дело знатное! А это кто?

— Ювелир. Собрался со мной, а дверь не запер — вот ха!

— То-то смурый, как туча... Что слышно?

— А! Поручишко этот взялся, да на него поплеывают, — сообщил мужикам Текутьев и пренебрежительно махнул рукой.

— Солдаты как?

— Пока не слышать.

— Что ж тогда, поторапливаться?

— А погодите. Говорят, на станцию люди ушли, как бы карательного отряда не вызвали. Погодите. Случай чего — сюда не полезут, а когда отряд уберется! — И подмигнул мужикам.

— Я пойду, — мрачно сказал Плугов.

— Шагай, шагай, — согласился Текутьев, — да наперед не держи ничего дома аль при себе на купецкий манер. То-то кушцов по дорогам без счету порезано, — мужики снисходительно заухмылялись. — А меня, брат, — продолжал Авдей. — резать нечего — гол как сокол! По заграничным банкам — другое дело, но этого не отымешь. Прощай!

Отойдя шагов на пятьдесят, Тимофей услышал за спиной взрыв хохота. Не обернувшись, пошел быстрее.

IX

Студент прислуживал истопником в женской гимназии. Имел за это угол во флигеле и сносный харч. Был он человеком тщедушным до такой степени, что каждый солирецкий житель понимал: крепкой мысли здесь не удержаться. Казалось, впихни ему в голову мысль большую и крепкую, как кирпич, тут же насквозь и провалится, ни за что не зацепившись, — настолько не ощущалось под одеждой никакого строения.

Однако туманные призывы студента к всеобщей и абсолютной свободе город слушал охотно, и во времена своего участия в Совете студент собирал на Крестовоздвиженской большие толпы народу, разевавшего рты в тщетных потугах проглотаться этого неосязаемого тумана. Зато уж в сердца барышень-старшекласниц туман проникал без видимого усилия. И вероятно, быть студенту битым отцом какой-нибудь соблазненной красавицы, на телесное развитие которой удаленность от железной дороги пагубного влияния не оказала, когда б не случай — друг и враг сюжета.

Раз к студенту, выступавшему на митинге, подошла собачонка, обнюхала валенок и задрала заднюю лапу. И если в политическом плане студент ничего не потерял — все равно печего было, то его кавалерская репутация оказалась подмоченной безнадежно. Правда, никто не ведал, что виною происшествия была вовсе не собачонка, а щенок, подобранный студентом осенью у реки, — наверное, топили небрежно. Теперь щенок благополучно рос во флигеле, был всем хорош да, как всякий ребяенок, мочился где вздумается. И в калоши. Студент никогда и нисколько его не наказывал. Даже после происшествия на Крестовоздвиженской площади. Только выпросил у штабс-капитана Шведова поношенные сапоги, в них и являлся митинговать. Однако барышни совсем перестали влюбляться в «политического».

С момента переворота студент все свободное время проводил в усадьбе Микушина, и поручик, мотавшийся по Солирецку с утра до позднего вечера, стал вдруг замечать, что лесные люди, собирать которых стоило столько средств и усилий, хоть и посмеиваются над студентом, но вцепились в него, точно клещи весенние.

Вернувшись сейчас от отца диакона, где он провел все

утро и где узнал о неприятном событии возле дома Вакорина, поручик обнаружил армию в состоянии тяжелейшего опьянения. Идеалы абсолютной свободы настолько глубоко проникли в сердца и умы лесных воинов, что они конфисковали у аптекаря запасы спирта и денатурата, и запасы эти в мгновение, словно бомба, разметали мужиков по двору: кто валялся в телегах, кто на крыльце, а кто и просто в снегу. Поручик попытался отыскать виновника сегодняшних злоключений, но отчаялся.

— Где студент?! — завопил он в бессильной ярости. — Где?! Расстрелять!

— Да мы тебя самого сейчас расстреляем, — отвечала пьяная рожа.

— Не тронь студента! — поддержали другие.

Поручик поспешил укрыться в усадьбе. «Мерзавцы, быдло», — едва не плача, он шагал через комнаты к своему кабинету. И вдруг увидел студента: тот спал на полу посреди детской... Притворив двери, Микушин подошел к спящему и пнул ногой. Студент ойкнул, перевернулся на другой бок, но не проснулся. Донеслись голоса. Микушин вздрогнул, прислушался — запели во дворе песню — и ударил еще, потом еще несколько раз с такой силой, что студент, кажется, потерял сознание: вытянувшись ничком, он раскинул руки и замолчал. «Мерзавец, — пробормотал поручик, — дохлятина шшивая». — И, пятясь, выскользнул в кабинет.

Из окна кабинета — дом был не топлен, и окна не замерзали — он увидел Сову, беседовавшего с мужиками. «Этот еще зачем явился? Вроде только что виделись у диакона... Приставлен ко мне? Следит?» Но Сова, переговорив с мужиками, тут же ушел. «Бог с ним. Бог с ними со всеми». Он сел в отцовское кресло и закрыл глаза.

А у Совы и впрямь было дело. Важное. Но не к Микушину. Однако делу этому предстояло свершиться глубокой ночью.

Х

Расставшись с Текутьевым, Плугов зашагал как мог скоро. Однако каков ход на пустой живот? Замаялся Плугов: ноги ослабли, жар бросился в голову и свалил человека. «Не дойду, — определил Тимофей. — Надобно что-то съесть». Но лесом не встретилось ему никакой дичи, а впереди лежали поля, где уж точно ничего не добыть. «К ручью, что ли, податься?» Покосы вдоль ручья были хваленым местом: в ольшаник налетали рябчики, тетерева, у стогов баловали зайчишки. Плугов частенько хаживал к ручью по осени и ран-

ней зимою, когда снег еще не мешал подкрадываться, а сейчас можно было полагаться только на случай: всякая тварь увидит тебя прежде, чем ты сумеешь к ней подобраться через эдакие сугробы. Но вдруг какой-нибудь ошалевший тетерев с перепугу да и наскочит на выстрел?

Нет, тетеревиная стая, заметив охотника, снялась с ветвей и вновь осела уже за ручьем в высоком березняке. Зайчишка, взбрасывая снег, сиганул от стогов и в три прыжка скрылся.

Постояв на опушке, отдышавшись, Тимофей надумал вообще не уходить с этого места: «Либо подстрелю чего-нибудь, либо, один черт, сгину... Пожалуй, подстрелю — звона сколько у тетеревей лунок! А зайцы-то понатоптали — чисто государев тракт!» В одном месте прямая заячья тропа делала странный изгиб, как будто зверьки обходили некоторое препятствие. Погадав, что бы это могло означать, Тимофей усмехнулся: «Кажись, подфартило». Прошел к тропе, разгреб снег и почти от самой земли вытащил наполовину обгрызенного лисицей, заледеневшего зайца. В другой раз Плугов, конечно, не тронул бы чужую петлю, но сейчас было не до порядочности, да и петля, судя по всему, давно уже забыта хозяином, так что... «Держитесь теперь», — пригрозил Тимофей своим обидчикам, развел костер, срезал ножом ключья шкуры, выковырял потроха и бросил тушку в огонь. Мясо загорелось. Плугов выхватил тушку, обгрыз до льда и снова бросил в огонь. Чтобы сбить тошноту, пожевал словых иголок, снегу, потом доел горелое мясо. «Еще денек протяну. А завтра что жрать? Эх, мать честная! Откуда, когда эта дурацкая жизнь началась? Война, да голод, да злобствия... И большевики... Через них все, что ли? А может, наоборот: они из-за всего этого и народились?!»

Трудно было ему определить причины и следствия, трудно. Хотя в дальних своих скитаниях встречал он разных людей, слышал и о Ленских приисках, и о демидовских заводах... «Ну, скажем, если эти большевики — народ неплохой... Тогда им один конец — гибель, потому как хороших людей сильно менее против плохих». И Тимофей взялся прикидывать, кого из солирецких можно было бы считать стоящими людьми: Лузгунова, Вакорина, телеграфиста, наверное, ежели он фельдшеру друг, да, пожалуй, еще Шведова можно. Лузгунов, телеграфист и Шведов убиты. Ивана Фомича тоже прикончили бы, найдись на замену другой фельдшер. «Ну скажем, — рассуждал Тимофей, — Вакорин в политике не соображает, а то, может, и подался бы в большевики. А Шведов соображает и мужик дельный, но — против большевиков.

Непонятно. Неужели он стал бы заодно с Текутьевым и американцами? Неужели согласился бы с Авдеевыми зверствами и чтоб страну продавать?! Или кузнец: мужик-хитро-ван, грошика не упустит — ему-то что от Лузгунова надобно?» Не находил объяснений Тимоха. А ведь он исшастал Россию вдоль и поперек, он ощущал эту страну подошвами — всю, от границы до границы в момент. Он и на карту смотрел как на живую землю, знакомую и понятную. А теперь вот разобраться не мог. Что ж тогда говорить о прочем солирецком жителе, который за околицу и носу ни разу не показывал.

Мысли Тимохи Плугова приняли тем временем другой ход: «В чем же беда хорошего человека и отчего он против плохого не устаивает? Через что погиб Лузгунов? Через долготерпение свое и безответность. Справедливости хотел, правды, добра, а его взяли и подстрелили — плевое дело. Скажем, мне его сторона ближе Авдеевой — враз и гибель подбирается. Неужто и впрямь такая война пошла, что свой в своего стреляет? Чисто чудеса! Однако, если я так буду прохладиться да терять время... — Тимофей подумал немного и горестно заключил: — С волками жить, по-волчьи выть». — Вспомнив о волках, машинально поосмотрелся.

На дорогу больше не выходил, пошел сугробами вдоль ручья.

Было уже совсем темно, когда, минуя поля, лесом добрался он до слободы, из-за деревьев понаблюдал за своим домом и, не обнаружив ничего подозрительного, махнул через изгородь и спрятался в баньке. Долго сидел, ожидая гостей и одновременно надеясь, что никто не придет, что Текутьев просто шальной, поганый человек и нечего было его слушать.

И усталость валила с ног, и замерз уже Тимофей, но постановил он, что перехитрить себя ни за что не даст, а касательно ожидания — охотники к этому привычны, было б кого.

XI

Сова не собирался сегодня возвращаться в дом диакона. Мужик битый, он знал, что темные дела хорошо оплачиваются, да темно кончаются. Сколько сверточков в пруду попритоплено? О том известно богу, Сове да игуменье. Матушка сама принимала роды в погребке, где летом хранилось мясо, а зимою картошка. Как только под свободным монашеским платьем наметанный глаз игуменьи определял чрезмерное вспучивание, грешницу запирали «с тяжелой хворью». А потом, когда приходило время, сводили в погреб.

откуда не слышны были крики. Сова получал тугой сверточек из мешковины и, если дело происходило ночью, сразу бежал на пруд, а если днем, то до вечера прятал сверток в полсенице. Раз, будучи сильно подпитым, Сова заленился искать камень и привязал к сверточку ком высохшей глины. Утром пошел проверить, все ли в порядке, но какого-то мальчишку угораздило затемно явиться на пруд: не знал, видно, дурень, что карась обыкновенно начинает клевать с рассветом, — и выудил он всплывший сверточек (глину размыло), и на пруду к рассвету собрался народ, и пристав Кошкин грозил кулаками и кричал, что непременно дознается. Так перепугался Сова, что даже обедать не мог. Товарищ съел его порцию щей и, промучившись полчаса, отдал богу душу. Сова сразу переметнулся к диакону и старался как можно реже бывать в монастыре. Матушка игуменья делала вид, что ничего не произошло, оставила за Совой келью в работном доме и довольствие, но в келье Сова уже не почевал, а ел лишь то, что сам готовил.

Сейчас, направляясь с четырьмя мужиками к дому Плугова, Сова догадывался: карты — последнее, что нужно приежому, а потом... Э! Он знал толк в темных делах. Это просто: выстрелил в человека на крыльце его дома, перешагнул через труп, вбежал в сени, дождался: пока из дома все повыскакивают, спрятался на чердаке, а когда начался галдеж, вылезай и ори вместе со всеми — так Сова убил штабс-капитана Шведова.

И очень не хотелось Сове самому лечь теперь костыми на крыльце дома диакона. Тоже сбежится народ: что, кто? А бог его знает — не на диакона же грешить? «Не, безымянный человек, хоть и обещал ты поутру золотом расплатиться, не приду я. А за труды свои сегодня сполна получу».

В слободе дома низкие, заборов нет — плетни, изгороди, поставленные кое-как, абы скот не совался. Возле самых огородов лес. Крыльцо плуговского дома замечено снегом, следов не видать, на двери замок. «А вдруг-таки явится? — засомневались мужики. — Уж больно он дошлый». — «Не, он теперь на текутьевской даче обоснуется. А ежели и придет — нас, чай, пятеро, да не с голыми руками — управимся!»

Замок был тяжелым, но ржавым и против приклада не устоял. В сенях чиркнули спичкой. На второй двери был засов без замка. Открыли, нашли лампу и осветили комнату. Один мужик остался на крыльце.

«Туго же мне придется, — вздохнул Тимофей. — А Текутьев, видать по всему, большая скотина, когда наперед

такую подлость разгадывает. По одним законам живут, то-то и разгадывает легко... Эвона, каким обществом завалились! Теперь уж мне не управиться... Эх! Пропало все!»

Не жаль было Тимофею камней и золота — наживное, летом нового добыть можно, жаль книги, карты. Понеслись перед глазами далекие речки, леса таежные, скалы, какой-то овраг, на дне его ручей пересохший, и лопата вгрызается в землю, и на глубине в две сажени глина такая вязкая, что не сваливается с лопаты. Потом огромный валун. День уходит на то, чтобы вытащить его из ямы, час — чтобы расколоть тяжелым кузнечным молотом. И вот наконец он дает трещину, и открывается пустота, ощерившаяся кристаллами. И весь другой день и делать-то ничего нельзя, кроме как, не отрываясь, глазеть на сказочную красоту эту... Сколько же земли перелопатил Плугов, сколько валунов надробил, сколько песку через лотки пропустил! Для богатства, что ли? Нет. Что притащишь с собой? Два пуда камешков, щепотку металла. Металл переплавишь, очистишь — десяток колец. Камешки разглядишь, распилешь — десяток добротных поделок, остальное — хлам. Вернешь артельные деньги, на которые хаживал, полгода проработаешь — проживешь, вот и все обогащение. Не за этим скитался Плугов. Просто такая была у него судьба, такая любовь. И хотел он работу жизни своей — рудознатческие карты — передать в хорошие руки, чтобы хорошим людям польза была. А тут, вишь, складывалось иначе. Смотрел Тимофей на мужика, оставленного в дверях, горевал горько и сжимал кулаки. «Эх, знать бы! Схватил бы карты да деру... Нет, понимаешь, надумал рассчитаться с злодеями, наказать, а злодеев-то лишку набралось... Все одно конец, — он разложил на лавке патроны. — Хоть кого-нибудь, а порешу».

Где-то неподалеку взвыл волк. Мужик сдернул с плеча виштовку. «Э, брат, да ты трусоватый! Эдак я над тобой, пожалуй, маненько потешусь. Счас, гляди, всю стаю соберу!» — Сняв рукавицы, Плугов прижал ладони к губам и стал тихо вабить — подвывать волку. Мужик испугался, шагнул в сени, на мгновение осветилась лестница, значит, прошел и в комнату. У Тимофея даже дыхание перехватило. Отложив ружье, он постоял минуту, перекрестился и осторожно ступил в снег. Подобрался к крыльцу, прислушался, разговор был о камнях и золоте. Что-то уже нашли, до чего-то еще не добрались. Мужики торопили. Сова успокаивал, мол, не зря время теряем. Выслушав все соображения, Тимофей осторожно скользнул в сени, медленно, стараясь подладиться под разговор,

задвинул засов, бесшумно прокрался в кладовку, опустил набок железную бочку с керосином, который служил горючим для плавильной печи, вывернул пробку и, когда керосин полился по полу, бросил в него меховую рукавицу и поджег. Потом вышел из дому и запер на засов наружную дверь. Замок теперь был не нужен. А окна в доме Плугова, как и у всех ювелиров, были зарешечены.

Присев на пороге баньки, Плугов отрешенно смотрел себе под ноги. Слышались крики, звон выбитых стекол, тяжелые удары в дверь, в дубовую дверь, окованную железной лентой. Снег под ногами вспыхивал все ярче и ярче. Вот взорвались банки с порохом, и, наверное, пламя метнулось из кладовки на потолок, где, конечно же, много всякого барахла и березовые веники, словом, есть чему польхаться, то-то ставни чердачного оконца распахнулись, и огонь выплеснулся наружу. Мужики кричали о помощи, но исторический момент был таков, что помощи ждать не приходилось. Многие жители Солирецка видели этот пожар, но никто не решился выйти на улицу — страшно было.

К утру над плуговским домом поднялся туман. Пришедшие обнаружили одни лишь уголья, посреди которых на обгоревшей железной кровати, скрючившись, спала Настька-дурочка — как-никак здесь было тепло.

Плугов ничего этого уже не видел. Он снова подался в лес. Карты картами, а есть было нечего.

XII

— Все вы! Все вы! — Диакон ворвался в комнату приезжего. — Бог не простит, не простит этого! — Губы его тряслись, руки дрожали.

— Что еще? — приоткрыл глаза. — Спать не даете... — И отвернулся к стене.

— Дом ювелира сгорел — вот что! Да какие-то люди!

— Что?! — Он мигом соскочил с кровати и, как был бо-сой, в нижнем белье, зашагал по комнате. — Надобно немедленно скакать к Собенникову!

— Езжайте куда угодно, — всхлипнул диакон. «Только оставьте, пожалуйста, нас в покое», — этого он не сказал.

— Перестаньте реветь... Баба, а не священник! Велите лошадь запрячь!

— Дак человека-то нету! С вечера еще ушедши...

— Значит, сами!

Он быстро оделся и укатил в диаконовом возке.

«Хоть бы не возвращался, — подумал диакон вслед. — Лошадь вот только жалко, да и возок почти новехонький... Экой нехороший человек — чисто сатана! Даже имени своего не объявил. Когда бы не патриархова бумага... А я ведь ее толком и не читал. Мерзостей-то, мерзостей сколь всяческих наговорил, и все терпеть приходилось. Через бумагу эту, будь неладна!» — Более всего оскорбили диакона смешливые разговоры приезжего о иезуитах: «Захватят иностранцы Россию, и придется, друг мой, вам принять иезуитскую веру. А большевики победят — одно спасение — бежать, не то вас за грехи ваши в первый же черед и повесят. А поскольку делать вы ничего не умеете, то и за границей останетесь попом. Да вы же расстраивайтесь: заграничные попы не хуже наших живут. Дадут вам приход, костел там или кирху и будут величать на ихний манер: «ваше пресвященство». Хотя нет! Вас так величать не будут. Скорее: «ваше пересвященство». Или вот, — он расхохотался и сквозь слезы: — «ваше преотщепенство»! «Ваше преотщепенство»!»

Верстах в двенадцати от Солирца приезжий наткнулся на завал из вековых сосен. Подошли двое солдат, затворами щелкнули.

— Кто такой? Куда направляешься?

— К прапорщику Собенникову! Немедленно! — Сбросил тулуп и выпрыгнул на дорогу.

Подчиняясь его приказному, не терпящему возражений тону, солдаты засуетились, кликнули какого-то Фомку и велели проводить «их благородие» к командиру. Отряд квартировался неподалеку — в полуразвалившейся усадьбе, брошенной хозяевами, судя по виду, задолго до революционных времен. Проходя коридором, приезжий успел заметить на стенах несколько портретов старинной работы. В коридоре дурно пахло портянками и мочой. Из открытых дверей залы доносился противный храп: двое солдат спали на крышке рояля.

— С караула пришли, — извиняясь, сообщил Фомка.

— Так отчего ж на рояле — жестко ведь?

— Наилучшее место, вашбродь! У ей ножки дегтем обмазаны — клопы не залезают.

Приезжий поморщился.

В комнате, служившей, вероятно, некогда кабинетом хозяйки, Собенников играл с солдатами в карты.

— Здравствуйте! — сказал с порога приезжий, недовольным взглядом осматривая и компанию, и стены, на которых, как и в коридоре, висело несколько запыленных картин.

— Здравия желаем, — растерянно забормотали солдаты, поднимаясь со стульев и расходясь от стола.

Прапорщик недоуменно поглядел на вошедшего и, проворным движением застегивая пуговицы грязного воротника, нерешительно встал.

— Собенников?

— Так точно.

Приезжий прошел к столу, солдаты, прижимаясь к стене, поспешили уйти.

— Прикажите ему затворить дверь и пусть возвращается в караул, — сказал приезжий, не оборачиваясь.

— Выполняй, — кивнул Собенников Фомке.

Дверь скрипнула, шаги удалились.

Приезд незнамого человека был для отряда событием такой важности, что прапорщику и собирать людей не пришлось — все, кроме караульных, топталось возле усадьбы, гадая, что теперь может последовать. Наконец командир и штатский появились на крыльце.

— Братцы! — обратился Собенников. Разговоры стихли. — Братцы. Пришел наш час! У берегов Волги собирается армия для борьбы с большевиками. Сформированный в соседней губернии отряд полковника Кислякова движется к станции, чтобы перерезать «чугунку». Полковник Кисляков, братцы, сильно на нас надеется! Надеется на нашу верность. А на поручика Микушина, братцы, надежды у него нет. Поручик Микушин, оказывается, предатель. На фронте за шпионство был приговорен к смерти, но убежал. Мы этого не знали, но теперь знаем, и ежели кому он встретится — стреляйте без рассуждений. Так приказывал Кисляков.

Как вы знаете, поручик Микушин сверг Совет и собрал под своим командованием разных лесных разбойников, чтобы научить их солдатскому делу. Но плохо у него получается. Разбойные люди не слушаются, порядка не знают, а только грабежом занимаются. Да еще, как вы знаете, пропустили они по Верховской дороге какого-то человека. А ведь мы говорили, что Верховскую дорогу надо было отдать под охрану нам, потому как она самая важная и идет на станцию. Но нас не послушались, и теперь тот человек до станции добраться сумел, и значит, к нам карательный отряд движется.

Братцы! На нас с вами одна надежда! Должны мы разбить этот отряд, установить в Солиречке нашу солдатскую власть и порядок и провести мобилизацию, а то нас с вами всего полроты, да у Микушина столько же. А хорошо бы иметь человек двести — так оно спокойней. Харч, лошадей и подводы дает

монастырь. Он уже дал кое-что. Но все это у Микушина, и пользуются этим разбойники и все разорят. Вот так, братцы. Каков будет наш ответ полковнику Кислякову?!

Толпа загудела, и вместо ответа посыпались сначала вопросы:

— Сколько народу в этом большевистском отряде?

Собенников вопросительно посмотрел на приезжего. Тот откашлялся:

— Шестьдесят человек: двадцать конных,— он улыбнулся.— Как ни странно, матросы. И сорок пеших в обозе. Один пулемет.

— Кто командует?

— Некий Бегизов,— пожал плечами приезжий.

Толпа притихла.

— В чем дело? — не понял он.

— Так это ж наш! — изумленно пояснил Собенников.—

С нашего полка ротмистр.

— Ну и что? Пехота тоже вся из вашего полка.

— Так как же?

— Вы ничего не поняли, господин прапорщик. Не сегодня-завтра в Мурманске высадятся англичане, потом на их стороне выступят американцы и французы.

— Против германцев?

— Против большевиков!

— Откеля их столько набралось, большевиков-то,— спросили из толпы,— ежели без француза и не управиться уж? Вроде не слышно, не слышно было, и вдруг — нá тебе!

— Что ж, и Бегизенок большевик? — другой голос.

— И евонная полурота? — еще один.

— Не знаю. Но они поддерживают большевиков.

— А мы? А мы-то кого?

— Вот именно: какую присягу сполнять? На верность царю или на верность Временному правительству?

— погоди, мужики, счас враз разберемся! — утихомирив всех чей-то громовой голос.— Кто дал поручику обоз?

— Монастырь,— удивленно отвечал приезжий.

— Во! Стало быть, монахов поддерживаем! За игуменью, против своих!

— Каких «своих»?! — Приезжий раздраженно махнул рукой и удалился в кабинет ждать решения.

Решение оказалось таким: большая часть отряда во главе с Собенниковым, сохраняя верность последней присяге, готова была пойти на соединение с Кисляковым, но воевать против Бегизова отказывалась. Пятеро собирались дожидаться

ротмистра и выяснить у него правду. Остальные решили послать все к черту и податься кто куда по домам. Ну а трое оставшихся в карауле не ведали ни о чем. «Вот такие дела», — сказал Собенников на прощание.

Караульные проводили возок лесом, в объезд завала, предупредив приезжего остерегаться дорогой волков.

Вот и покинул Солирецк этот человек, принесший с собой столько бед и несчастий. Что случилось с ним дальше — неизвестно.

XIII

На следующий день, когда митинг заканчивался и студент от имени четырнадцати ухмыляющихся вооруженных мужиков призывал всех к свободе, в город ворвался конный отряд. Расступившаяся толпа открыла ему середину площади, и, не успев сделать ни единого выстрела, «временный народно-революционный комитет» пал.

Всадники в бескозырках и матросских бушлатах свирепо и настороженно разглядывали толпу. Но толпа словно окаменела.

Вдруг к одному из всадников подошел доселе не замеченный Микушин. Расстегивая кобуру, поручик угрожающе прошептал: «На каком основании?!» Холодно сверкнуло лезвие шашки... «Всего-то и счастья — ловить карасей на удочку», — последняя мысль поручика покатилась по снегу.

Дальнейшие события этого дня развивались с такой стремительностью, которую солирецкая мысль разом охватить не могла: через час в городе не осталось ни одного бандита, заработал телеграф, Михеев с Оляпкиным, выпущенные из тюрьмы, набирали газету, а Крестовоздвиженская, отдраенная матросами, блестела.

Бегизов ходил по домам, предупреждая о завтрашнем митинге, расспрашивая и что-то для себя выясняя, а горожане смотрели на него, как разбуженные среди ночи куры — на лампу.

Потом, взяв с собой несколько пехотинцев, Бегизов ускакал к Собенникову.

Казалось бы, чего проще — не враги ведь, свои ребята, и приняли как друзей, однако сложность исторического момента понять не смогли. Агитировал, агитировал Бегизов, слушали солдаты, совещались, и был ответ: не можем стрелять в своих.

— Будете! — кричал Бегизов. — Заставят!

— Нет! — твердо стояли они. — Не может существовать такого закона, чтобы стрелять в своих. Пусть будет любая война, но ни в тебя, ни в братьев-солдат мы не выстрелим.

— Да вся Россия сейчас как на дуэли: брат против брата стоит и на мушке друг друга держит.

— С этим мы несогласные и в братоубийстве участвовать не хотим. Пойдем правды искать.

— У-у! — Бегизов взвыл от отчаяния. — Правда здесь такая выходит, что завтра мы попадем в окоп по разную сторону фронта. И если вы не выполните приказ, вас самих офицера и постреляют.

— Одному богу ведомо, что будет, — вздохнул Собенников. — Но присягу мы принимали, и... — развел руками, — сохраним ей верность.

— Какая, к черту, присяга? — заорал Бегизов. — Того правительства давно нет! Есть новое правительство — большевистское!

— Правительство, может, и новое, — возразил Собенников, — да к новой присяге нас покедова никто не привел.

— Ну давайте я вас и приведу! — Бегизов рассмеялся даже.

— При чем тут присяга? — сказал кто-то из собенниковских. — Землю мы получили, с германцами — мир, чего еще? По домам надобно!

— А вот пойду счас, да и схпаю твой надел, — сказал ему бегизовский.

— Выкуси!

— А-а! Мне, значит, «выкуси», а всякой буржуйской сволоте — пожалуйста?! Вот такие, как ты, фронт и бросили! Земля, мол, есть, чего еще надо? А большевики, стало быть, дали нам землю, дак теперь за нее и подохнуть должны?!

Поднялся тут такой гвалт, что Бегизов только рукой махнул: «Ни черта от них не добьешься». Подождав успокоения, сказал:

— Конечно, мне следовало разоружить вас, и не боимся мы сопротивления, и не смущаемся оттого, что вы — братья, но коли вы так уперлись — храните верность присяге и ищите какую-то правду, а не ту, что я сказал, — это будет вам сильным наказанием. Пострашнее любой гауптвахты и даже войны. Вовремя не одумаетесь — одна голая гибель придет. Прощайте.

— Прощевай, — сказал Собенников. — Мы еще, конечно, подумаем.

Обнялись и трижды поцеловались.

Солдаты тоже прощались, делили имущество, продовольствие, двенадцать человек пошли с Бегизовым, а остальные, ввиду непонятности времени, решили подумать еще.

Так невесело закончился этот день. А наутро посреди Крестовоздвиженской возвышалась трибуна, кое-как сколоченная из жердей и досок. Над трибуною развевался красный флаг, привязанный к багру, позаимствованному на время в пожарной команде.

Люди собрались, начался митинг. Командир большевистского отряда объявил громогласно:

— Слово предоставляется Епифану Зайцеву.

Толпа зашептала, соображая, и пришла к выводу, что Епифан Зайцев будет из деревни Тресково и, вероятно, тот самый мужик, который прорвался через засаду по Верховской дороге.

— Граждане! — сказал Епифан. — До каких же безобразий вы докатились, ежели, кроме как мне, тресковскому мужику, за вас и побеспокоиться некому?! А мне, ежели по правде сказать, дело это совсем ненужное. Мне надобно в Тресково: землю делить, семена доставать и к весне готовиться, чтобы посеяли мы и чтобы жрать было. И, между прочим, граждане, в этом и вы не менее моего интерес имеете. Неужели же промежду вас, граждане, ни одного хорошего человечка не сыщется, чтоб порядок навести?!

— Соль давай! — закричали в толпе.

— Где Шалаева? — спросил Бегизов у всех.

— Не пришла, — отвечали.

Бегизов обернулся к верховым, стоящим поодаль:

— Немедленно узнать у Шалаевой, где соль, и конфисковать всю до крупинки!

— Не скажет! — возразили ему горожане.

— Тогда расстрелять на месте, но соль все равно найти, — закончил приказ командир. Всадники ускакали.

И жители поняли, что соль явится, хотя такой оборот дел был им все еще непривычен.

— Граждане! — обратился Бегизов, почувствовав настроение. — Вы одного не понимаете: идет война! Я не германскую имею в виду. Идет война между теми, кто за новую жизнь, и теми, кто против...

— Нам все одно: старая или новая, лишь бы спокойно было, — сообщили ему.

— Да как же спокойно, если война по всей России! Как же спокойно?!

— А пошто воюют? Чего не поделили?

— Бедные воюют с богатыми! — драл глотку Бегизов. — За землю воюют, за свободу, за равенство!

— Ну, про свободу мы уже премного наслышаны. Что с нее толку?

— Эт точно! Студентиска звона про свободу наговорил. Только свобода разная бывает. Вы-то за какую?

Тут к трибуне подошел дедок и поднял руку. Толпа притихла.

— Я так думаю, дорогие сограждане: забот и горестей у человека столько, сколько душа вмещает. И ежели кто не имел теплой одежи да купил, бедовал в развалюхе да новую избу построил — другие заботы придут, и будет их столько же, сколько было. А если, наоборот, пятерых ребятишек похоронил, сколь последова не хорони — горестей уже не прибавится, некуда потому что. Так учила в давние времена игуменья Селивестра. И оттого, думаю я, у Авдюхи Текутьева хлопот нисколя не меньше, чем у кузнеца или цирюльника. Просто натура его такая, что требует миллиона, а, скажем, я и грошиком обойдусь. И не надобно мне этого равенства, чтобы Авдюхины деньги делить, — не надо. И воевать через это — глупость одна.

— Правильно! — поддержали его. — Кесарю кесарево! И пуцай! И неча воевать через это!

— К старой жизни поворота не будет! — оборвал разговоры Бегизов. — И чем скорее вы это поймете, чем скорее встанете на сторону новой жизни, тем скорее кончится война и наступит мирная жизнь, та самая, которая нужна всем, а не только вам, будь вы неладны! Вот так, граждане! Продолжай, Зайцев!

— Граждане! — крикнул Зайцев. Но тут в толпе произошло странное движение, ропот. Епифан обернулся и увидел, что к Пятницкой улице, увязая в снегу, падая и поднимаясь, черной стаей бегут через поле монахини.

— Братва! — скомандовал Бегизов, и солдаты, оставшиеся при нем, взяли оружие на изготовку. Толпа испуганно раздалась в стороны. Монахини были уже на Пятницкой. Уже слышны были их душераздирающие вопли, видны образы, воздетые над головами.

— Не стрелять! — сказал Епифан.

— Что ж я, смотреть буду? Ведь за ними сейчас все на нас побегут!

— погоди! — Епифан расстегнул шинель. — Нельзя стрелять, погоди...

— Дак разорвут! Ведь обезумели все!

— Погоди...

И в тот момент, когда измученные монахини вбежали на площадь и толпа дрогнула, чтобы рвануться за ними...

В официальных документах сохранились сведения о том, что Епифан Зайцев обратился к монашеству с «проникновенным словом». Есть еще слух, что монахинь остановил дружный предупредительный залп, воспринятый ими как гром, столь неожиданный среди зимы, и дочери господни стушевались, недоумевая, что должен означать сей божий гнев и противу кого направлен, то есть где молния, куда она попала? А некоторые из очевидцев утверждают, что Епифан Зайцев хотя и обратился к черному воинству с «проникновенным словом», но не с одним, а с двумя: «Нате вам!», и за сим, дескать, предъявил некий вовсе неупотребимый в политике аргумент.

Трудно сказать, что более похоже на правду — народ был ослеплен, и, значит, всякое свидетельство беззупречно. Но, так или иначе, битва была выиграна.

Любопытно, что на этом моменте история Авраамиева монастыря практически завершается. Вдруг вскрылись все противоречия, таившиеся под монашеским одеянием, и оказалось, что одни из дочерей господних давно мечтали сбросить монашескую одежду и отправиться в родные края, другие обнаружили желание избавиться от одежды вообще и поразбежались к женихам, дабы восстановить пошатнувшуюся в войнах численность населения. О дальнейшей судьбе монастыря можно теперь лишь строить догадки, так как на его месте сейчас аэродром с грунтовой полосой.

А митинг продолжался. Бегизов пригрозил, что никого не отпустит с площади, пока не будет избран Совет, но бабы понатаскали харчей, появились откуда-то сани, тумбы, скамейки, и мужики, бесполезно горлая, взялись угнездываться на Крестовоздвиженской так, словно собирались стоять здесь лагерем до исхода времен.

Бродил с важным видом кузнец, сообщал, что у него нет желания снова сесть в каталажку и участвовать в Совете он больше не будет. Но это все давно поняли, и никто уже кузнеца не кричал. Кричали то отца диакона, то полицейского Кошкина, то бывшего городского голову, и Бегизов в который раз терпеливо объяснял обществу, что такое Совет и каких людей в него надобно. Бегизов остался на трибуне один — Епифан Зайцев, не привыкший к митингам, сорвал голос, умолк и покуривал теперь с солдатами.

Кто-то по забывчивости крикнул даже студента, но опомнился, перекрестился. Чаше других кричали фельдшера. Однако робко, вполголоса. Боялись потерять хорошего человека. И продолжаться бы митингу неделю, а то и до сего дня, когда бы вновь не врезались в ход события сторонние. Прискакал матрос с телеграфа. Прочитав ленту, Бегизов всрнул ее: «К Собенникову! Немедленно выступаем!»

Толпа притихла.

— Уважаемые граждане достопочтенного Солирецка! — сказал Бегизов. — Пока я тут с вами телюсь, офицерский полк Кислякова подошел к станции, а в Мурманске высадился английский десант, так что — война, граждане, и мы уходим. Но без твердой власти оставить город я не могу. Сами вы избрать власть не решились, придется помочь. Слушал я вашу трепотню и понял, что, по крайней мере, одного человека вы все цените — фельдшера, так?

Никто не отвечал.

— Только боитесь вы его избирать, кабы чего с ним худого от этого не приключилось, так?

Толпа молчала.

— Вот и хорошо, что боитесь. Так где ваш фельдшер, где Иван Фомич?

Толпа перешитительно загудела. Фельдшер спокойным шагом прошел к трибуне, нацелил пенсне и спросил снизу вверх:

— Чем могу быть полезен?

— Именем Советской власти и данными мне полномочиями назначаю вас комендантом города. Вам понятно, что это означает?

Вакорин пожал плечами:

— Я человек военный, я понимаю, конечно, однако...

— Иван Фомич, — перебил его Бегизов, — дорогой мой, какие еще «однако»? — И устало добавил: — Это приказ. А сейчас война, так что... поднимайтесь-ка на трибуну.

— Нет, спасибо, — растерянно отвечал фельдшер, — я уж здесь постою.

— Ну как хотите. — Бегизов спустился. — Давайте руку, Иван Фомич! Желаю успеха.

— Да подождите... Что же это? Я даже не знаю, что надо делать... — Иван Фомич побагровел, сдернул пенсне и принялся искать по карманам. — Вы, понимаете ли, уедете сейчас, а я тут...

— А вы займетесь своими делами. Слушайте, Иван

Фомич, хватит болтать, голубчик! Дела свои вы знаете лучше меня: соль нужна? Нужна? Сегодня вы раздадите конфискованную, а завтра? Стало быть, надо восстанавливать солеварни. Банды остались по лесам? Остались. Стало быть, надо приготовиться к тому, чтобы при случае защитить город. Ну, что еще?.. Газету следует блюсти, телеграф, почту. Да! Самое главное — прекратить незаконную рубку леса на текутьевской даче. А то ведь весь этот лес попадет теперь прямоком к врагу. Так?

Не найдя платка, фельдшер машинально потирал стекла пальцами.

— Так, я спрашиваю? — повторил Бегизов.

— Так-то оно так, да...

— Ну прощайте, мне некогда. — И пошел сквозь толпу к торговым рядам, где был привязан конь.

— Ну как же я один? — вслед ему крикнул фельдшер.

— Отчего же один? — Бегизов обернулся. — Смотрите, сколько народу, — обвел рукою. — Назначайте помощников... Елифан! Где Елифан, граждане? А, вот он... Слушай, товарищ Зайцев, выручи: останься хотя бы на месяц — подсоби фельдшеру, а! Я тебе двух матросов дам — ребята грамотные. Если понадобится, то я поправят. Как, а? Я так и думал. Спасибо тебе. Прощайте, уважаемые граждане! Пока не выберете Совет, управлять вами будет военный комендант — фельдшер Вакорин. — И ускакал.

Толпа замерла. Все с ожиданием смотрели на фельдшера, а он, поеживаясь от холода, вглядывался в знакомые лица и тоже молчал. Так продолжалось минуты три. Потом Иван Фомич вдруг взошел на трибуну, снял шапку, вздохнул и тихо сказал:

— Именем Советской власти... и данными мне полномочиями... приказываю...

XIV

— Ну так что же в нем привлекательного, в Солирецке? — спросите вы. — Ужели одна безмятежность, спокойствие, лень?

А черт его знает.

— Похоже, город для того лишь годится, чтобы, уйдя на пенсию, дожить в нем свои дни и помереть?..

Не знаю, что сказать, как ответить. Конечно, солирецкий погост в старой березовой роще, где летней порой кресты уто-

пают в высоких цветущих травах и где ни на одной табличке ни слова, ни буквы не разберешь,— приятное место. Своей необыкновенной запущенностью погост как-то особенно приобщен к вечности и оттого внушает совершенное доверие и покой.

Однако не этим тронет вас Солирецк, если ваша судьба по случаю или недоразумению... и т. д. Взять горожан: как будто, кроме снисходительного сожаления, они и чувств других не заслуживают — ан нет! Ведь встали они на защиту революции, ведь прошли же они вместе с новой страной весь путь! И не отставали, хотя и не обгоняли. Ведь когда началась Отечественная война, отдали они фронту всех боеспособных лиц обоего пола? И те воевали! Может, не лучше других — на штык не лезли, но и не прятались. И многие не вернулись. А некоторые и вернулись. И Героев своих шесть человек. А спросите у них (все они живы): что ж вы геройского сделали?

— Да ничего. Воевали.

— А с чего же так сильно-то воевали?

— Да ведь очень хотелось мира, спокойствия.

Каждый, кто попадал в Солирецк, оказывался вдруг в странной неловкости: вроде и пожалеть можно, а вроде и есть в нем что-то такое — затрудняюсь понять,— отчего сам перед ним жалок становишься.

А уж касательно живописцев или поэтов, так, угодив хоть на мгновение в городишко, они уже и не могут не отобразить его. Скажем, была недавно в Академии художеств выставка: «Солирецкие находки». Картины неизвестного художника. Восемнадцатый век. Обнаружены в развалинах усадьбы под Солирецком. Это ведь та самая усадьба, где квартировался отряд Собенникова.

Попал городишко наш, правда, под иным названием, и в рассказ классика, и в поэму нынешнего поэта. Хотя тот и другой оказались в Солирецке, разумеется же, по случаю и ненадолго.

Что ж мне прикажете делать? Ужели я мог молчать? Ведь дня не проживу без мыслей о Солирецке! И как будто прелестей в нем никаких — труха и захолустье! Но покажется вдруг, что все это из гранита и на гранитной плите. Тут уж хоть крестись — не помогает.

Зачуханный мой городишко! Далекый, глухой! Куда там Пошехонью или Чухломе! Но есть в нем нечто, чего и не спалишь, и не сломаешь, и с места не сдвинешь. Нечто загадочное, но родное и оттого привлекательное, хорошее. И, вспом-

нив об этом, я не могу уже сидеть на месте и срываюсь, чтобы вдохнуть этой незабываемости, непоколебимости, столь удивляющей воображение в солирецкой малости и тиши.

Схожу на станции, где наверняка либо снег, либо дождь, либо еще какая-то слякоть, будто у Ильи-пророка над этим местом крантик, и крантик этот, как всякий крантик, неисправен, течет.

И подкатывает автобус, облепленный глиной настолько, что можно испечь в золе. Пассажиры садятся, автобус открывает пальбу, какая случается лишь в первый день охотничьего сезона, отстрелявшись, наконец трогается, лихо пролетает асфальтированную улицу и сползает в грязь разбитой дороги.

Пассажиры разом качнутся в одну сторону, разом в другую, дернутся вперед, назад и дальше уж мотаются без порядка, как колосья под ветром.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------------------------|-----|
| Инспектор | 3 |
| Бакенщик, который любил | 21 |
| Старые военные песни | 24 |
| Частный детектив | 31 |
| Счет | 43 |
| Западная окраина | 50 |
| Венец творенья | 54 |
| Антилена | 64 |
| Каре | 70 |
| Сапоги из Трапезунда | 73 |
| Достославное общество | 79 |
| Аметист | 96 |
| Свои заботы | 103 |
| «Волк» | 110 |
| Транспорт «Победа» | 118 |
| В тумане | 129 |
| Лаврюха обыкновенный | 136 |
| Тридцать лет | 142 |
| Пилот | 151 |
| Воспоминание для фортепиано | 158 |
| Путешествие на линию фронта | 167 |
| Шел третий день... | 172 |
| Шлюз | 184 |
| В тихом городе. <i>Повесть</i> | 188 |

Шипов Я. А.
Ш63 Шел третий день...: Рассказы и повесть.— М.: Современник, 1984.— 255 с.

В пер.: 1 р. 20 к.

Творчество лауреата премии имени А. М. Горького, ЦК ВЛКСМ, СП СССР и Госкомиздата СССР писателя Ярослава Шипова тесно связано с реальной действительностью, правдиво. Характеры героев рассказов и повести раскрываются в острых, конфликтных ситуациях, требующих выбора нравственной позиции. Автор отдает свои симпатии героям гражданской активным, твердо отстаивающим интересы общества, решительно выступающим против любых проявлений фальши и несправедливости.

**Ярослав Алексеевич
Шипов**

ШЕЛ ТРЕТИЙ ДЕНЬ...

Рассказы и повесть

Редактор Л. Костина
Художник Ю. Боярский
Художественный редактор А. Дианов
Технический редактор Л. Авашкина
Корректоры И. Рудакова, М. Курносенкова

ИБ № 3642. Сдано в набор 28.02.84. Подписано к печати
30.05.84. А06825. Формат 84×108/32. Гарнитура литер.
Печать высокая. Бумага тип. № 2, кп. журн. Усл. печ. л. 13,44.
Усл. краск.-отт. 13,44. Уч.-изд. л. 15,35. Тираж 100 000 экз.
Заказ 1087. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета
РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли
и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское
шоссе, 62

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государствен-
ного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и
книжной торговли, г. Электросталь Московской области,
ул. им. Тевосяна, 25

Отпечатано с фотополимерных печатных форм «Целлофот»

• CONFIDENTIAL •